

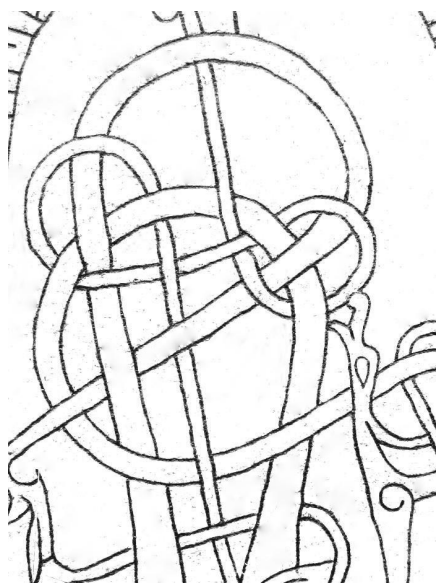
С.Д.Сазонов
Воспоминания

материалы по истории позднеимперской России
том 26

Издательство Упыря Лихого
2025

Наше издательство названо именем **Упыря Лихого** (Эпир Неробкий, Öpir Ofeigr), первого русского переписчика книг, имя которого мы знаем.

Соратник нормано-русских князей, священник, переписчик книг и рунорезец, Упырь Лихой своим примером напоминает нам о том, как важно без робости распространять знания и красоту среди варварства и тьмы.



орнамент на камне U-104 в Ушпланде, созданном Упырем Лихим

Сергей Дмитриевич Сазонов
Воспоминания

Издательство Упыря Лихого
2025

Настоящая книга повторяет издание 2015 года (Минск,
изд-во Харвест)

Оглавление

Введение.....	2
Глава I.....	5
Глава II.....	28
Глава III.....	50
Глава IV.....	83
Глава V.....	127
Глава VI.....	145
Глава VII.....	167
Глава VIII.....	188
Глава IX.....	282
Глава X.....	312
Глава XI.....	345
Глава XII.....	366
Глава XIII.....	394
Глава XIV.....	408

Введение

События, разразившиеся над Европой в июле 1914 года и отозвавшиеся с большей или меньшей силой в остальных частях света, не могут еще стать предметом научно-исторического рассмотрения. Свидетелям, а тем более участникам их, эта громадная задача не под силу. Приходится возложить ее выполнение на грядущие поколения в надежде, что отдаление их от этих событий обеспечит их труду необходимое для всякого научного исследования беспристрастие, а также даст в их распоряжение более полный исторический материал, чем тот, которым мы в настоящее время располагаем, как бы значителен ни был этот последний уже и теперь.

Работа очевидцев и участников должна, по необходимости, носить более скромный характер личных вкладов в общую массу осведомления, касающегося событий, не имеющих себе равных в истории человечества, с ранней зари средневековья и по наше время. К тому же общая сводка имеющегося налицо исторического материала, должное его освещение и подведение итогов невозможны еще и потому, что мировая борьба, начавшаяся в 1914 году, не окончилась с поражением Германии и ее союзников в октябре 1918 года, а продолжается и ныне, хотя и в иной форме и на иной почве. Версальский мир не дал мира человечеству, в чем теперь, я думаю, не усомнятся сами его составители, даже если бы им удалось провести в жизнь все его постановления, из которых многие заключают в себе зародыш неизбежных международных столкновений в более или менее близком будущем.

Что ожидает еще Европу и спасут ли ее от новых потрясений учреждения, вроде выработанной мирной конференцией 1919 года Лиги Наций, по духу своему более близкой политическим утопиям восемнадцатого столетия, чем нашему железному веку? На этот вопрос никто не может дать определенного

ответа. Всем ясно одно, что человечество болеет страшным недугом и что час выздоровления его еще не близок.

Если, после долгих колебаний, ввиду неблагоприятных для подобной работы условий, в которых я нахожусь, я тем не менее решаюсь приступить к составлению моих воспоминаний о том, как постепенно подготовлялась катастрофа, как она застигла Россию и что было сделано русским правительством, чтобы ее предотвратить, то делаю это в сознании долга моего по отношению к моей родине и к моим современникам, неполно или неправильно осведомленным об этих событиях из многочисленных иностранных источников. Из таких источников те, которые исходят из враждебного нам лагеря, представляют, само собой разумеется, образ действий русского правительства в неблагоприятном для него виде. Другие же, беспристрастные или нам сочувствующие, тем не менее не удовлетворяют многих запросов, которые склонна предъявлять современная мыслящая Россия лицам, игравшим деятельную роль в роковых событиях 1914 и последующих годов.

Может быть, мои воспоминания, несмотря на всю их отрывочность и неполноту, окажутся не совершенно бесполезными как материал при обработке архивного сырья будущим ученым- историкам, когда настанет время современной хронике и личным воспоминаниям уступить место бесстрастной и безличной исторической науке.

Лица, которые пожелают ознакомиться с этими краткими воспоминаниями, не должны искать в них последовательного и полного изложения хода исторических событий, которых я был свидетелем, вернее участником, а лишь личную мою оценку их при свете осведомления, которым я располагал. Прагматику этих событий они найдут в официальных сборниках дипломатических документов, изданных как в начале европейской

войны, так и в последующее время правительствами держав, принимавших в ней участие, а затем в той бесчисленной литературе, которая появилась на всех языках за последние годы и касалась не только самой эпохи войны, но и предшествовавшего ей периода времени.

Глава I

Балканская политика Австро-Венгрии. Боснийско-Герцеговинский кризис. Участие Германии.

Впервые в мае 1909 года тогдашний министр иностранных дел, А.П.Извольский, предложил мне занять место его товарища, освобождающееся с назначением Н.В.Чарыкова послом в Константинополь. В это время я был, с 1906 года, русским посланником при Ватикане.

После многолетнего разрыва русское правительство возобновило с Римской Курией в 1894 году официальные сношения, учредив при ней миссию, во главе которой был поставлен Извольский и секретарем которой был назначен я после четырехлетнего пребывания в Лондоне в качестве второго секретаря посольства.

В первые годы по своему возрождению русская миссия при Ватикане имела политическое значение, которого она в значительной степени лишилась со смертью Папы Льва XIII и удалением от дел его ближайшего сотрудника, кардинала статс-секретаря Рамполлы. Лев XIII был человек выдающегося политического ума, более высокой культуры и большей широты взглядов, чем можно было встретить, за редкими исключениями, у его предшественников за последние три столетия. Международное положение Папского Престола и социально-экономические вопросы, начинавшие во время его правления приобретать первенствующее значение в жизни европейских народов, занимали его внимание в большей степени, чем духовная сторона его роли римского Первосвященника. Если бы он жил в средние века или во времена итальянского Возрождения, он приблизился бы к типу Григориев, Иннокентиев или Юлиев, смотря по духу и по историческим возможностям своего века, так как он был по своей природе гораздо более

политическим деятелем, чем духовным пастырем; то же можно сказать о талантливом его помощнике, кардинале Рамполле. С людьми подобного склада представителю не католической великой державы, имеющей многочисленное римско-католическое население, легче было вести совместную работу, чем с его достойным, во всех отношениях, преемником Пиетом Х, чуждым всякой политики, и с совершенно к ней неспособным его статс-секретарем, испанским кардиналом Мерри дель Валь. Благодаря этому время правления Льва

XIII было эпохой плодотворной работы для русской миссии при Святом Престоле. Папа обнаруживал примирительное настроение по отношению к русскому правительству, которое, со своей стороны, шло навстречу некоторым его законным желаниям в области интересов русских католиков. Оставалось сделать еще многое в этом отношении, и прежде всего русскому правительству надлежало отрешиться от закоренелых привычек и взглядов, укрепившихся под влиянием тяжелых воспоминаний эпохи польских восстаний, затруднявших возможность необходимого, как в интересах правительства, так и его католических подданных, сближения между русской государственной властью и польским населением империи. К несчастью, ни Извольскому, ни его заместителям, в том числе и мне, не удалось в этом отношении достигнуть удовлетворительных результатов, и политические недоразумения продолжали вредно отражаться в области вопросов чисто религиозных. Ненормальность подобных отношений порождалась, с одной стороны, рутинными приемами нашего департамента Духовных Дел Иностранных Исповеданий, поддерживаемыми известной частью нашей печати, а с другой — усердием не по разуму

некоторых римско-католических епископов¹. В период революционных волнений 1905–1906 годов как наша административная косность, так и агитационная деятельность высшего польского духовенства против русской государственности обнаружили в значительной мере, приводя в отдельных случаях ко всегда нежелательным мерам правительственного воздействия в отношении духовных лиц.

Конклав 1903 года, устранив благодаря вмешательству австро-венгерского правительства вполне обеспеченную кандидатуру кардинала Рамполлы, возвел на Папский Престол кардинала Сарто под именем Пия X. Со вступлением его в управление Римской церковью облик Ватикана резко изменился. Из крупного политического центра, с которым приходилось считаться и не находящимся в духовном общении с Римом державам, он обратился, по выражению одного Римского прелата, в «пароккию», т. е. в простой приход. Ближайшие сотрудники покойного Папы и прежде всего кардинал Рамполла были удалены от дел или, оставаясь в римских конгрегациях, лишились в них всякого влияния. Место их заступили лица, не подготовленные ни к какой политической деятельности и обязанные своим возвышением, главным образом, своими близкими отношениями к ордену иезуитов и культрамонтанским кругам, которые им вдохновляются, т. е. к той крайней партии,

1 В этом отношении особенно много хлопот дал русскому правительству Виленский епископ Ропп, балтийский немец по отцу и поляк только по матери. Благодаря этому виленские поляки считали его немцем, а литовская его паства — поляком, что создало для него в его епархии крайне неудобное положение, из которого он старался найти выход, став на сторону польских национальных вождельцев в крае, где польский элемент находится в меньшинстве.

которую можно охарактеризовать, назвав ее католической черной сотней.

Ближайшим последствием такой коренной перемены был наступивший в скором времени разрыв дипломатических отношений между Римской Курией и правительством Французской Республики. Периодически вспыхивающее во Франции пламя антиклерикализма, разгоревшееся особенно ярко во время нахождения у власти кабинета Комба, уничтожило долговременную политическую работу французского посла при Римской Курии Лефевра де Бехена, которому удалось занять первенствующее положение среди иностранных представителей при Ватикане. Достигнутые им успехи оказали Франции значительную услугу, отодвинув на задний план соперничавшие с ней влияния германской и австро-венгерской дипломатии и вернув французскому правительству часть того значения, которое оно приобрело на Востоке со времен Людовика XIV в качестве покровительницы римско-католических интересов и которым республика дорожила не менее старой монархии. Это новое столкновение между французским якобинством и римским ультрамонтанством не приобрело бы в правление Льва XIII особой остроты и не привело бы их к дипломатическому разрыву. Заместивший кардинала Рамполлу молодой и неопытный статс-секретарь оказался совершенно не на высоте положения в эту трудную минуту и своими тактическими промахами сыграл на руку французским антиклерикалам. К удовольствию врагов Франции место, занимавшееся ее представителем при Ватикане, осталось пустым на многие годы. Невыгоду для себя этого положения французское правительство ощутило с особенной силой после смерти Пия X в 1914 году. В самом начале Великой войны был избран на Папский Престол Бенедикт XV Делла Кизза. В первые годы его правления политика Римской Курии следовала внушениям врагов

Франции и действовала во вред как ее интересам, так и ее союзницы Бельгии.

Новые течения ватиканской политики, стремившиеся к возврату к духу и преданиям времен Пия IX, трудно совместимым с требованиями нашего века, а с другой стороны, непоборимая косность нашей администрации, которую невозможно было заставить отказаться смотреть на русско-польские отношения под углом зрения событий 1863 года, делали положение русского представителя при Папском Престоле крайне тягостным. К сознанию бесполезности моего пребывания в Риме присоединялось во мне желание получить назначение где-нибудь на Ближнем или на Дальнем Востоке, где мне было бы возможно найти более плодотворную и интересную работу и куда мне до тех пор не удалось попасть, несмотря на все мое старание. Определяя точнее мои желания, я поставил свою кандидатуру на место посланника либо в Бухаресте, либо в Пекине. Тогдашний министр иностранных дел А.П.Извольский отнесся сочувственно к моей просьбе, но по причинам, от него не зависевшим, она осталась неисполненной.

В это время состоялось упомянутое мной выше назначение Н.В.Чарыкова послом в Константинополь, и с ним открылась вакансия товарища министра иностранных дел, которую Извольский предложил мне и которую, хотя и не без некоторых колебаний, я принял ввиду того, что предложение министра было сделано в форме, делавшей отклонение его затруднительным. Говоря откровенно, главной побудительной причиной моего согласия принять малопривлекательный пост товарища министра была появившаяся во мне в эту пору острая тоска по родине и утомление двадцатилетним пребыванием в Западной Европе. Мне хотелось или чего-либо совершенно нового, неизведанного, или же просто возвращения на родину. Детство и ранняя молодость, проведенные в Москве,

наложили на меня печать моей национальности на всю жизнь. В ранних жизненных впечатлениях, никогда не проходящих бесследно, не было вместе с тем никаких уродливых преувеличений, вроде патриотического фетишизма или пренебрежения к формам чуждой мне, как русскому, культуре. Я был воспитан в убеждении, что только тот национализм полезен, законен, который не идет в разрез с основными началами христианской нравственности, так как она одна может служить звеном между различными национальными культурами и делает возможными чувства взаимного понимания и общечеловеческого братства между народами самых разнообразных культур.

Все это было вполне совместимо с той горячей привязанностью к бытовому укладу моего родного народа, которую я испытывал всю жизнь и которую двадцатилетнее пребывание за границей не только не ослабило, но чрезвычайно обострило. Поэтому, не делая себе иллюзий насчет трудности условий работы, которая ожидала меня в Петрограде, я тем не менее предпринял переселение на родину с чувством глубокого удовлетворения. Это чувство разделяла, может быть, в еще большей степени, и моя жена, чем значительно упрощалось мое положение.

Прибыв в Петроград в первых числах июня, я нашел А.П. Извольского в очень подавленном настроении. Как человек нервный и самолюбивый, он находился еще под впечатлением неудачи, постигшей его переговоры с австро-венгерским правительством по вопросу присоединения Боснии и Герцеговины. Последовавшие за этим общие переговоры между державами приняли неблагоприятный для интересов славянства оборот и едва не привели к европейской войне.

В общую схему моих воспоминаний не входит подробное рассмотрение событий, которых я не был участником, поэтому я только упомяну о них, поскольку последствия их повлияли на

создание того положения, которое я застал по приезде моем в 1909 году в Россию, и на мою деятельность в центральном учреждении министерства иностранных дел. Будучи довольно хорошо осведомлен о петроградских настроениях и близко зная Александра Петровича с прежнего времени, я не удивился, найдя его в состоянии сильного раздражения по поводу дипломатического мошенничества австро-венгерского министра иностранных дел, поддержанного Германией всем весом ее международного влияния. К этому раздражению, вполне понятному и законному, прибавлялось еще некоторое недовольство самим собой, в котором он, может быть, не отдавал себе ясного отчета, но следы которого я заметил при первом же с ним свидании. Этот талантливый и в сущности добрый, несмотря на наружное бессердечие, человек имел слабость, которая чрезвычайно усложняла и портила жизнь как ему самому, так и всем его окружающим. Она состояла в том, что он усматривал во всем, что происходило в области как политической, так и частных отношений и что могло касаться его, хотя бы самым отдаленным образом, признаки личной к себе несправедливости и злого умысла. Этим же недостатком страдал и другой даровитый русский государственный деятель, граф Витте, стоявший в нравственном и культурном отношении неизмеримо ниже Извольского и хорошо им охарактеризованный в появившейся недавно в «*Revue des deux Mondes*» главе его воспоминаний.

При такой природной склонности было неудивительно, что Александр Петрович смотрел мрачно на положение вещей летом 1909 года. Оно на самом деле было сложно и чревато самыми серьезными последствиями. Тогда впервые с несомненной ясностью обнаружилась балканская политика Эренталя, направленная на полное подчинение Сербии австрийскому влиянию наперекор букве и духу международных актов и законным интересам России на Балканах.

Означенные стремления издавна существовали у венской дипломатии и проявлялись с большей или меньшей определенностью в разные времена, приводя нередко к неудачам, а иногда, как в царствование Милана Обреновича, доставляя Австро-Венгрии временные успехи. На этой почве политического соперничества на Ближнем Востоке выросла вековая вражда между Веной и Петроградом, которая должна была роковым образом привести рано или поздно к кровавому столкновению. Иного выхода из создавшейся между ними непримиримой антиномии не представлялось. Если и ранее трудно было рассчитывать на возможность сведения между Россией и Австро-Венгрией балканских счетов без участия в их борьбе других держав ввиду того общеевропейского значения, которое балканские вопросы уже давно приобрели, то с заключением Бисмарком в 1879 году Австрийского союза на подобное единоборство не могло оставаться никакой надежды. Этим убеждением были проникнуты все европейские кабинеты. Тем не менее Германия до 1909 года воздерживалась от открытого заявления своей полной солидарности со своей союзницей в области ее балканской политики и, несмотря на изменившееся коренным образом общее направление своей политики, придерживалась еще как будто заветов Бисмарка относительно «костей померанского гренадера». Боснийско-Герцеговинский кризис 1908–1909 годов раскрыл Европе истинное положение вещей. Мошенническая проделка, к которой прибег Эренталь, чтобы превратить безопасное для Австро-Венгерской монархии фактическое обладание Боснией и Герцеговиной в юридическое владение путем грубого правонарушения, носившего характер вызова как всему сербскому народу, так и России, не только не вызвала неодобрения со стороны германского правительства, но была принята под его покровительство и покрыта щитом германской государственной мощи. Европа была поставлена перед свершившимся

фактом, и ей оставалось либо признать его таковым, либо вступить в вооруженную борьбу с австро-германскими соединенными силами, а, может быть, и со всем Тройственным союзом.

Европейское общественное мнение отнеслось враждебно к образу действий австрийской дипломатии, видя в нем угрозу для правовых устоев международной государственной жизни, но поддержать их неприкосновенность силой оружия не нашлось охотников. Прямые интересы Западной Европы не были задеты австрийским захватом, а опасность европейской войны с ее неисчислимыми последствиями представлялась для всех совершенно ясно. Поэтому нельзя было ожидать, чтобы Франция или Англия захотели пойти в этом вопросе дальше предложения пострадавшей стороне своей дипломатической поддержки.

Иное отношение вызвал к себе Боснийско-Герцеговинский кризис в Сербии и России. Для первой окончательное, бесповоротное поглощение Австро-Венгрией значительной части сербского племени было не только тяжким ударом с точки зрения национального чувства, но и грозным предзнаменованием дальнейших видов венской политики по отношению к слабому сербскому соседу. Россия, хотя и не затронутая непосредственно в своих прямых интересах, была тем не менее оскорблена той беззастенчивостью, с которой граф Эренталь обошелся с русским министром иностранных дел, позволив себе посредством явной передержки истолковать в виде согласия русского правительства на немедленное присоединение оккупированных турецких провинций те общие разговоры, которые происходили между ними в моравском поместье графа Берхтольда на эту тему и во время которых А.П.Извольский предъявил требование на соответствующее возмещение для

России в том случае, если бы Австро-Венгрии удалось добиться своей цели.

Нет сомнений в том, что доверчивость Извольского по отношению к дипломату, нравственные качества которого были таковы, что требовали особой осторожности в деловых сношениях с ним, и поразительная недобросовестность которого, равно как и его доверенных сотрудников, не брезговавших прибегать к подлогам, проявившаяся в ближайшее время с полной очевидностью, была со стороны Извольского крупной ошибкой, в которой он, однако, имел мужество сознаться. Но зло было уже сделано, и последствия его обнаружились в весьма скором времени. Я не хочу утверждать, что эти последствия, едва не приведшие к войне между Австрией и Сербией, в которой Россия не могла бы оставаться безучастной зрительницей, не произошли бы (и вероятно даже весьма скоро) — и в том случае, если бы Извольский проявил в своих сношениях с венской дипломатией необходимую осторожность. Эренталь, человек необыкновенно тщеславный, искал громких успехов как ради собственной славы, так и в целях укрепления становящегося с каждым годом все более тяжелым внутреннего положения Австро-Венгерской монархии. В Вене уже давно поняли, что пробуждение национального самосознания славянских подданных Габсбургской монархии, явившееся результатом освободительной политики России на Балканском полуострове, должно было рано или поздно неминуемо привести Австро-Венгрию к гибели. Чудовищный по своему бесправию государственный организм двуединой монархии, покоившейся на угнетении в каждой из своих частей большинства населения меньшинством поработителей, стал за долгое царствование императора Франца Иосифа обнаруживать несомненные признаки внутреннего разложения. Богатая жизненными соками молодая Италия положила начало расчленению Австрийской империи, и хотя она и не завершила своей задачи присоединением всех

итальянских земель дряхлой Габсбургской монархии, она, именно в силу этого обстоятельства, служила для нее постоянной угрозой, несмотря на союзные с ней отношения. На Балканах бок о бок с Австро-Венгрией находился другой еще более молодой народ, которому суждено было, после многовекового тяжелого рабства, достигнуть политической свободы. Сербский народ, выдающиеся качества которого довольно поздно нашли себе справедливую оценку не только со стороны мало интересовавшихся им западноевропейских держав, но нецененный по достоинству и русским общественным мнением вплоть до последних балканских войн, сделался предметом особой вражды и подозрительности со стороны австро-венгерской государственной власти с тех пор, как на Сербском престоле утвердилась любимая народом династия Карагеоргиевичей и миновала безвозвратно пора политической угодливости Милана. С Карагеоргиевичами Сербия связывала все свои упования национального возрождения. Чем более дряхлела Габсбургская монархия и чем более иссякал в ней источник всякого внутреннего творчества, тем опаснее становилась для нее Сербия. Будучи бессильной обновить ржавый аппарат своей государственности и подвести под него более широкое и отвечающее духу времени основание, Австро-Венгрии оставалось только вступить с ней в борьбу, надеясь на подавляющее превосходство своих военных сил и на могущественную поддержку своей германской союзницы. В этой неравной борьбе венская дипломатия превзошла себя в неразборчивости средств, которыми она пользовалась для нанесения ударов своей противнице. Одним из них — и наиболее чувствительным — было упомянутое выше установление своих суверенных прав над значительной частью сербского народа, жившего в турецких областях, отданных Берлинским договором под австрийское управление.

Права Турции на Боснию и Герцеговину, хотя теоретически и не переставали существовать, со дня австрийской военной оккупации сделались фиктивными, и возможность протестов со стороны Турции мало смущала Эренталья, который надеялся не встретить непреодолимых препятствий при их устранении, в чем он и не ошибся. Со стороны Сербии Австрия также не ожидала серьезного противодействия, надеясь, в случае нужды, на свою вооруженную силу. Западноевропейские державы, как Вена правильно учитывала, не пошли бы дальше дипломатического протеста. Оставалась одна Россия, в глазах которой грубый захват двух славянских земель Балканского полуострова являлся прямым вызовом и предвещал возможность дальнейших шагов на пути нарушения, в ущерб ее законных интересов, политического равновесия на Балканах. Чтобы парализовать противодействие России, надо было прибегнуть к чрезвычайным средствам, и Эренталь, не рассчитывая на собственные силы, искал помощи своей союзницы Германии. Эта помощь была ему оказана в полной мере. Говоря о направлении германской политики в эпоху Боснийско-Герцеговинского кризиса, князь Бюлов замечает в своей книге «Германская политика», что «он не оставил как в своих речах в рейхстаге, так и в инструкциях, посылаемых германским представителям за границей, никакого сомнения в том, что Германия решила остаться верной своему союзу с Австро-Венгрией при всех обстоятельствах с подобающей твердостью. Германский меч был брошен на весы европейских решений, косвенно в пользу союзной Австро-Венгрии и непосредственно — ради сохранения европейского мира, но прежде всего — ради чести и поддержания положения Германии в мире».

Вот каким образом понимал самый умный, после Бисмарка, немец свои обязанности по отношению к союзнице, к своей собственной стране и к охране европейского мира!

Не приходится удивляться тому, что пангерманские публицисты пошли в этом направлении еще дальше руководителя германской политики. Так, один из них в брошюре, появившейся одновременно с книгой князя Бюлова, пишет следующее: «Было необыкновенно важно, с точки зрения укрепления союза, что присоединение Боснии и Герцеговины вызвало грозную международную кампанию не только против Австро-Венгрии, но также и против Германии. Эта кампания сделала отношения союзников совершенно нерасторжимыми».

Так говорил в рейхстаге государственный канцлер, так писали германские публицисты и так думал, вслед за ними, послушный германский народ.

Меч, брошенный Германией «на весы европейских решений», довольно быстро разрешил в пользу Австро-Венгрии политическую дилемму, носившую в себе опасность международных столкновений. Ближайшей целью Эренталья было получить согласие великих держав на отмену 25-й статьи Берлинского договора, которой определялись права Австро-Венгрии в Боснии и Герцеговине, не путем созыва международной конференции, как того желали русская дипломатия и западноевропейские державы, а простым обменом нот. Первый способ, более закономерный, казался Эренталю слишком медленным. Помимо этого, он представлял в его глазах еще и то неудобство, что не давал достаточно гарантий успеха его планам, ввиду отрицательного отношения европейских кабинетов к приемам венской политики. Затем он преследовал еще и иную цель: добиться от белградского правительства признания неосновательности предъявляемого им после захвата Боснии и Герцеговины требования земельного вознаграждения и притом в более тяжелой для самолюбия сербского народа форме. Стремления венской политики обнаруживали, с одной стороны, полное презрение к святости договорных обязательств, а с

другой — мелочную злобу к соседу, которого Эренталю хотелось не только ослабить, но и унижить. Это желание является характерной чертой беспринципной и близорукой венской политики. Тем не менее эта политика не только не вызвала никаких возражений или предостережений со стороны князя Бюлова, но заслужила его одобрение и нашла в нем горячего пособника. Канцлер полагал, что задача германской дипломатии должна состоять в устранении русского противодействия австрийским планам на Балканах, и поэтому он поручил германскому послу в Петрограде сообщить А.П.Извольскому путем устного, но вполне официального заявления, что в случае отказа русского правительства выразить согласие на безусловную отмену 25-й статьи Берлинского мирного договора Германии остается только «предоставить событиям свободное течение, возлагая на нас ответственность за их последствия». Таким образом, замечает Извольский в телеграмме от 10/23 марта 1909 года к русским послам в Париже и в Лондоне, нам была поставлена альтернатива «между немедленным разрешением вопроса о присоединении или вторжении в Сербию австрийских войск».

Ультиматумный характер подобного заявления ясен всякому. Русскому правительству приходилось выбирать между двумя тягостными решениями: либо пожертвовать Сербией, либо отказаться от определенно высказанного им взгляда на незаконность австрийского захвата. Оно выбрало второе, принеся в жертву свое самолюбие. Князь Бюлов и граф Эренталь одержали над

Россией и Сербией, а затем и над западноевропейскими державами дипломатическую победу. В пору своего успеха ни тот, ни другой не подозревали, что эта победа сыграет роль первого гвоздя в гробу Австро-Венгрии и косвенным образом

будет способствовать низвержению Германии с высоты ее господствующего положения в континентальной Европе.

В связи с означенными событиями я считаю нелишним привести здесь, в виде иллюстрации специальной психологии германских государственных людей, следующий эпизод из моих служебных сношений с германским послом в Петрограде вскоре по вступлении моем в должность товарища министра иностранных дел. Выражая мне свое удивление по поводу того возбуждения, которое произвела в русских правительственных и общественных кругах роль Германии в марте 1909 года, граф Пурталес сказал мне, с видом глубокого убеждения, что это возбуждение представляется ему совершенно непонятным, так как он никогда не предъявлял русскому правительству никакого ультиматумного требования, и что образ действия Германии в вопросе о присоединении Боснии и Герцеговины носил совершенно дружественный нам характер. Видя мое недоумение, посол прибавил, что ему отлично известно, что главным виновником возбуждения у нас антигерманского чувства был английский посол, сэр Артур Никольсон, занимавшийся, из ненависти к Германии, подливанием масла в огонь. Это заявление не нуждается в комментариях, но оно тем более характерно, что исходило от одного из наименее шовинистически настроенных немецких дипломатов.

Как ни велика была жертва, принесенная русским правительством делу сохранения европейского мира, и как ни тягостна была она лично Извольскому, принявшему на себя всю силу общественного негодования, она была необходима, а потому и разумна. С окончания злополучной японской войны, послужившей поводом ко внутренним потрясениям, которые были предвестниками революции 1917 года, прошло тогда неполных пять лет. Экономическое и финансовое положение России еще не пришло в состояние должного равновесия после

напряжения полуторагодовой войны, а в военном отношении силы наши были в самом безотрадном положении. Поражения на полях Маньчжурии отозвались на духе командного состава нашей армии, лишив его необходимой для успеха уверенности в себе, и ослабили воинскую дисциплину нижних чинов. Что касается материальной части, то она находилась еще в состоянии, в котором оставило ее окончание войны. Для полноты картины внутреннего положения России весной 1909 года надо еще прибавить, что Столыпину, который принял власть, вывалившуюся из слабых рук Витте и Горемыкина, едва удалось к этому времени успокоить расходившиеся революционные страсти и задержать надвигавшуюся мутную волну анархии.

Всех этих причин достаточно, чтобы объяснить, почему Россия не приняла брошенный ей Австро-Германским союзом вызов. Хотя Сербия не добилась территориального возмещения за причиненный ей нравственный ущерб, реальные ее интересы на этот раз не пострадали от захватнической политики Австро-Венгрии. Территория ее осталась нетронутой, и суверенные права неприкосновенными. Благодаря этому на Балканском полуострове не произошло перемещения центра тяжести, которое нарушило бы существовавшее политическое равновесие и угрожало бы жизненным интересам России, и ей не пришлось вынуть меч для своей защиты. Сербия послушалась дружеских советов России и западных держав и благоразумно не зажгла европейского пожара при политических обстоятельствах, неблагоприятных для будущности сербского народа. Дипломатическое столкновение было окончено, но брошенное Эренталем недоброе семя не пропало и принесло плод в виде долго гноившейся в душе сербского народа язвы оскорбленного национального чувства.

Я уже упомянул о повышенном самолюбии А.П.Извольского. В описываемую мной пору поводов к проявлению этого

чувства даже в человеке, более уравновешенном в этом отношении, было вполне достаточно. Замечая в личных отношениях своих светских знакомых охлаждение к себе и читая ежедневно ожесточенные нападки на свою политику в печати, Александр Петрович страдал невыразимо. Тяжелое настроение, в котором он находился, вредно отзывалось на его замечательной работоспособности и лишало его необходимой энергии для выполнения нелегкого труда, выпадающего изо дня в день на долю министра иностранных дел великой державы. Его охватило одно желание, одна мечта — уехать из Петрограда и переменить неблагодарный министерский пост на менее тягостный и ответственный: главы одного из наших посольств. Об этом желании он известил Государя вскоре после возникновения Боснийско-Герцеговинского кризиса и заручился принципиальным его согласием на такое перемещение. Для осуществления этого замысла надо было однако, во-первых, найти себе преемника, а во-вторых, дожидаться освобождения посольской вакансии. На все это требовалось немало времени. Перебирая возможных себе заместителей, он остановил свое внимание, в числе других, и на мне. Ему говорили обо мне некоторые лица, ко мнению которых он прислушивался. К тому же он близко знал меня лично со времени нашей трехлетней совместной службы в Риме. О том, как состоялось мое назначение в преемники Извольскому, я не буду говорить подробно, так как не считаю этот предмет заслуживающим особого внимания. Могу сказать только, что в этом вопросе, вопреки утверждению графа Витте, П.А.Столыпин не играл никакой роли. Я упоминаю об этом факте лишь потому, что считаю долгом снять с памяти этого замечательного человека обвинение в соображениях семейного свойства при замещении одной из наиболее ответственных должностей в государстве.

При первом моем свидании с Извольским по приезде в Петербург он сказал мне, что уход его принципиально решен и

что я намечаюсь ему в преемники. При этом он просил меня смотреть на то время, которое я проведу в должности товарища министра, как на подготовительный этап для занятия должности министра. Я выразил ему искреннюю надежду, что этот период окажется по возможности продолжительным, так как я чувствовал себя недостаточно подготовленным моей предыдущей службой к занятию места руководителя русской внешней политики. Надо отдать должное Извольскому, что, смотря на наше новое сотрудничество с точки зрения пополнения моего политического воспитания, он с первого дня вступления моего в должность привлек меня ближайшим образом к своей работе, требуя моего присутствия при всех докладах начальников политических отделов и посвящая меня во все подробности переговоров, которые он вел лично с иностранными представителями. Кроме этой совместной работы с Александром Петровичем, на мне лежали обязанности, специально присущие товарищу министра, а остававшиеся затем немногочисленные свободные часы я отдавал на ознакомление с наиболее важными политическими вопросами, которые возникали в течение предшествовавшего десятилетия. К числу этих последних принадлежали и наши соглашения с Великобританией и Японией, которые легли в основу наших новых отношений к этим двум государствам. Я упоминаю о них здесь, потому что, говоря об Извольском, нельзя обойти молчанием эти два главные момента его политической деятельности в качестве руководителя русской внешней политикой. Сами по себе чрезвычайно важные, эти соглашения приобретают еще особое значение вследствие того влияния, которое они имели на ход мировых событий, связанных с австро-германским наступлением 1914 года.

Если обратить внимание на двухвековую историю наших отношений с Англией, то она представляется в виде бесконечной цепи политических недоразумений, взаимного подозрения

и тайных и явных враждебных действий. За все это долгое время найдутся лишь несколько моментов, когда эта вражда прекращается, уступая место недолговечным соглашениям на почве общей борьбы с третьей державой, угрожающей как интересам России, так и интересам Великобритании. Этим характером вынужденности или практической необходимости, велениям которой английский народ был всегда послушен, объясняется недолговечность периодов времени, когда взаимное недоверие уступало место более спокойному и разумному чувству общности многих политических и экономических интересов. Озираясь на этот период соревнования и вражды, принесших столько горьких плодов, я не могу отрешиться от убеждения, которое сложилось у меня за шестилетнее пребывание в Англии в сравнительно молодые годы моей жизни, что враждебность Англии к России и обратно является ничем иным, как результатом длительных недоразумений, каковые бывают не только между отдельными людьми, в частной их жизни, но и между народами. Мне всегда казалось, что если есть на свете две страны, которые сама природа предназначила к мирному сожитию и сотрудничеству, то это Россия и Англия. Не соприкасаясь нигде своими границами и трудно друг для друга уязвимые ввиду особенностей их военной организации, у одной исключительно сухопутной, а у другой — главным образом морской, Россия и Англия, тем не менее, постоянно враждовали между собой; и ни той, ни другой долгое время не приходило в голову хладнокровно разобраться в причинах этой вражды и удостовериться, есть ли для нее достаточные поводы и попытаться принять меры к их устранению. Приходится предположить, что одной из главных причин взаимной отчужденности Англии и России является, может быть, не соперничество на почве внешней политики, а коренное различие их внутреннего государственного строя, вызвавшее среди огром-

ного большинства английского народа антипатию и недоверие к нашему внутреннему порядку.

Единственная заслуживающая внимания попытка в направлении некоторого сближения с нами была сделана английской дипломатией под влиянием личного почина короля Эдуарда VII. Эта попытка, встреченная полным сочувствием русского правительства, привела после довольно продолжительных переговоров к заключению в следующем году упомянутого выше соглашения.

Оно не касалось европейских вопросов и имело своим предметом исключительно среднеазиатские интересы договаривающихся сторон. Нет оснований считать это соглашение недостаточным или неудовлетворительным из-за его специального характера, так как отдалявшие друг от друга Россию и Англию недоразумения происходили, главным образом, на почве их среднеазиатских отношений. Наоборот, я склонен думать, что оно имело большое значение не только потому, что вносило успокоение в вековую борьбу между нами и Великобританией, но также и потому, что послужило первым шагом к нормальным и доверчивым отношениям между нами в более обширной области общеевропейской политики. Для меня представляется несомненным, что соглашение 1907 года устранило многие препятствия к участию Англии в борьбе против Германии на стороне России. Я не хочу, очевидно, сказать этим, что Россия в войне против Австро-Германского союза, которую она вела совместно со своей союзницей Францией, не получила бы, при иных условиях, от Англии никакой помощи. Для оказания этой помощи у нее было и без того достаточно причин, но я уверен, что английское общественное мнение не стало бы так единодушно на нашу сторону, как это сделало, если бы сблизившее нас соглашение 1907 года не было подписано.

Говоря об этом соглашении, надо упомянуть о том, что первая мысль о политическом сближении между Россией и Англией явилась в иностранных политических сферах в 1904 году у тогдашнего французского министра иностранных дел Делькассе как естественное последствие заключенной им с Англией так называемой «Entente cordiale», казавшейся недостижимой после предшествовавших бесконечных недоразумений, принимавших иногда характер острых столкновений. Этот выдающийся по уму государственный человек, о близком сотрудничестве с которым за время его пребывания в России в качестве французского посла я сохранил самое приятное воспоминание, оказал своему отечеству неоценимые услуги. Еще ранее удачно проведенного им, вопреки значительным трудностям, сближения с Англией Делькассе достиг сближения с Италией, которое вырвало жало у Тройственного союза и облегчило, заблаговременно, выход из него Италии в момент возникновения европейской войны. Предварительные шаги Делькассе в направлении англо-русского движения были сочувственно встречены английским правительством и французский проект был принят королем Эдуардом под свое личное покровительство. В России он равным образом встретил поддержку у тогдашнего министра иностранных дел графа Ламсдорфа, но благодаря маловерчивому к себе первоначально отношению Государя и определенно отрицательному со стороны наших консервативных кругов, не излеченных от своих германских увлечений поведением Германии на Берлинском конгрессе, прошло около трех лет, прежде чем мысль Делькассе успела проникнуть в область реальной политики, несмотря на то, что сразу нашла в России немало сторонников.

Всего сказанного выше было более чем достаточно для того, чтобы Делькассе навлек на себя непримиримую вражду германского правительства и чтобы в Берлине устранение его от дел было решено при первой к тому возможности. Такая

возможность наступила во время управления Францией кабинета Рувье на почве дипломатической борьбы с Германией в связи с марокканским вопросом, и Франция на время вынуждена была лишиться услуг своего даровитого министра иностранных дел в условиях, тяжелых для своего национального самолюбия.

Среди лиц, сочувствовавших у нас сближению с Англией, наибольшее значение имели посол наш в Париже А.И.Нелидов и А.П.Извольский, бывший в то время нашим посланником в Дании. Сменив на должности министра иностранных дел Ламсдорфа, ушедшего после падения графа Витте, Александр Петрович по водворении своем у Певческого моста принялся за практическое осуществление плана, который к этому времени уже успел созреть в сознании русских государственных людей. Как часто бывает в Англии, либеральный кабинет, сменивший у власти консерваторов, продолжал их политику, и сэр Эдуард Грей привел к благополучному осуществлению возникший при лорде Ланздауне проект русско-английского сближения.

Подписание в 1907 году соглашения открывало новую эру в наших отношениях со старой и, казалось, непримиримой соперницей. Как у нас, так и в Англии были люди, которые отнеслись критически к состоявшемуся между нами соглашению, одни — на основании неискоренимых предрассудков и принципиальных соображений, другие — потому, что находили его для своей страны невыгодным. В Англии такое отрицательное отношение встречалось, главным образом, у лиц, принадлежащих к служебному составу англо-индийского правительства, или у той группы британских государственных людей, которые всегда считали началом всякой политической мудрости непримиримую вражду к России. Во главе этой группы непримиримых стоял бывший вице-король Индии лорд

Керзон, нынешний британский министр иностранных дел, который не сошел с нее и ныне.

Два месяца спустя после моего вступления в должность товарища министра, когда я только начал осваиваться с моими новыми обязанностями, Извольский уехал в трехмесячный отпуск, передав мне управление министерством. Это был рискованный шаг ввиду моей недостаточной подготовки к самостоятельному управлению делами нашей внешней политики. На мое счастье, за эти три месяца моего первого управления не произошло никаких чрезвычайных событий, которые, благодаря моей неопытности, могли бы иметь не для меня одного невыгодные последствия. Удержать Извольского от задуманной им отлучки не было возможности. При обыкновенно плохом здоровье нервы его, в силу упомянутых выше обстоятельств, настолько были расстроены, что продолжительный отдых стал ему необходим. Кстати для него, отъезд его в отпуск совпал с предстоявшим осенью 1909 года посещением Императором Николаем II итальянского короля в Раккониджи, куда он должен был сопровождать Государя. Впоследствии отсутствия Извольского повторялись неоднократно, и за полуторагодовую мою службу в качестве его товарища мне пришлось управлять министерством в общей сложности более семи месяцев.

С этих пор начались мои правильные и постоянные сношения с покойным Государем, прерванные только раз в 1911 году моей продолжительной болезнью и продолжавшиеся вплоть до отставки в июле 1916 года. .

Глава II

Свидание в Потсдаме. Аудиенция у императора Вильгельма. Соглашение по среднеазиатским вопросам. Международное положение России в момент моего занятия поста министра иностранных дел. Марокканское соглашение 1911 года и участие в нем русской дипломатии.

Осенью 1910 года А.И.Нелидов, занимавший пост нашего посла в Париже, заболел тяжелой болезнью, которая в несколько недель свела его в могилу. Вместе с его кончиной открывалась для Александра Петровича Извольского возможность сложить с себя ставшие ему в тягость обязанности министра иностранных дел и занять пост русского посла в союзной нам Франции.

Царская семья в это время находилась в Дармштадте, куда Извольский поехал, чтобы окончательно оформить свое назначение в Париж и равным образом и вопрос о моем назначении ему в преемники. Вернувшись в Петроград, Александр Петрович сообщил мне, что Государь велел ему объявить мне свою волю относительно назначения меня министром иностранных дел и передать мне приказание приехать в Дармштадт для сопровождения Государя в предстоящей поездке его в Потсдам, где он намеревался отдать императору Вильгельму визит, сделанный им незадолго перед тем царской семье в замке Вольфсгартен.

В последних числах октября я приехал в Дармштадт и на следующий день представился Государю в близлежащем Вольфсгартене. Этот загородный дворец, по размерам своим и по скромности обстановки напоминающий усадьбу помещика средней руки, был в это время настолько переполнен гостями, что Государь мог принять меня только в своей спальне, где едва хватало места, кроме кровати, для письменного стола и

двух-трех кресел. Государь сказал мне, что остановил свой выбор на мне, потому что в довольно продолжительные сроки моего управления министерством успел со мной познакомиться в достаточной мере и что он надеется, что за время моего пребывания в Петрограде я уже успел приготовиться к занятию должности министра. Затем он перешел к обсуждению тех вопросов, которых, как нам было известно, должны были коснуться в своих разговорах со мной в Потсдаме германский канцлер и статс-секретарь по иностранным делам. «Не знаю, — прибавил Государь, — будет ли говорить с вами о делах император Вильгельм. Весьма возможно, что он постарается только произвести на вас впечатление, как он часто старается это сделать при первых встречах с незнакомыми ему людьми». На следующий день вечером я сел в Дармштадте в императорский поезд, а утром мы прибыли в Потсдам, где Государь был торжественно встречен. В течение трехдневного нашего пребывания в Потсдаме я был принят императором Вильгельмом в частной аудиенции, которая продолжалась более часа. Во время этого свидания он говорил со мной о политических делах только в общих выражениях, причем неоднократно упоминал об Извольском в довольно бестактной форме, давая мне понять, что германское правительство не могло установить доверчивых отношений с министром, который служил чужим интересам по крайней мере столько же, если не больше, чем интересам своей собственной страны. Император хотел в этих словах излить свое неудовольствие на моего предшественника за его неизменную верность нашему союзу с Францией и, вероятно, также за недолго перед тем подписанное им соглашение с Англией, с которым император никак не мог примириться. Искусственное поддержание дурных отношений между Россией и Англией было, как известно, всегда одной из основных задач политики Гогенцоллернов. Затем он перешел к неисчерпаемой теме вековой дружбы между русским и прус-

ским царствующими домами и необходимости поддерживать эту дружбу и впредь для блага России и Германии, в чем я с ним вполне согласился, сказав ему, что ближайшей моей задачей будет изыскание способа, оставаясь верным основным началам русской внешней политики, восстановить между нами доверчивые отношения, поколебленные недавно Боснийско-Герцеговинским кризисом. После нескольких рассуждений на общие темы император, отпуская меня, выразил мне удовольствие, что ему наконец привелось встретиться с русским министром иностранных дел, который мыслит и чувствует, как русский. «С национально настроенным министром, — прибавил император, — нам, немцам, нетрудно будет жить в мире и добром согласии».

Как странно звучали эти слова, когда я вспоминал о них в те дни, когда тот же Вильгельм, отвергнув все примирительные попытки покойного Государя и русской дипломатии, решился на «свежую и радостную войну», которая должна была в его распаленном воображении одним ударом покончить раз и навсегда с Францией и Россией, а с ней вместе и с ненавистным ему и его народу славянством, и на их дымящихся развалинах навеки установить мировое владычество Германии!

Официально праздничная атмосфера Потсдама мало способствовала ведению деловых переговоров, которые поэтому были на следующий день перенесены в Берлин и происходили как у канцлера, Бетмана-Гольвега, так и у статс-секретаря по иностранным делам, Кидерлен-Вехтера, причем с первым они вращались больше в сфере общих принципов, а со вторым носили определенно деловой характер, вникая в сущность рассматриваемых вопросов и касаясь всех их подробностей.

Канцлер произвел на меня выгодное впечатление при первой нашей встрече. Он показался мне человеком честным и прямым, хотя и малоосведомленным в вопросах внешней

политики, что я объяснил себе недавним его назначением на высший пост империи после долголетней административной деятельности. Для занятия должности канцлера Германской империи было, конечно, недостаточно близкого знакомства с условиями внутренней жизни сложного политического организма Германской империи. Требовалось еще и, пожалуй, даже в большей мере, знание разносторонних и вечно меняющихся факторов международных отношений. В пору нашего первого знакомства у Бетмана-Гольвега совершенно не было этого знания, но он и не старался показать, что им обладает, и говорил о вопросах внешней политики, избегая всяких технических подробностей, с точки зрения простого здравого смысла, чем он невольно располагал собеседников в свою пользу.

Несмотря на огромный рост, он не производил впечатления человека сильного, но безыскусственность его обращения и симпатичная внешность давали иллюзию большой искренности и простоты и невольно внушали к нему доверие. Таковы были первые впечатления. Более близкое с ним знакомство их не подтверждало. Верны они были только в отношении его неосведомленности в вопросах внешней политики, с которыми он, как это доказали события, так и не мог освоиться до самого конца своей политической деятельности. Этим объясняется тот факт, что ему никогда не удалось занять положение действительного руководителя германской политики.

Что же касается его прямоты и искренности, то я имел случай убедиться в отсутствии у него этих качеств еще ранее эпохи всемирной войны, бросившей ослепительный свет на лживость и двуличность германской дипломатии.

Ближайший сотрудник канцлера Бетмана-Гольвега, статс-секретарь по иностранным делам Кидерлен-Вехтер, нисколько не походил на своего начальника. Трудно себе представить человека с менее привлекательной наружностью. Чем более он

старался придать мягкость и любезность своему обращению, тем более выглядывала из-под внешних форм прирожденная ему грубость. Но зато он был бесспорно умный человек, близко знакомый со всеми подробностями международного положения и не боявшийся свободно высказывать свои политические мнения. Он был другом и близким сотрудником знаменитого Гольштейна, имевшего долгие годы невидимое, но сильное влияние на ход германской политики. Это сотрудничество наложило отпечаток на всю политическую деятельность Кидерлена в смысле продолжения традиции Бисмарка. При дворе его не любили. Особенно мало расположена к нему была императрица за его безвкусные и не всегда приличные шутки. Но у себя в министерстве он был полным хозяином, и зависимость его от канцлера была скорее видимая, чем действительная. Влияние его на ход германской политики проявлялось в некоторых случаях благотворно и служило к предотвращению казавшихся неизбежными столкновений, как, например, в критические моменты франко-германских переговоров по марокканскому вопросу. В моих глазах главным его достоинством было то, что он питал к Австро-Венгрии весьма мало симпатий и смотрел на союз Германии с двуединой монархией по-бисмарковски, т.е. не как на цель германской политики, а как на средство. Поэтому смерть его была событием не безразличным с точки зрения интересов европейского мира, тем более что заместитель его на посту статс-секретаря, г-н фон Яго, если и не имел вышеупомянутых недостатков Кидерлена, зато и не обладал ни одним из его качеств.

Тотчас по назначении меня товарищем министра я убедился, что германское правительство при первом удобном случае заведет с нами переговоры по среднеазиатским вопросам и приложит все усилия добиться от нас возможно больших для себя экономических уступок.

Наше соглашение с Англией привело к разделу Персии между нами на зоны влияния соответственно близости их к нашим границам. В этих зонах каждая из договаривающихся сторон пользовалась особыми политическими правами, причем третья — средняя зона — была объявлена нейтральной, и в ней обе стороны были равноправны. Подобное размежевание политических и экономических сфер влияния не давало германскому правительству покоя. В Берлине постоянно говорили о том, что персидский рынок захвачен Россией и Англией и что доступ к нему закрыт для третьих, что было верно только в отношении транзита по территории Кавказа, тогда как товары, шедшие караванным путем из Малой Азии или из портов Персидского залива, имели свободный доступ в Персию. Постройка Багдадской железной дороги, которая должна была служить одновременно проводником германского политического влияния в Малой Азии и установить в этой области германское экономическое господство, продвигалась довольно медленно. Но немцы уже учитывали то время, когда она будет доведена до местностей, прилегающих к персидской границе, и решили готовиться к этому моменту путем предварительных переговоров с русским правительством и заблаговременно установить возможность своего экономического проникновения в Тегеран и в наиболее богатые и населенные северные провинции Персии, входящие в сферу русского влияния. Старый караванный путь не мог отвечать этим целям. Надо было добиться постройки боковых железнодорожных линий, исходящих от Багдадской магистрали и соединяющих ее со столицей Персии и главнейшими ее рынками.

Из личных бесед с германским послом в Петрограде я еще до моего отъезда в Германию уже знал, что этот вопрос будет служить главным предметом переговоров со мной в Потсдаме. При первом же моем свидании с германскими государственными людьми я заметил, что они придают ему чрезвычайно

большое значение и будут добиваться всеми силами его благоприятного разрешения. Весь ход наших дальнейших переговоров укрепил меня в этой мысли. Кидерлен-Вехтер, в руках которого они были сосредоточены, дал мне сразу понять, что Германия не может признать за Россией и Англией монопольных прав в Персии на основании соглашений их с этой державой, в которых она сама не была участницей и которые нарушают в ущерб ее экономическим интересам принцип открытых дверей. Он прибавил вместе с тем, что из дружеских отношений к России Германия готова не настаивать на своем праве добиваться железнодорожных концессий в зоне русского влияния, но что она ожидает взамен, что Россия не будет препятствовать смычке малоазийских железных дорог с будущей сетью путей, которыми Россия имеет в виду связать Тегеран со своими закавказскими владениями.

Это требование было нам неприятно и невыгодно, так как оно угрожало нашей давно установившейся торговой монополии в Северной Персии. С другой стороны, оспаривать его законность было крайне трудно, не придавая нашему отказу явно недружелюбного характера, притом в такую минуту, когда русское правительство было озабочено ослаблением напряженности наших отношений к своему западному соседу.

Политическое наследство, полученное мной от А.П.Извольского, было крайне пестро. В отношении нашей союзницы Франции наше положение покоилось на незыблемых основаниях договорных отношений, доказавших за пятнадцатилетнее существование свою целесообразность и ценность с точки зрения гарантий европейского мира. Со стороны Англии, с которой в 1907 году нам удалось установить вполне удовлетворительные отношения, нам не угрожали никакие нежелательные осложнения. Наконец наши отношения с Италией, которая пользовалась издавна нашей искренней симпатией,

были равным образом удовлетворительны. После поездки Государя в Раккониджи, где эти отношения приняли определенную форму взаимного признания политических интересов (Италии — на Северо-Африканском побережье, а России — на Ближнем Востоке), мы получили возможность рассчитывать на дальнейшее укрепление дружественных с ней связей независимо от того, что она входила в состав враждебного нам политического сочетания. Таким образом, положение наше со стороны европейского Запада могло почитаться вполне обеспеченным. Зато на самых границах наших оно было весьма малоудовлетворительно, и еще раньше моего вступления в должность министра иностранных дел можно было без преувеличения сказать, что единственные вероятные враги России были ее ближайшие соседи. Относительно чувств к нам Австрии, мы со времен Крымской войны не могли питать никаких заблуждений. Со дня ее вступления на путь балканских захватов, которыми она надеялась подпереть расшатанное строение своей несуразной государственности, отношение ее к нам принимало все менее дружелюбный характер. С этим неудобством мы, однако, могли мириться до тех пор, пока нам не стало ясно, что балканская политика Австро-Венгрии встречает сочувствие Германии и получает из Берлина явное поощрение. Благодаря тому, что германское покровительство австрийских замыслов стало в 1908 году несомненным фактом, опасность столкновений с Австрией для нас удесятирилась.

Я уже говорил о том состоянии полной военной неподготовленности, в котором нас застиг Боснийско-Герцеговинский кризис. Это обстоятельство было хорошо известно в Берлине, и им в значительной степени объясняется вызывающий образ действий германского правительства. Позволительно думать, что будь мы в 1909 году более готовыми к войне, князь Бюлов говорил бы с нами более примирительным тоном. Всегдашняя слабость России — несчастье, повторяющееся неизменно во

все многочисленные войны, которые ей пришлось вести, полная неудовлетворительность ее боевого снаряжения, — становилась с каждым годом для нее более грозной по мере того, что ее соседи напрягали все свои силы для приведения своих вооружений в полный порядок. Германия в этом отношении уже давно достигла поразительных результатов и находилась в состоянии «постоянной готовности». Даже Австро-Венгрия, близкая уже много лет к государственному банкротству, стояла выше России с точки зрения своего вооружения и достаточно развила сеть своих стратегических железных дорог. С этой последней точки зрения наша отсталость была особенно поразительна. Для исправления недостатков наших железнодорожных сообщений были необходимы огромные суммы, которые мы могли получать только из-за границы и в которых наши союзники нам не отказывали, но, прежде всего для этого нам был необходим прочный и продолжительный мир. Ранее того, что я приехал в Петроград и успел разобраться во внутреннем положении России и, таким образом, дойти самостоятельно до сознания означенной истины, меня убедил в ней Столыпин, постоянно возвращавшийся в своих частных, а затем и официальных сношениях со мной к вопросу о необходимости избегать во что бы то ни стало всяких поводов к европейским осложнениям еще долгие годы, по крайней мере до того времени, пока Россия не достигнет должной степени развития своих оборонительных средств. О каком бы то ни было наступлении, разумеется, никто не помышлял, и оно никогда не входило в рассмотрение. В подобном же настроении я застал и Государя, по природе человека глубоко миролюбивого и находившегося еще под тяжелым впечатлением несчастной японской войны, в возможность которой он не верил накануне ее наступления. Но решительнее всех высказывался против всякой политики приключений военный министр, вероятно потому, что ему ближе всех было известно неудовлетворитель-

ное состояние, в котором находилось его ведомство. Вообще при вступлении моем в состав русского правительства в Петрограде не было и следов существования какой-либо партии, желавшей войны, и бряцания оружием не было слышно ниоткуда. Хотя раздражение против Австро-Венгрии было везде очень сильно, редко кто отдавал себе отчет в том, что без поощрения или, по крайней мере, согласия Германии политика Эренталя, чуть не приведшая к войне, была бы невысказана.

Петроградские миролюбивые течения должны были, само собой разумеется, отразиться на ходе моих берлинских переговоров. Русскому правительству необходимо было, прежде всего, обезвредить Германию на долгий срок путем возможных уступок в области ее экономических интересов. Как я уже сказал выше, положение ее было довольно выигрышное, и нам трудно было удержаться на почве экономической монополии Северной Персии. Надо было сохранить, главным образом, в неприкосновенности наше политическое положение в Тегеране и добиться его официального признания со стороны Германии, что было недостижимо без соответственных уступок. Трудность переговоров состояла в том, что ввиду настойчивости германских требований относительно смычки Багдадского пути с будущей сетью персидских железных дорог нам приходилось во избежание отдачи этой смычки в руки Германии произвести ее самим. Иными словами, нам самим приходилось строить железную дорогу, не только нам не нужную, но и вредную нашим интересам, выбирая, таким образом, из двух зол меньшее. Я сознавал вполне, что наше согласие на германское требование будет недружелюбно принято общественным мнением в России и возбудит большие опасения в наших торгово-промышленных кругах, но тем не менее я решился уступить немцам по существу, оговорив наше согласие рядом условий, которые отсрочивали ее выполнение на приблизительно десятилетний срок. Я был убежден, что за это время

нам удастся привлечь Англию к нашему железнодорожному строительству и парализовать таким образом опасность захвата Германией в свои руки всего торгового движения в Северо-Западной Персии.

При вступлении в деловые переговоры с германским правительством моей ближайшей задачей было установление между нами такого *modus vivendi*, который мог бы служить отправным пунктом для дальнейших, возможно, прочных добрососедских отношений между нами. Это было настоятельно необходимо не только с точки зрения нашей собственной безопасности, но и европейского мира, и для достижения этой цели не следовало останавливаться перед принесением даже нелегких жертв.

Когда около года спустя наше соглашение с Германией приняло окончательную форму, оно вызвало, как можно было ожидать, отрицательное к себе отношение в печати и в нашем торгово-промышленном мире. Это было естественно и неизбежно, так как ближайшие интересы и цели обыкновенно заслоняют собой в глазах общественного мнения более отдаленные и, нередко, более важные. С этим надо мириться. Из-за границы до меня также доходили известия о некотором беспокойстве, вызванном у наших союзников и друзей потсдамскими переговорами. Наши представители в Лондоне и в Париже сообщали мне, что английское и французское правительства озабочены возможностью неблагоприятных для них последствий нашего соглашения с Германией. Эти опасения касались, главным образом, вопроса Багдадской железной дороги и новым, как им казалось, отношением к нему русского правительства. Англичан беспокоила, кроме того, представлявшая им возможность стратегической опасности как последствие проникновения Германии в Персию. На самом деле нового в отношении русского правительства к вопросу о Багдадской

железной дороге было только то, что оно обязалось Германии не препятствовать, насколько это от него зависело, окончанию постройки этой линии, причем под Багдадской дорогой подразумевалась только уже находившаяся в постройке железнодорожная линия, которая должна была соединить Конию с Багдадом, но которая еще далеко не была доведена до этого конечного пункта. Таким образом, Россия не давала своего согласия на постройку каких-либо новых линий на юг от Багдада, по направлению к Персидскому заливу, могущих нанести вред политическим или торговым интересам Великобритании в областях, в которых она считала эти интересы господствующими и которые поэтому английское правительство всегда оберегало особенно ревниво от всякого иностранного проникновения. Мы обещали только не препятствовать доведению до конца предприятия, на которое мы хотя и смотрели без особенного удовольствия, но завершение которого ни мы, ни наши западноевропейские друзья приостановить уже не были в силах. Одним словом, в своем соглашении с Германией Россия не предоставляла ей каких-либо новых льгот, а лишь давала свою санкцию давно совершившемуся факту. В настоящую минуту этот вопрос не имеет никакого практического значения, но в свое время он причинил мне немало хлопот и послужил поводом к многочисленным недоразумениям и нападкам на меня как в русской, так и в иностранной печати. Я упоминаю об этом обстоятельстве, чтобы подчеркнуть еще раз, что русская дипломатия в своем искреннем желании устранить всякий повод к размолвкам и недоразумениям с Германией и добиться установления с ней добрососедских отношений не останавливалась перед принесением с этой целью довольно чувствительных для себя жертв. Как эти жертвы были оценены, показали дальнейшие события. Вскоре после моего возвращения в Петроград между русским и германским правительствами было заключено новое соглашение, касавшееся не

политических их отношений, а частнопрововых. Уже давно и довольно остро ощущалась потребность в упорядочении вопросов, связанных с правом литературной собственности, которую русский закон ограждал только по отношению к русским подданным. При большом количестве переводных сочинений, которые находили себе у нас постоянный сбыт, и при значительно возросшем за последнюю четверть века спросе на произведения русской литературы за границей подобное положение перестало быть более терпимым. Наша союзница Франция первая обратила на него внимание русского правительства и достигла с ним соглашения, которое обеспечивало право литературной собственности ее подданных в пределах России и давало должную защиту во Франции правам русских писателей. Как одно из последствий потсдамского свидания, расчистившего на время атмосферу русско-германских отношений, было обращение к нам германского правительства с выражением желания заключить с нами подобное же соглашение, на что мы поспешили выразить наше согласие. Германские делегаты прибыли в Петроград, и собравшаяся под моим председательством комиссия быстро закончила свои работы. Они велись в дружелюбном тоне и оставили по себе как у нас, так и у немцев приятное воспоминание.

В конце зимы я тяжело заболел и был вынужден уехать в Давос, где провел шесть месяцев, передав моему товарищу, А.А.Нератову, правление министерством. Сознвая, что я на долгое время лишен возможности заниматься делами, я обратился к Государю с просьбой об увольнении меня от должности министра. Государь отказался принять мою отставку и в выражениях, в которых сквозила его редкая душевная доброта, велел передать мне, чтобы я заботился только о своем здоровье, а делами министерства будет заниматься он сам с Нератовым вплоть до моего выздоровления.

Оправившись от болезни осенью 1911 года, я воспользовался моим пребыванием в Швейцарии, чтобы отправиться в Париж для вступления в личные отношения с государственными людьми нашей союзницы Франции. Это было мое первое официальное появление за границей после назначения меня министром, так как поездка моя с Государем в Потсдам за год перед тем предшествовала этому назначению, и я сопровождал его в качестве временно-управляющего министерством. В Дармштадте, накануне нашего выезда в Потсдам, Государь, объявляя мне свою волю относительно моего назначения министром, сказал мне, что он желает сделать его тотчас же, чтобы придать больший вес моим переговорам с германскими министрами. Я просил его отложить мое назначение до возвращения в Россию, потому что мне не хотелось дебютировать в качестве министра на берлинской сцене. Я полагал, что мне не следовало связывать мое первое официальное появление за границей с посещением Германского двора, чтобы не дать нашим союзникам ложного впечатления о моей политической ориентации. Я и без того предвидел, что мое искреннее стремление договориться до приличных отношений с немцами приведет к тому, что я попаду в Париже под подозрение в германофильстве. Это опасение оправдалось, и мне понадобилось некоторое время, чтобы обелить себя в этом отношении в глазах наших союзников и друзей.

Ввиду весьма распространенной у нас привычки судить об образе действий людей на основании присущих, а еще чаще приписываемых им личных соображений, вкусов, симпатий или антипатий мне хочется разъяснить здесь в двух словах мое отношение к германскому народу и к его культуре. Я никогда не страдал германофобией даже в самой легкой форме этого политического недуга. Причиной этому служит, может быть, тот факт, что в моих жилах есть доля германской крови, а вернее всего то, что я хотя и был воспитан под влиянием чисто

русских национальных начал, привык тем не менее подчинять их началам общей всем христианским народам культуры, не допускающей никаких предвзятых антипатий, а тем более всего, что походит на расовую ненависть. Знакомый с раннего возраста с немецким языком и германской культурой, я научился питать искреннее уважение к народу, создавшему науку и своеобразную культуру, которые не только глубоко проникли в самые недра его народной жизни, но внесли ценный вклад в умственное достояние всего мыслящего человечества. Германское искусство, если и не целиком, то во многих своих проявлениях, особенно в области музыки и поэзии, возбуждало во мне искреннее восхищение, хотя это восхищение относилось преимущественно к эпохе сравнительно отдаленной. Культурные формы современной Германии казались мне гораздо менее привлекательными, так как я находил в них элементы грубости и безвкусыя, от которых они никогда не были совершенно свободны. Этот недостаток с течением времени стал постепенно обнаруживаться все с большей силой, проникая даже в музыку, где раньше его не было и следа. Каковы были причины, которые обусловили это явление, нельзя решить в беглой заметке, но несомненно, что оно совпало с эпохой создания Германской империи, состоявшегося под знаком «железа и крови» и послужившего началом вступления Германии на путь мировой политики, который впоследствии привел ее и всю Европу к самой кровавой из всех когда-либо бывших исторических катастроф. По мере продвижения вперед Германии на этом пути искусство ее постепенно замирало, и сама наука, не искавшая до того вне себя самой своих целей, стала все более занимать служебное положение по отношению к государству, пока наконец не приняла во многих своих отраслях определенно казарменно-фабричного характера. Дерево германской государственной и экономической мощи росло и бросало свою огромную тень на все части света, но

источник духовных и нравственных сил германского народа начал понемногу иссякать. Благодетельное культурное влияние Германии на европейские народы начало утрачиваться и, наконец, стало уступать место чувству антипатий, когда конечные цели ее мировой политики стали делаться для всех ясными. Вместе с тем у немцев не заглохли еще их старые национальные добродетели: горячая любовь к родине, повиновение долгу и железная дисциплина. Эти чувства, наряду с редким даром организации, позволили германскому народу выдержать в течение четырех с лишним лет неравную борьбу с мировой коалицией. За эти качества нельзя не уважать германский народ, но людям, видевшим и пережившим то, что видело и пережило наше поколение, любить Германию невозможно. Им достаточно не питать к ней ненависти.

Возвращаюсь к моей первой поездке во Францию в конце ноября 1911 года. После официального посещения президента республики Фальера в Рамбулье где он находился во время моего приезда в Париж, я имел несколько деловых свиданий с председателем совета министров г-н Кальо и министром иностранных дел г-н де Сельвом.

Французское правительство и в еще большей степени общественное мнение были в эту пору под тягостным впечатлением германской попытки добиться, в противовес занятию французскими войсками Феца, от Франции новых уступок в марокканском вопросе. Этой цели должна была послужить неожиданная посылка германского военного судна в Агадир, якобы для защиты в этом незначительном порту довольно сомнительных интересов германских подданных. Г-н Кидерлен-Вехтер надеялся вынудить французское правительство пойти на признание германских интересов в Марокко для того, чтобы иметь средство достигнуть выкупа Францией этих интересов ценой значительных территориальных уступок во

французских центральноафриканских владениях. На все растущее в Германии желание колониальных приобретений определенно указывает следующее место донесения русского посла в Лондоне, графа Бенкендорфа, от 6/19 июля 1911 года. В нем посол передает заявление, сделанное германским послом в Лондоне, графом Вольф-Меттернихом, сэру Артуру Никольсону, занимавшему пост помощника статс-секретаря по иностранным делам, такого содержания: «Между 1866 и 1870 годами Германия сделалась великой державой, но побежденная ею Франция и Англия поделили между собою мир в то время, как Германия получила одни крохи. Теперь настала для Германии минута предьявить свои законные требования».

Агадирский инцидент создал чрезвычайно обостренное положение между Францией и Германией и грозил одно время вовлечь европейские великие державы во всеобщую войну. Русская дипломатия использовала наступившее после потсдамского свидания заметное улучшение своих отношений с Германией, чтобы воздействовать умеряющим образом на берлинские настроения. Этой же цели способствовали заявления английских министров в Палате Общин о невозможности для Англии оставаться безучастной зрительницей упрочения Германии на Африканском побережье Атлантического океана, где ее появление могло бы угрожать морским сообщениям Англии с Южной Африкой. После этого вмешательства держав Тройственного согласия дипломатические переговоры между французским и германским правительством пошли более ускоренным ходом и привели в октябре 1911 года к заключению между ними соглашения, по которому Германия признала особые права Франции в Марокко, которая, в свою очередь, уступила ей часть своих владений в Центральной Африке. Хотя эта сделка, как это обыкновенно бывает, подверглась критике как во Франции, так и в Германии, она тем не менее являлась, по обстоятельствам времени, лучшим исходом из

затянувшегося спора, который принимал порой характер серьезной международной опасности. В сущности, обе стороны не имели основания быть недовольными состоявшимся соглашением и, может быть, Франция даже более Германии, так как, устанавливая свой протекторат над Марокко, она дополняла чрезвычайно ценным приобретением свои североафриканские владения и уступала взамен того противнику, хотя и довольно обширную, область, из которой она до тех пор извлекала весьма мало пользы.

Марокканское соглашение 1911 года спасало самолюбие германской дипломатии, но не может быть названо ее успехом. Заслуга Кидерлен-Вехтера состоит в том, что, убедившись, что симпатии Европы на стороне Франции, он отказался натянуть струну до разрыва и тем отсрочил на три года катастрофу, вызванную после его смерти преступным легкомыслием Бетмана-Гольвега и его дипломатических сотрудников.

Темой моих разговоров с президентом Фальером и г-ми Кальо и де Сельвом по прибытии моем в Париж служило прежде всего благополучное окончание марокканского кризиса, дававшее Франции и всей Европе возможность облегченно вздохнуть на некоторое время. Французское правительство признавало ценную помощь, оказанную ей Россией в Берлине, и выражало мне за нее свою признательность. Беспристрастие заставляет меня признать, что решающим моментом в разрешении политического кризиса 1911 года было, однако, твердое заявление английского правительства о своей солидарности с Францией. При этом я не могу не выразить убеждения, что если бы и в 1914 году сэр Эдуард Грей, как я о том настойчиво просил его, сделал своевременно столь же недвусмысленное заявление в плане солидарности Великобритании с Россией и Францией, он этим спас бы человечество от того ужасающего

катаклизма, последствия которого подвергли величайшему риску самое существование европейской цивилизации.

Я уже упоминал о том, что мое стремление достигнуть удовлетворительных отношений между Россией и Германией во время потсдамского свидания государей навлекло на меня во Франции и в Англии подозрение в германофильстве. Мое первое официальное посещение Парижа дало мне желанный повод рассеять в умах наших союзников это ошибочное представление, и я надеюсь, что после вполне откровенных разговоров с французскими министрами мне удалось твердо установить в их глазах мое истинное политическое мировоззрение. Главным аргументом при этом мне служило высказанное им мое убеждение в необходимости для России, как в ее собственных интересах, так и в интересах всей Европы, достигнуть возможно удовлетворительных отношений с Германией и таким способом содействовать укреплению европейского мира. Помимо этого поддержание старой дружбы между русским и прусским царствующими домами давало нам возможность проявлять наше умиротворяющее влияние на германское правительство к выгоде самой Франции, что нами и было неоднократно с успехом выполнено в критические моменты франко-германских дипломатических столкновений за период времени, начавшийся с 1875 года и вплоть до агадирского эпизода.

Председатель совета министров г-н Кальо произвел на меня впечатление человека, одаренного в самой высокой степени теми особенными свойствами ума, которые составляют как бы монополию французского народа. В стране, где даровитость и блестящее остроумие не являются уделом отдельных лиц, а настолько широко распространены во всех слоях народа, что перестают казаться счастливым исключением и становятся почти общим правилом, теряя при этом в значительной степе-

ни свою прелесть, глава французского правительства казался в этом отношении чем-то вроде исключительного явления. Приходится жалеть, что благодаря некоторым присущим ему недостаткам его политическая карьера оборвалась при печальных обстоятельствах в такую пору жизни, когда менее выдающиеся люди только начинают закладывать ее основание, и что редкие его дарования не дали родине его всего того, что она была вправе от него ожидать.

После трехдневного пребывания в Париже я выехал в Петроград с остановкой с утра до вечера в Берлине, откуда нашим послом мне были переданы приглашения от германского канцлера и г-на Кидерлена-Вехтера.

Г-н Бетман-Гольвег и его помощник чрезвычайно интересовались впечатлениями, которые я вывез из моего пребывания во Франции и из свиданий с ее руководящими деятелями. В Берлине я нашел смешанное настроение под влиянием, с одной стороны, удовольствия по поводу окончания продолжительных и трудных переговоров с французским правительством по марокканскому вопросу, не раз угрожавших прерваться и этим открыть дверь опасным международным осложнениям в неудобную для Германии минуту, и с другой — опасений, что Германия была вовлечена в невыгодную для себя сделку, из которой она выходила с более кажущимся, чем реальным успехом.

Насколько подобное настроение было действительным, я мог убедиться из разговора с одним из молодых сотрудников канцлера, которому затем привелось сыграть довольно видную роль в германской дипломатии, сказавшим мне после обеда в канцлерском дворце, что октябрьское соглашение обогатило Германию огромным количеством квадратных миль тропических болот, взамен признания исключительных прав Франции над такой ценной страной, как Марокко. Эта нота неудоволь-

ствия звучала и в свободных органах германской печати, и, как говорил мне наш посол, во многих общественных кругах германской столицы.

Как канцлер, так и статс-секретарь по иностранным делам настойчиво справлялись у меня, не замечал ли я в Париже после окончания марокканских переговоров новой вспышки шовинизма и не видел ли я там обострения жажды отместки по отношению к Германии. Я ответил им, что если бы такие чувства существовали во Франции, на что у меня не было решительно никаких указаний, то они не проявились бы в разговорах со мной французских государственных людей, знающих, насколько у нас отрицательно относятся к подобным проявлениям. Помимо этого я мог, по совести, уверить канцлера в том, что соглашение с Германией, несмотря на дорогую цену, которую Франции пришлось заплатить за него, в общественном мнении страны не вызвало никакого обострения шовинизма, а тем более желаний отместки. Вместе с тем я счел долгом прибавить, что если в Берлине под шовинизмом подразумевают продолжение болезненно-чуткого отношения к отторжению от Франции Эльзаса и Лотарингии, то это чувство еще живо во всех слоях народа, и на исчезновение его в скором времени не было основания рассчитывать. Франция, сказал я, ничего не забыла, и требовать от нее забвения старой обиды было бы неразумно, но тем не менее я вполне уверен в том, что она никогда не сойдет с пути мирной политики, на который она стала и который один спас ее от политического одиночества в Европе и дал ей возможность найти в России союзницу, а в Англии надежного друга.

Не знаю, успокоили ли мои откровенные разъяснения подозрительность германского канцлера и его помощника, но во всяком случае они благодарили меня за них и обещали довести

их до сведения императора, находившегося, по обыкновению, вне Берлина.

Глава III

Некоторые политические свидания императора Николая II на русской территории в 1912 году. Оценка взаимоотношений между Россией и Австро-Германским союзом

В 1912 году у императора Николая II было несколько политических свиданий на русской территории. Первым из посетителей был император Вильгельм, прибывший в Балтийский порт на своей яхте «Гогенцоллерн». Туда вышли к нему навстречу на яхте «Штандарт» Государь с императрицей и детьми. Встреча носила морской характер, так как на берегу не происходило в честь гостя никаких торжеств, за исключением смотра Выборгского пехотного полка, шефом которого состоял Вильгельм II.

Вместе с императором германским прибыли канцлер Бетман-Гольвег и многочисленная военная свита. К ним присоединился приехавший из Петрограда германский посол, граф Пурталес. С русской стороны сопровождали Государя, кроме лиц его обычной свиты, председатель совета министров Ковцов и я.

Свидания между императорами происходили на обеих яхтах. Точно также переезжали со «Штандарта» на «Гогенцоллерн» и мы для разговоров на политические темы с германским канцлером, на которых присутствовал также и граф Пурталес.

Посещение императором Вильгельмом Балтийского порта состоялось в мае 1912 года в пору, когда в международной политике наступило затишье и Европа не переживала тревожного кризиса. Благодаря этому настроение как в Петрограде, так и в Берлине было спокойное. Это обстоятельство отразилось на характере наших политических разговоров, которые велись в миролюбивом и дружественном тоне и имели главным предметом обсуждение общеевропейского положения.

Как в подобных случаях принято, в печать было пущено совместное сообщение, отредактированное моей дипломатической канцелярией. В нем говорилось о том, что встреча государей в Балтийском порту вновь подтвердила традиционную дружбу и родственную близость отношений между обоими царствующими домами. Вместе с этим упоминалось также, что русское и германское правительства, сохраняя неприкосновенной свою политическую ориентацию и оставаясь верными союзам, на которых покоилась политика обеих империй, занимают вполне тождественное положение в отношении к вопросу о сохранении европейского мира и политического равновесия Европы. До этого времени упоминание охраны политического равновесия Европы не делалось никогда в такого рода официальных сообщениях. Целесообразность этого упоминания впервые была признана германскими государственными людьми в Балтийском порту, хотя они подписали предложенный им мной текст только после некоторого колебания. Довольствоваться одними избитыми фразами о традиционной дружбе после событий 1909 года было невозможно. Русское общественное мнение отнеслось бы недружелюбно к сообщению, составленному в выражениях, давно утративших свой прежний смысл и лишенных всякого реального значения. Как я ожидал, подписанное в Балтийском порту совместное сообщение было хорошо принято нашей печатью. Во Франции и в Англии оно произвело отличное впечатление, как мне заявили французский и английский послы по возвращении моем в Петроград.

Условия, в которых происходило свидание императоров в Балтийском порту, совершенно не походили на обстановку нашего потсдамского посещения. Здесь государи жили каждый на своей яхте и для свиданий и совместных завтраков и обедов переезжали с одной на другую, причем свидания эти происходили в суженных рамках судовых помещений, что придавало им более интимный характер. Тон разговоров между монарха-

ми и лицами, их сопровождавшими, отличался поэтому большей свободой и простотой. Особенную непринужденность и веселость проявлял император Вильгельм, и чаще всего за столом. Сидя наискось от него, я не пропустил за три дня его пребывания в Балтийском порту ни одного из его анекдотов и ни одной из его шуток, из которых, я должен признаться, не все были мне по вкусу. Государь был чрезвычайно предупредителен со своим гостем, но любезность его носила свойственный его замкнутой природе сдержанный характер и совершенно не походила на шумную веселость Вильгельма II. Императрица, как всегда в подобных случаях, не обнаруживала ничего, кроме утомления.

Когда после первого обеда на «Штандарте» хозяева и гости вышли на палубу, император Вильгельм отвел меня в сторону и вступил со мной в разговор, который продолжался полтора часа. Эту беседу, которая отчетливо запечатлелась в моей памяти, Вильгельм II начал с того, что рассказал мне подробно историю своей молодости и тех своеобразных семейных условий, в которых она протекла. Он не сообщил мне ничего такого, что было бы мне раньше неизвестно. Тем не менее все, что он говорил мне по этому поводу, не могло не вызвать во мне крайнего удивления, так как я не мог объяснить себе причин, побудивших его нарисовать мне в самых ярких красках подробную картину юношеских упований и огорчений, которыми ознаменовались годы, проведенные им под родительским кровом. С откровенностью, которая производила тягостное впечатление, он говорил мне, что отец его, император Фридрих III, никогда не любил его, предчувствуя, что если он и доживет до смерти Вильгельма I и вступит на германский престол, то ненадолго, и что вскоре ему придется уступить место молодому сыну, которому, по всей вероятности, предстояло продолжительное царствование. Фридрих III, будучи еще кронпринцем, был почти стариком и задолго до своей

кончины уже страдал недугом, который свел его в могилу через три месяца после вступления на престол. Мать Вильгельма II, дочь королевы Виктории Английской, женщина властолюбивая, по тем же причинам не любила своего сына, по каким не любил его ее муж. К этим основаниям у нее примешивались, по словам Вильгельма II, еще и другие. С раннего детства император заметил между матерью и собой непримиримое политическое разномыслие, переходившее иногда, когда он достиг более зрелого возраста, в острые разногласия. «С тех пор, что я себя помню, — говорил мне император, — я всегда чувствовал и мыслил себя добрым немцем. Мать моя, даже после тридцатилетнего пребывания в Германии, не переставала сознавать себя англичанкой. В ее глазах германские интересы всегда и во всем должны были подчиняться интересам ее родины, по отношению к которой она считала, что Германия призвана была играть служебную роль. Меня возмущало до глубины души такое пренебрежительное отношение к Германии, уже занимавшей по своему могуществу и культурному росту одно из первых мест среди великих держав Европы. Взаимное отчуждение между нами с каждым годом увеличивалось, и примирение наступило только незадолго перед ее кончиной».

Я привожу в довольно пространным виде этот удивительный рассказ не потому, что я считал бы его интересным по существу, а потому, что мне кажется, что он может служить для характеристики порывистой и неуравновешенной натуры императора Вильгельма, склонного переходить за границы той сдержанности и того чувства собственного достоинства, которых мы вправе ожидать от лиц, стоящих по своему рождению на вершине социальной пирамиды.

После этого продолжительного вступления, повергшего меня в некоторое недоумение, император приступил к тому,

что, по-видимому, должно было служить главной темой нашего разговора. Это, как оказалось, была русская политика на Дальнем Востоке.

Если первая часть нашей беседы велась в форме монолога императора, то более обширный предмет, к обсуждению которого он перешел затем, давал мне возможность вставлять свои замечания и возражения в его нервную и порывистую речь.

Император начал с того, что сказал, что мне, конечно, известно, как горячо он интересовался нашей дальневосточной политикой и как он всегда благожелательно относился ко всем нашим начинаниям в этой области. «Вы, конечно, помните, — прибавил он, — ту помощь, которую я оказал вам во время долгого и опасного плавания эскадры адмирала Рождественского, снабжая ваши суда углем в открытом море. Без этой помощи она никогда не дошла бы до японских вод. Ваши союзники, французы, не сделали для вас и десятой части того, что сделано было мной». На это я заметил, что французское правительство дало своим представителям на Мадагаскаре и в Индокитае приказание содействовать всеми средствами успешному плаванью наших судов в Индийском океане и что мы широко воспользовались предоставленной нам возможностью отстаиваться во французских портах в ожидании подхода отставших судов и для снабжения эскадры припасами. Этим разрешением Франция оказала нам неоценимую услугу, тем более что продолжительные стоянки русских судов во французских территориальных водах служили Японии поводом к упрекам в нарушении Францией обязанностей нейтралитета. Оставив это замечание без возражений, император Вильгельм перешел к оценке общего политического положения на Дальнем Востоке. Император начал с того, что напомнил мне, что он раньше всех других предугадал желтую опасность, грозив-

шую Европе, и старался, насколько это было в его власти, обратить на нее внимание европейских держав. «Как на мое предупреждение отозвались державы? — спросил император. — Они на него не откликнулись, считая меня сумасшедшим. А что сделала Англия? В 1902 году она заключила с Японией союз, который дал этой стране возможность объявить вам войну и выйти из нее победительницей. Этот тяжелый грех против расовой солидарности имел отрицательные последствия не для одной России, а для всех европейских народов, имеющих интересы в Азии. На Дальнем Востоке появилась новая великая держава, и центр тяжести в этой части света сразу передвинулся в сторону Японии. Впрочем, — прибавил Вильгельм II, — ответственная за это Англия не избегнет наказания. Успехи Японии в борьбе с великой европейской державой вскружили голову всем азиатским народам, и это прежде всего отзовется на положении самой Англии в Индии. С создавшимся на Дальнем Востоке, благодаря близорукости одних и эгоизму других, новым положением Европе приходится серьезно считаться. Желтая опасность не только не перестала существовать, но стала еще грознее прежнего и, конечно, прежде всего для России. Что вами делается для ее предотвращения? — спросил император и, не дожидаясь моего ответа, продолжал: Вам остается только одно — взять в руки создание военной силы Китая, чтобы сделать из него оплот против японского натиска. Это совсем не трудно ввиду бесконечного его богатства в людях и иных естественных ресурсах. Задачу эту может взять на себя только одна Россия, которая к тому предназначена, во-первых, потому, что она наиболее всех заинтересована в ее выполнении, а во-вторых, потому, что ее географическое положение ей прямо на нее указывает. Если же Россия не возьмет этого дела в свои руки и не доведет его до конца, то за реорганизацию Китая примется Япония, и тогда Россия утратит раз и навсегда свои дальневосточные владения,

а с ними вместе и доступ к Тихому океану». Если мне было возможно оставить без возражений некоторые из высказанных императором мнений, то я никак не мог согласиться с конечными его выводами и спросил его, помнит ли он, что Россия граничит с Китаем на протяжении приблизительно восьми тысяч верст и что одного этого обстоятельства достаточно, чтобы она не стремилась к созданию на своих границах, притом в областях слабозаселенных и лежащих далеко от центра ее военной организации, могущественной иноземной силы, которая могла бы легко обратиться против нее самой. Затем, с нашей точки зрения, могло бы быть приведено еще более важное соображение против высказанной императором мысли, а именно: что занимаясь созданием ненужной и даже опасной нам военной мощи Китая, мы неминуемо отвлекли бы свое внимание от имеющего для нас как для европейской державы громадное значение политического положения на западных наших границах. Императору должно быть хорошо известно, что Россия не имеет в виду никаких наступательных целей и что политика ее проникнута самым искренним миролюбием. Хотя задачи ее сводятся исключительно к охране ее границ, тем не менее политическое положение Европы далеко еще не достигло той степени устойчивости, при которой мы могли бы считать невероятной возможность столкновений между европейскими державами. В числе таких столкновений нетрудно представить себе и такие, которые неминуемо затронули бы самые жизненные наши интересы. Россия не может и не должна уходить из Европы, как бы ни были важны и обширны задачи ее просветительной миссии на Азиатском материке. Это необходимо не в одних только ее собственных интересах, но и в интересах самой Европы, в которой она является одним из

главных, и притом совершенно незаменимым, политическим и экономическим фактором².

К тому, что я сказал императору относительно первостепенной важности европейских интересов России, я прибавил еще, что образ действий, который он нам рекомендует по отношению к Китаю в целях предотвращения японской опасности, не только создал бы непосредственно на нашей границе новую опасность, но неизбежно привел бы нас вторично к вооруженному столкновению с Японией, которая усмотрела бы угрозу себе в создании военной силы Китая руками России. Такой рискованной политике, польза которой представляется мне недоказанной, я предпочитал путь соглашений с Японией, с которой нам нетрудно договориться по всем вопросам, в которых наши взаимные интересы соприкасаются. Этот путь нами уже изведен и дал вполне удовлетворительные результаты.

На этом разговор наш прекратился. Он продолжался, как я сказал, долго, и император вел его в очень горячем тоне. Разбираясь во впечатлениях, которые у меня остались от этой беседы, я пришел к заключению, что император Вильгельм и его правительство не могут примириться с оздоровлением русской политики, наступившим после окончания наших злополучных приключений на Дальнем Востоке, к которым в свое время так поощрительно относились в Берлине. Мы вышли из них сильно ошпаренными, но, к счастью, не были безвозвратно засосаны дальневосточной тиной. Если признать за словами императора какой-нибудь смысл, то очевидно, что они могли

2 Я не подозревал в 1912 году, что наступит когда-либо время, когда Россия перестанет играть эту роль. К несчастью, оно наступило. Что случилось с самой Россией, видно всякому, но в каком положении очутилась Европа, лишившись прочных устоев на своем Востоке!

иметь только значение попытки вернуть Россию на путь, который снова привел бы ее к необходимости вести на Дальнем Востоке продолжительную и тяжелую борьбу, не вызываемую никакими реальными ее интересами, и таким образом на долгое время лишил бы ее всякого значения в Европе. Если принять в соображение, что означенный разговор происходил всего за два года до начала мировой войны, то подобное его толкование приобретает тем большее основание. В 1912 году германская «Weltpolitik», начало которой было положено Бисмарком и которая получила при Бюлове свое теоретическое и практическое завершение, благодаря веденной в неслыханных размерах пангерманской пропаганде, проникла настолько глубоко в сознание каждого доброго немца, что обратилась в нечто похожее на национальный догмат. Задачи германской мировой политики не уживались с целями и стремлениями русской политики. Историческая миссия России — освобождение христианских народов Балканского полуострова из-под турецкого ига — была к началу XX века настолько выполнена, что окончательное ее завершение могло быть предоставлено усилиям самих освобожденных народов, которые вступили в течение прошлого столетия на путь самостоятельного политического существования и успели доказать свою государственную жизнеспособность.

Хотя эти молодые государства и не нуждались уже в русской опеке, они не были еще настолько сильны, чтобы обойтись без помощи России в случае покушения на их национальное существование со стороны воинствующего германизма. Этой опасности подвергалась в особенности Сербия, сделавшаяся предметом еле скрываемых, из приличия, вождедений австрийской дипломатии. Ей же подвергалась, до известной степени, и Болгария, лежавшая на пути германского проникновения на Восток, с той только разницей, что болгарские государственные деятели и болгарский народ относились к этой

опасности гораздо менее сознательно под влиянием гипноза, под которым держал их германский принц и офицер австрийской службы, посаженный соединенными усилиями берлинской и венской дипломатии на болгарский престол.

Если в истории русско-болгарских отношений и бывали моменты, когда ошибки нашей политики могли подать повод врагам России обвинять ее в попытках лишить болгарское правительство всякой независимости и установить над Болгарией что-то вроде протектората, то едва ли подобные обвинения были всегда искренни. Позволительно думать, что чаще всего ими преследовалась определенная цель сеяния ввиду собственной выгоды недоразумений и раздора между освободительницей и освобожденными. К несчастью, семена подозрения падали нередко на благоприятную почву и приносили обильные плоды. На самом деле — в этом не усомнится никто, кто сколько-нибудь знаком с целями русской политики, — Россия никогда не ставила себе подобных задач на Балканах. Единственно, чего она неизменно добивалась, это чтобы освобожденные ценой ее вековых усилий и жертв балканские народы не подпали под влияние враждебных ей государств и не обратились в послушное орудие их политических интриг. Конечной целью русской политики было достижение свободного доступа к Средиземному морю и, равным образом, — возможности обеспечить защиту своего Черноморского побережья от постоянной угрозы прорыва враждебных морских сил сквозь турецкие проливы. Если вообще можно говорить о политическом эгоизме России в связи с ее балканской политикой, то этот эгоизм сводится к стремлению достигнуть гарантий свободного развития своих экономических сил и обеспечения безопасности наиболее уязвимой части своей территории. Иными словами, Россия всегда добивалась и всегда будет добиваться, каков бы ни был ее государственный строй, того же, чего добивалась в течение двух столетий со свойственной ей непре-

клонной энергией Англия и чего она достигла еще в XIX веке, захватив в свои руки все важнейшие стратегические пункты Средиземного моря и Персидского залива, лежащие на пути к ее индийским владениям. Нечто похожее на это сделала и Германия, хотя в несравненно более скромных размерах, в Немецком море и в западной части Балтики. С подобным же явлением мы встречаемся в Атлантическом океане, где Северо-Американские Соединенные Штаты подчинили себе, в политическом и стратегическом отношении, Панамский канал, соединяющий два океана и не примыкающий ни к одной из частей Штатов, а находящийся на территории независимого государства.

Россия провозгласила и защищала принцип независимости балканских государств, как принцип по существу справедливый, ввиду неотъемлемого права балканских народов на независимое политическое существование. В наших глазах он имел, кроме своего нравственного значения, еще и практическое, потому что не только не противоречил ни одному из жизненных интересов русского государства, но и способствовал, косвенным образом, их охране. Балканский полуостров — для балканских народов — вот та формула, в которую вмещались стремления и цели русской политики и которая исключала возможность политического преобладания, а тем более господства на Балканах враждебной балканскому славянству и России иноземной власти.

Боснийско-Герцеговинский кризис обнаружил с неопровержимой ясностью цели австро-германской политики на Балканах и положил начало неизбежному столкновению между германизмом и славянством. Факт непримиримости их интересов признавался открыто многочисленными как военными, так и гражданскими писателями пангерманского лагеря, проповедовавшими необходимость для Германии деятельно

готовиться к предстоящей борьбе. Германская дипломатия воздерживалась от открытого признания своих захватнических планов на европейском востоке, но и у ее представителей иногда выскальзывали мнения, довольно близко подходящие к убеждениям лиц, не связанных, как она, профессиональной тайной.

Ко времени свидания императоров в Балтийском порту вышеизложенная оценка взаимных политических отношений между Австро-Германским союзом и Россией стала в руководящих кругах Германии общепризнанной истиной. Нет сомнения в том, что император Вильгельм, никогда не отличавшийся самостоятельностью своих политических суждений, разделял господствующее в его стране настроение. Делая попытку убедить меня перенести центр тяжести русской политики из Европы на Дальний Восток, он, может быть, думал, что этим советом дает нам доказательство своего дружеского расположения. Мы мешали ему в Европе, и поэтому лучшее, что мы могли сделать, по его мнению, было сойти с его пути и уйти подальше от тех мест, куда влекли Германию интересы ее новой мировой политики.

Вернувшись из Балтийского порта в Петроград, я воспользовался моим первым свиданием с японским послом, виконтом Мотоно, с которым я был в дружеских отношениях, и передал ему содержание удивительного разговора, которым почтил меня император Вильгельм. Как сказал мне впоследствии Мотоно, этот разговор был передан им в Токио по телеграфу. Вскоре за тем японский посол был вызван на родину, чтобы занять место министра иностранных дел. Я бы не удивился, если бы недружелюбные слова Вильгельма II в адрес Японии имели некоторое влияние на решения японского правительства при политической группировке держав в момент объявления Германией войны России и Франции в 1914 году.

* * *

В августе 1912 года в Петроград прибыл председатель французского совета министров и министр иностранных дел г-н Р. Пуанкаре. Это посещение не представляло ничего необыкновенного ввиду установившегося уже тогда обычая между руководителями иностранной политикой союзных государств время от времени съезжаться для устного обмена мыслей по текущим политическим вопросам.

Среди этих вопросов был в ту пору один, который требовал уже тогда особенно внимательного к себе отношения и мог получить должное рассмотрение только при личном свидании между нами.

Это был вопрос о создавшемся в течение зимы 1911–1912 годов Балканском союзе, заключенном если не по почину русского правительства, то с его ведома и согласия. Зародыш сближения балканских народов для защиты своих интересов относится к началу 1909 года, т.е. ко времени того же Боснийско-Герцеговинского кризиса, о котором я уже неоднократно упоминал и который оставил столько горечи в душе сербского народа. Почин переговоров по предмету этого сближения был сделан сербским министром иностранных дел Миловановичем, ездившим с этой целью в Софию. Хотя все внимание Фердинанда Кобургского и его правительства в это время было сосредоточено на вопросе о признании державами болгарской независимости и на Младотурецкой революции, разразившейся в Константинополе, сербское предложение не было отвергнуто в Софии, и Малинов, тогдашний глава болгарского правительства, просил Миловановича заняться дальнейшей разработкой проекта Сербско-Болгарского соглашения. Вскоре, однако, в обмене мыслей между Белградом и Софией произошла заминка, которую сербы объяснили, не без основания, нежеланием Фердинанда Кобургского навлечь на себя неудовольствие

австрийского правительства сближением с Сербией, к которой Эренталь продолжал относиться с прежней непримиримостью, несмотря на одержанный им незадолго перед тем дипломатический успех.

Всякая попытка сближения между собой балканских народов по соображениям, изложенным выше, должна была встретить сочувствие и поддержку русской дипломатии. Так, и в данном случае наши представители в Белграде и Софии получили инструкцию содействовать, в пределах должной осторожности, сербскому почину соглашения, польза которого казалась тем более очевидной, что в это время начала обозначаться возможность заключения военной конвенции между Турцией и Румынией, которая, если бы ей суждено было состояться, явилась бы серьезной угрозой по отношению к Болгарии.

После продолжительных затяжек и колебаний со стороны Фердинанда Кобургского 29 февраля 1912 года между Болгарией и Сербией было подписано соглашение «для оказания взаимной помощи и для охраны общих интересов на случай изменения status quo на Балканах или нападения третьей державы на одну из договаривающихся сторон». Об этом, наши послы в Париже и в Лондоне известили французское и английское правительства с просьбой хранить данное сообщение в строгой тайне. Самый текст Сербо-Болгарского соглашения был сообщен г-ну Пуанкаре полгода спустя при личном моем свидании с ним во время его пребывания в Петрограде, так как я опасался переслать его полностью в Париж до этого времени из боязни проникновения во французскую печать слуха об этом секретном соглашении и возможной в этом случае ее нескромности, чему было уже несколько примеров.

В оценке этого дипломатического акта между французским председателем совета министров и мной произошло

разногласие, которое было прямым и, может быть, неизбежным последствием различия точек зрения, с которых мы смотрели на самый факт заключения Балканского союза. Г-н Пуанкаре усматривал в нем прежде всего опасность балканской войны и потому обращал свое главное внимание на отрицательные его стороны, которых было немало и на которые и я не мог закрывать глаза. Но помимо этих отрицательных сторон мы видели в этом союзе еще многое другое, что побуждало нас относиться к нему сочувственно и признавать за ним очень большое политическое значение.

Я уже имел случай сделать выше общую характеристику нашей балканской политики. Ее главной целью было, как сказано, обеспечение свободного развития призванных Россией к самостоятельному политическому существованию балканских народов. На пути к достижению этой цели было, однако, много препятствий. Прежде всего ему мешали согласованные усилия германской и австро-венгерской политики, из которых каждая преследовала в борьбе со славянским элементом на Балканах свои собственные цели, причем их связывала общность противника, которого так или иначе надо было сломить и устранить. Помимо этих внешних помех торжество идеи господства балканских народов на Балканском полуострове тормозилось также в значительной степени их взаимными между собой раздорами на почве соревнования в Македонии, еще не дождавшейся своего освобождения от турецкого ига. Поэтому в глазах русской политики первая серьезная попытка полюбовного размежевания взаимных интересов сербов и болгар в этой спорной области, которая, очевидно, не могла ввиду роста национального самосознания македонского населения не разделить в более или менее близком будущем участь прочих владений Турции на Балканах, имела особое значение, ускользавшее от наших западных союзников и друзей. Ожидать от русской дипломатии отрицательного или только без-

различного отношения к подобной попытке было неразумно. Не сделать ничего для облегчения достижения Сербией и Болгарией их целей значило для России не только отказаться от завершения своей исторической миссии, но и сдать без сопротивления врагам славянских народов занятые вековыми усилиями политические позиции.

Каждый раз, что австро-германская политика ударяла по славянам, она метила в Россию, стоящую на страже как славянских, так и своих собственных жизненных интересов на Балканах. В Вене и Берлине отлично понимали, что без России никакого балканского вопроса в XX веке не было бы и что Сербия и Болгария уже давно перестали бы существовать как независимые государства.

Это убеждение послужило отправной точкой той политики, которая привела в 1914 году к мировой войне, а вслед за ней — к безвозвратной гибели монархии Габсбургов и к крушению, хотя и временному, государственной мощи России и Германии.

Как бы то ни было, сочувственное отношение русского правительства к Балканскому союзу вызвало, как я сказал выше, некоторую тревогу в правительственных кругах Франции. Г-ну Пуанкаре казалось, что этот союз в той форме, в которую он вылился, неизбежно приведет к войне на Балканах со всеми возможными ее дальнейшими последствиями. Мы также, со своей стороны, верили в ее возможность, хотя и менее усматривали опасность войны в заключении Сербией и Болгарией союза, даже и наступательного характера, чем в том обстоятельстве, что с осени 1911 года Турция находилась в войне с Италией из-за обладания Триполи и Киренаикой. Мы были убеждены, что балканские государства не пропустят случая воспользоваться затруднениями, созданными для Турции фактом ее войны с европейской великой державой, и

предвидели, что удержать их от сведения счетов с Турцией в такую для себя благоприятную минуту будет чрезвычайно трудно. Нам было известно через приехавшего в 1911 году в Россию г-на Данева о настроениях, господствовавших в Болгарии и подтверждавших нас в мысли о неизбежности в ближайшем будущем новых осложнений на Балканах. Нам поэтому оставалось только постараться смягчить остроту положения тем, что мы приняли деятельное участие в сближении между собой балканских государств. Мы надеялись, что их сплоченным усилиям будет легче нести риск, связанный с борьбой, которую им предстояло неизбежно вести против младотурецкой Турции ради вскрытия македонского нарыва, а может быть, и против Австро-Венгрии — в случае, всегда возможном, дальнейших попыток ее продвижения на Балканах. Наше участие в заключении Сербо-Болгарского союза давало нам право контроля над действиями союзников, а также, наложения запрета на решительные шаги союзников, не отвечающие видам русской политики. Несомненно, что подобные гарантии были крайне недостаточны, как доказала это осень 1912 года, но заручиться другими, более действенными, оказывалось совершенно невозможным, но точно так же невозможно было для нас стать спиной к балканским славянам в критическую минуту их существования и отречься от обязанностей, налагаемых на нас нашим политическим первородством и всем славным прошлым России как величайшей славянской державы.

Вопрос об участии России в заключении Сербо-Болгарского союза (в расширении его путем привлечения к нему Греции и Черногории русское правительство не принимало непосредственного участия) был единственный повод к некоторому разномыслию между нашим французским гостем и мной. По всем остальным вопросам нам удалось без труда прийти к удовлетворительным заключениям, хотя в числе этих

вопросов был один довольно деликатного свойства. Он касался личности французского посла в Петрограде, г-на Жоржа Луи. Этот дипломат совершенно не отвечал требованиям занимаемого им поста, с условиями и особенностями которого ему никак не удавалось освоиться. Благодаря этому пребывание его в России служило помехой той дружной и доверчивой дипломатической работе, которую, в собственных интересах, необходимо вести правительствам союзных государств, особенно в том случае, когда они имеют дело с противниками, которые достигли полной согласованности в области внешней политики. К счастью, г-н Жорж Луи был в скором времени отозван и заменен самым выдающимся из государственных людей Франции того времени Теофилом Делькассе, потерю которого оплакивают в настоящее время его соотечественники, не сумевшие оценить его по заслугам при жизни. Делькассе удалось без труда, в весьма короткий срок, занять в Петрограде подобающее ему место и приобрести горячую симпатию и полное доверие русских правительственных кругов.

Незадолго перед посещением г-ном Пуанкаре Петрограда между Россией и Францией была подписана морская конвенция. Этот акт не вносил ничего нового в наши союзные отношения и являлся только дополнением и расширением русско-французского союза, как логически необходимое его развитие.

В лице г-на Пуанкаре мы видели с полным основанием убежденного сторонника союза между Россией и Францией. В нем, как и мы сами, он усматривал единственную надежную гарантию европейского мира. Прямота характера и непреклонная твердость воли г-на Пуанкаре делали его в наших глазах особенно ценным союзником, миролюбие которого было так же несомненно, как и его горячий патриотизм. Император Николай, часто ценивший в людях те качества, которыми он сам не обладал, был более всего поражен во французском

первом министре определенностью и твердостью воли, которые являются основными чертами его характера и тем более замечательны, что встречаются довольно редко в такой степени у французов, по природе своей впечатлительных и изменчивых.

Провожая г-на Пуанкаре, я расставался с ним ненадолго, потому что в середине сентября собирался поехать по приглашению короля Георга Английского в Шотландию и на обратном пути намеревался остановиться на несколько дней в Париже. Положение на Ближнем Востоке было настолько неустойчиво, что личный обмен мнениями с руководителями внешней политики нашей союзницы Франции и дружественной нам Великобритании был в моих глазах очень желателен, так как он облегчал нашу совместную работу в целях предотвращения в эту минуту более возможных, чем когда-либо, европейских осложнений.

В конце сентября я прибыл в Лондон, откуда, через день или два, выехал вместе с нашим послом в Англии графом Бенкендорфом в Шотландию, где в это время находились король Георг и его семья. Я провел в замке Бальмораль шесть дней в качестве гостя короля и сохраняю самое приятное воспоминание о любезном гостеприимстве, которое при этом случае оказала мне королевская семья и которым я обязан близким отношениям, существовавшим издавна между покойным Государем и его английскими родственниками.

На другой день по моем приезде в Бальмораль прибыл приглашенный королем для свидания со мной английский министр иностранных дел сэр Эдуард Грей, а вслед за ним глава бывшей в то время в оппозиции консервативной партии г-н Бонар-Ло, нынешний первый министр Великобритании. По мудрому обычаю, установленному в Англии вековой парламентской практикой, внешняя политика исключается из обла-

сти политических вопросов, в которых правительство и оппозиция занимают непримиримое друг к другу положение. Благодаря этому иностранная политика Великобритании приобрела в течение последних двух столетий ту последовательность и устойчивость, которой так редко удается достигнуть другим, более молодым парламентским правительствам.

Наше утро было посвящено деловым переговорам, касавшимся очередных политических вопросов. Таковых было немало в тревожную осень 1912 года, и многие из них требовали принятия быстрых и решительных мер со стороны тех обеих групп государств, на которые разбились европейские великие державы. Нетерпеливые порывы балканских государств, торопившихся осуществить на деле незадолго перед тем заключенный между ними союз и воспользоваться внутренними и внешними затруднениями Турции, чтобы свести с ней свои старые счеты, могли быть введены в должное русло только совместными усилиями Тройственного согласия и Тройственного союза, в ту пору еще одинаково заинтересованных в предотвращении всяких осложнений, могущих легко выйти из рамок балканской войны и превратиться в войну европейскую. Австро-Венгрия и Германия считали, что час этой войны еще не пробил. Ни та, ни другая не были в достаточной мере подготовлены в военном и финансовом отношениях, и поэтому не считали минуту благоприятной для сведения окончательных счетов с соседями. Благодаря этому обстоятельству миролюбивые усилия Тройственного согласия не встретили препятствий ни в Берлине, ни в Вене, и разразившаяся 8 октября война началась в условиях, которые позволяли державам надеяться на возможность ее локализации.

Во время моего пребывания в Бальморале французское правительство сделало предложение, на основании которого великие державы поручали России и Австро-Венгрии, как

держavam, наиболее заинтересованным в балканских делах, выступить совместно в балканских столицах с серьезными представлениями в целях предотвращения военного столкновения. Это предложение могло быть принято мною без колебаний, так как и в этот раз, как и в предыдущие, главная опасность положения находилась гораздо более в Вене, чем на Балканах. Только непосредственное вмешательство австро-венгерского правительства в балканскую войну могло сделать безнадежными усилия держав Тройственного согласия локализовать ее и превратить эту войну в общеевропейскую. Этого вмешательства было необходимо избежать прежде всего и во что бы то ни стало. Еще из Бальморала я поручил нашему послу в Париже подробно изложить г-ну Пуанкаре наш взгляд на этот вопрос, и результатом сообщения Извольского и явилось вышеозначенное предложение французского правительства.

На обратном пути из Шотландии я навестил в Лондоне австро-венгерского посла, графа Менсдорфа, чтобы сообщить ему о том значении, которое мы придавали сотрудничеству с его правительством в эту критическую минуту. При этом я обратил его внимание на то обстоятельство, что воздержание России от вмешательства в балканскую смуту обуславливалось в глазах русского правительства подобным же воздержанием со стороны Австро-Венгрии.

Предложение г-на Пуанкаре представляло для нас еще и ту выгоду, что давало нам возможность без того, чтобы почин исходил от нас, находиться в постоянном общении с Веной по всем текущим балканским делам, причем благодаря такой постановке вопроса на свободу действий венского кабинета налагалась некоторая узда.

Кроме обсуждения злободневного балканского вопроса, к которому в Англии были склонны относиться, как мне показав-

лось, с преувеличенной осторожностью, чтобы избежать всего, что могло быть истолковано как поползновение произвести нажим на Турцию, во время моего пребывания в Бальморале был поставлен на очередь вопрос довольно сложных взаимоотношений России и Англии в персидских делах. Несмотря на самое искреннее желание русского правительства идти рука об руку с англичанами, между нами накапливалось немало всякого рода недоразумений, и нам не всегда удавалось вполне согласовать наши взгляды, особенно в области внутреннего управления Персии, находившейся в состоянии близком к анархии, что крайне вредно отзывалось на русских интересах. Общественное мнение в Англии, а за ним и правительства, видели спасение Персии в представительном образе правления и применяли к ней мерило, мало подходящее к степени культурного развития этого азиатского государства, этнографически разношерстного и не пережившего еще в отношении едва ли не половины своего населения кочевого быта.

Как я имел случай заметить выше, русское правительство весьма дорожило достигнутым не без усилия соглашением 1907 года и готово было идти на известные жертвы для того, чтобы сохранить его в неприкосновенности, признавая за ним политическое значение, заходившее далеко за пределы той страны, которая служила предметом этого соглашения. Поэтому усиленные попытки парламентаризации Персии со стороны Англии не встретили у нас отрицательного отношения, хотя мы и не верили в чудотворное действие подобных попыток. Иногда нам казалось, что с таким же скептицизмом к ним относятся и некоторые из тех британских агентов, которые были призваны на местах следить за неукоснительным проведением в жизнь плана перекройки персидского политического строя по английскому образцу и между которыми было немало превосходных знатоков азиатских обычаев и нравов вообще и персидских в частности. Труднее всего было привести в уни-

сон действия наших консульских представителей как с их британскими товарищами, так и с новым курсом нашей политики в Персии. Тот скептицизм, от которого мы не могли отделаться в Петрограде, давал себя чувствовать на местах еще гораздо острее. Здесь приходится искать источник тех многочисленных недоразумений, которые возникали между нами и англичанами и которыми тегеранские правители пользовались в своих целях с мастерством, свойственным в этом отношении многим восточным народам. Тем не менее наши недоразумения на почве персидской политики никогда не принимали характера разногласий, могущих иметь нежелательные последствия с точки зрения общих политических отношений между нами и Англией. С одной стороны, порукой этому служила сознаваемая русским правительством и значительной частью нашего общественного мнения необходимость поддерживать в полной силе существование Тройственного согласия как единственно возможного противовеса опасным для европейского мира стремлениям Австро-Германского союза, а с другой — то доверие и уважение, с которым относились у нас многие инстинктивно, а я, благодаря личному с ним знакомству к высоким нравственным качествам сэра Эдуарда Грея, тогдашнего руководителя британской внешней политики. Я намеренно упомянул только что об одном Австро-Германском союзе, так как Тройственный союз, хотя он и возобновлялся более или менее автоматически по истечении своих сроков, не увеличивал, как нам было хорошо известно, наступательной силы Двойственного союза ввиду того, что пребывание в нем Италии имело преимущественно значение страховки ее от риска войны с Австро-Венгрией, неизбежной при иных условиях. Парадоксальное взаимоотношение этих двух, по существу непримиримых союзниц являлось наиболее слабым местом бисмарковской системы союзов и тем косвенно отвечало интересам Тройственного согласия.

Для окончательного выяснения некоторых требующих улаживания среднеазиатских вопросов я остановился на пути из Шотландии в Лондоне для свидания с лордом Кру, который занимал тогда пост статс-секретаря по делам Индии. Это свидание укрепило во мне убеждение, что наше искреннее желание не дать персидским делам обратиться в яблоко раздора между Россией и Англией разделялось правительством Великобритании и что поэтому ничто не угрожало нашему дальнейшему мирному сожительству как в Азии, так и в Европе.

Будучи в Бальморале, я коснулся в моих разговорах с королем и сэром Эдуардом Греем одного вопроса, который с 1909 года, т. е. с того момента, когда вероятность войны с Германией из туманной дали стала приближаться к области политических возможностей, начал привлекать к себе внимание нашего морского министра. Глава ведомства, адмирал Григорович, в это время деятельно занимался приведением в порядок обороны Рижского и Финского заливов, находившихся уже много лет в неудовлетворительном состоянии. С этой целью морским генеральным штабом под руководством министра и при деятельном участии адмирала Колчака, бывшего тогда еще только в штаб-офицерских чинах, был выработан подробный план морской обороны наших балтийских портов и Петрограда. Этот план, прекрасно задуманный и талантливо приведенный в исполнение в первые два года всемирной войны, дал блестящие доказательства своей продуманности и целесообразности. Как известно, все попытки Германии прорваться в Рижский и Финский заливы закончились полной неудачей, несмотря на громадное превосходство ее морских сил над нашими, и Рига, а затем и все Балтийское побережье были заняты немцами с суши только тогда, когда сопротивление наших армий начало ослабевать под влиянием растущего недостатка в вооружении.

Государь живо интересовался ходом работ по морской обороне столицы и перед моим отъездом за границу поручил мне постараться выяснить в Англии, насколько там считали возможным оказать нам в случае, если бы дело дошло до совместной защиты наших интересов от германских посягательств, некоторую помощь со стороны британского флота.

На поставленный мной в этом смысле вопрос король и английский министр иностранных дел сказали мне, что не могут дать мне никакого определенного ответа, а тем более взять на себя какие-либо обязательства в этом отношении. Тем не менее из дальнейшего обмена мыслей выяснилось, что если бы политические обстоятельства сложились таким образом, что Великобритания и Россия оказались бы вовлеченными в войну с Германией, английское правительство не отказалось бы оказать нам свое содействие на море в пределах практической возможности. Это содействие, по всей вероятности, должно было бы ограничиться главным образом отвлечением на себя германских морских сил в Немецком море, так как британскому флоту едва ли удалось бы проникнуть в Балтийское море для совместных с нами морских операций.

Этот ответ в ту пору меня удовлетворил, а иного у нас и не ожидали. Несмотря на темную тучу, нависшую над Балканами осенью 1912 года, никто не мог предвидеть, что те общие меры предосторожности, которые обсуждались между правительствами Тройственного согласия для обеспечения европейского мира, приобретут менее чем через два года характер крайней спешности и роковой настоятельности. Поэтому в ту минуту дальнейшее углубление подобного рода вопросов было бесполезно и неуместно, так как шло против своей цели.

По пути в Париж я виделся в Лондоне с посетившим меня турецким послом Тевфик-пашой. В течение нашего свидания я неоднократно обращал его внимание на желательность воз-

можно быстрого заключения мира между Портой и Италией, потому что мне казалось вероятным, что таким путем станет возможно если не предотвратить надвигающуюся неудержимо балканскую войну, то, по крайней мере отсрочить ее наступление. Я мог тогда убедиться в том, что в заграничных правительственных кругах начинали приходиться к более справедливой оценке усилий русской дипломатии достигнуть согласного действия кабинетов великих держав для прекращения Триполитанской войны ранее, чем успеет вспыхнуть вызванный ею пожар на Балканском полуострове. С разных сторон до меня доходили по этому поводу выражения запоздалых сожалений, но время было уже упущено, и оставалось только думать о принятии наиболее действенных мер для тушения разгоравшегося пламени.

Еще гораздо ранее моей поездки в Англию политика британского кабинета в отношении к мусульманскому миру руководствовалась желанием снискать его расположение для того, чтобы найти себе опору в магометанской части населения Индии против растущей революционной деятельности местных индусских элементов. Этой заботой объясняется равнодушное, которое мы замечали в Англии к судьбе турецких христиан и которое находилось в противоречии с преданиями политики английских либеральных кабинетов. Отсюда же происходили и колебания британской политики в Персии и Средней Азии. Помимо этой основной причины у англичан, вероятно, была еще и другая, побочная, — не ослаблять положение турецкого правительства, во главе которого тогда находился преданный Англии Киамиль-паша, и помешать замещению его младотурецким кабинетом Ферид-паши, симпатии которого клонились определенно в сторону Германии. Означенными соображениями объясняется то обстоятельство, что Англия, несмотря на свое искреннее желание содействовать умиротворению Балканского полуострова, неоднократно скорее мешала

достижению этой цели, отказываясь присоединиться к тому или иному дипломатическому шагу, имевшему в виду эту цель, из боязни произвести в Константинополе нежелательное впечатление. Мне стало очевидно, что мы не могли рассчитывать на деятельную помощь Англии в случае, если бы обострение балканских событий потребовало со стороны держав энергичного давления на Турцию.

Моя трехдневная остановка в Париже прошла, главным образом, в совместных усилиях с г-ном Пуанкаре задержать ход балканских событий, развивавшихся со стремительной быстротой. Для этого были испробованы все средства, которыми располагает дипломатия, начиная от убеждений и кончая угрозой непризнания того нового территориального положения, которое явилось бы результатом удачного для балканских союзников исхода войны. Все наши усилия остались тщетными. Союзники сознавали, что чрезвычайно благоприятно сложившиеся для них обстоятельства могли повториться нескоро, и решили воспользоваться своей политической и военной подготовленностью, чтобы силой оружия покончить с турецким владычеством на Балканах, служившим помехой естественному росту их молодых национальных организмов и давно ставшим уродливым анахронизмом.

Единственная возможность предотвратить войну заключалась в применении средства, предложенного мной нашим друзьям еще во время Триполитанской войны, т. е. в единодушном и энергичном давлении на турецкое правительство с целью заставить его стать, без потери времени, на путь коренных реформ в Македонских вилайетах, но это средство было именно то, на которое было труднее всего получить согласие великих держав, из которых каждая преследовала в Константинополе свои собственные цели. Ни одна из них не желала в 1912 году балканской войны со всеми ее возможными грозны-

ми последствиями (менее других ее опасались Германия и Австро-Венгрия по соображениям, о которых я упомяну ниже) но подвергнуть, хотя бы временно, некоторому риску свои интересы в Турции для предотвращения этой войны не решалась ни одна из них, за исключением России и, может быть, Франции, причем последняя решилась бы на это только при условии поддержки со стороны Англии, которой, как мы видели, нельзя было ожидать.

Отношение французского правительства к балканскому кризису было с самого начала вполне определено. Как было сказано выше, г-н Пуанкаре видел в нем единственно возможность европейских осложнений, которых он, чтобы ни говорили впоследствии о его воинственном настроении его германские противники, опасался более всего и старался избежать всеми силами. Судьба балканских народов сама по себе мало интересовала французское правительство. Поэтому оно отнеслось недоброжелательно к возникновению Балканского союза, в чем мы, хотя и стояли на иной точке зрения, не считали себя вправе упрекать наших союзников.

За время моего управления министерством иностранных дел мне пришлось быть три раза во Франции. Возвращаясь в Россию, я принял за правило останавливаться проездом на один день в Берлине для свидания с руководителями германской внешней политики. Я считал эти остановки полезными, потому что, невзирая на их кратковременность, они давали мне возможность удостовериться в политическом настроении германского правительства в данную минуту. Помимо интереса, который представляла подобная поверка, мои свидания с канцлером и статс-секретарем по иностранным делам имели еще некоторое значение в том отношении, что обыкновенно вносили известное успокоение в берлинские правительственные круги, где ко всяким проявлениям союзнических отноше-

ний между нами и Францией относились всегда с крайней подозрительностью, хотя со своей стороны точно изыскивали способы при всяком удобном случае подчеркнуть свою политическую солидарность с монархией Габсбургов.

Я знал, что германское правительство, несмотря на свою весьма реальную силу, страдало еще со времен князя Бисмарка манией преследования и постоянно воображало себя предметом враждебных поползновений со стороны своих западных и восточных соседей. Поэтому я считал своим долгом посредством совершенно искреннего обмена мыслями по текущим политическим вопросам действовать, насколько это от меня зависело, успокоительно на это болезненное расположение духа.

На этот раз германская подозрительность могла найти себе обильную пищу в моем двухнедельном пребывании в Англии и в последовавшем за ним посещении Парижа. Поэтому остановка в Берлине представлялась мне особенно целесообразной, уже не говоря о том, что мне было важно самому убедиться, насколько в Берлине были склонны воздействовать умеряющим образом на венское правительство в минуту, когда европейский мир зависел от того или иного образа действия австро-венгерской дипломатии, на благоразумие которой в балканских вопросах было опасно возлагать преувеличенные надежды.

К счастью, как мне без труда удалось установить в этот мой приезд в Берлин, там господствовало не желание доказать лишний раз перед лицом Европы несокрушимую твердость Австро-Германского союза, как это было в марте 1909 года, а наоборот, некоторое беспокойство, вызываемое возможностью благодаря этим союзным обязательствам быть вовлеченным в нежелательные международные осложнения в минуту, не избранную для этого самой Германией. Я мог с удовольствием

отметить, что в Берлине настроение очень походило на то, которое я нашел в правительственных кругах Парижа. Как во Франции, так и в Германии были готовы сделать все возможное, чтобы предотвратить балканскую войну или, если бы это оказалось недостижимым, по крайней мере не дать захватить ей полЕвропы. Исходя из этой отправной точки, германская дипломатия искренне приветствовала почин г-на Пуанкаре дать России и Австро-Венгрии поручение быть выразительницами в балканских столицах миролюбивой воли европейских великих держав. При этом мне было неоднократно повторено в Берлине, что Германия заявляет наперед свою готовность присоединиться ко всем шагам, относительно которых Россия и Австрия придут между собой к соглашению.

Обнаруженные мной в Берлине настроения не остались, вероятно, без влияния, как мне стало известно впоследствии, существовавшей в это время в Вене если не полной уверенности, то, во всяком случае, сильной надежды на то, что столкновение балканских союзников с Турцией кончится их полным поражением, и, таким образом, опасность усиления Сербии на Балканах будет, без всяких для того усилий венского кабинета, предотвращена на долгое время.

Эта не оправдавшаяся надежда способствовала сохранению как в Вене, так и по отражению в Берлине того нравственного равновесия, которое сделало возможным совместные усилия всех великих держав спасти человечество осенью 1912 года от ужасов европейской войны.

* * *

Я начал эту главу упоминанием о политических свиданиях императора Николая II в течение лета 1912 года.

Третьим из них было посещение Государя и императрицы шведской королевской четой в финляндских шхерах, где по

давно заведенному обычаю царская семья проводила часть лета.

Приезд шведских гостей хотя и не был лишен некоторого политического значения, так как короля сопровождал в его путешествии министр иностранных дел граф Эренсверд, не имел тем не менее характера политического события, который неизбежно носили свидания Государя с императором германским, несмотря на их периодичность и на то обстоятельство, что они тщательно прикрывались флагом близких семейных отношений.

Между Россией и Швецией до 1914 года существовали, как казалось, прочно установившиеся добрососедские отношения, не нарушавшиеся политическими недоразумениями или пограничными спорами. Россия относилась с искренней благожелательностью к своему северному соседу и поддерживала с ним оживленные торговые сношения. Тем не менее за последние годы до великой европейской войны стали обнаруживаться некоторые симптомы, указывавшие на появление в шведском общественном мнении известной тревоги, вызываемой постоянно появлявшимися в местной печати слухами о каких-то неприязненных намерениях России по отношению к Швеции. Происхождение этих слухов должно быть отнесено к попытке моего предшественника А.П.Извольского снять лежавший на Аландских островах со времен Парижского мира 1856 года сервитут, на основании которого Россия не могла воздвигать на этом архипелаге военных сооружений. Следует тем более пожалеть о том, что этот вопрос был поднят, что он не имел для нас практического значения. В мирное время постоянные военные сооружения были излишни, а в политическом отношении они были даже нежелательны, потому что являлись бы в глазах шведов угрозой их столице вследствие близости к ней архипелага. В случае военной опасности, как

это было доказано опытом войны 1914 года, Аландские острова могли быть весьма быстро, путем минных заграждений, приведены в должное состояние обороны и таким образом преградить неприятельским силам доступ в Ботнический залив. При моем вступлении в должность министра иностранных дел я решил тотчас же прекратить всякие переговоры об Аландских островах, чтобы не создавать между нами и Швецией нежелательных недоразумений, тем более что мне было известно, что берлинские правящие сферы поддерживали тревожное настроение, создавшееся в Стокгольме в связи с поднятием долго и спокойно дремавшего вопроса об Аландском архипелаге. Основания к такому беспокойству, как сказано, на самом деле не могло быть ни малейшего. Поэтому нам важно было не давать означенному настроению укрепляться в соседней стране, с которой мы желали жить в мире и согласии.

Прибытие в русские воды короля и королевы Швеции, встреченных чрезвычайно радушно Государем и императрицей, дало мне желанную возможность сделать все от меня зависевшее, чтобы рассеять в наших шведских гостях всякие подозрения в существовании у нас каких-либо недружелюбных замыслов против Швеции.

Как можно было предвидеть, граф Эренсверд сделал аландский вопрос главным предметом наших разговоров.

В это время у дел находился либеральный кабинет г-на Валенберга, который не обнаруживал склонности поддаваться в своей внешней политике внушениям Германии, а скорее симпатизировал нашим французским союзникам и английским друзьям. Такого же направления придерживался, само собою разумеется, и шведский министр иностранных дел, о деловых беседах с которым на Питкопасском рейде у меня сохранилось приятное воспоминание. Не принимая на себя никаких новых обязательств по отношению друг к другу, мы тем не менее без

труда могли установить, что ни Россия, ни Швеция не преследовали политических целей, направленных против безопасности другой стороны, и не имели в виду входить в какие-либо соглашения, преследующие подобные цели.

Что касается в частности аландского вопроса, то я с полной искренностью мог дать шведскому министру иностранных дел от имени русского правительства положительные уверения, что Россия отнюдь не имеет намерения предпринять какие-либо меры для превращения Аландского архипелага в наступательную базу против Швеции. Вся предшествовавшая дружественная политика России по отношению к Швеции, начиная с Фридрихсгамского мира, т. е. более чем сто лет, придавала весьма реальную ценность миролюбивым уверениям русского правительства, и мне оставалось только надеяться, что наши шведские гости отнесутся к ним с должным доверием.

Глава IV

Балканские дела и обострение австро-сербских отношений. Первая балканская война. Усилия русского правительства к сохранению мира на Балканах. Политическое положение, создавшееся в результате побед союзников. Совещание послов в Лондоне. Позиция Австро-Венгрии. Усилия русской дипломатии в пользу Сербии. Албанский вопрос. Вторая балканская война. Заседание третейской конференции в Петрограде. Обострение отношений между балканскими союзниками. Разгром Болгарии. Мирные предложения петроградского кабинета. Адрианопольский вопрос. Бухарестский договор.

Военные действия между Балканским союзом и Турцией открылись объявлением войны Черногорией Порте 8 октября 1912 года. Это событие совершилось в день моего приезда в Берлин на обратном пути из Лондона и Парижа в Петроград, куда я прибыл 10-го. Хотя остальные члены союза еще не объявляли Турции войны, в Болгарии, Сербии и Греции мобилизация производилась с лихорадочной поспешностью, и все предвещало скорое наступление первых вооруженных столкновений в Македонии.

Перед моим отъездом из Парижа между г-ном Пуанкаре и мной были уставлены следующие три основные пункта для совместных заявлений, действовавших по полномочию всех великих держав, русского и австро-венгерского представителей в Белграде, Софии, Афинах и Цетинье: 1) державы порицают всякий шаг, могущий привести к нарушению мира; 2) на основании статьи 23-й Берлинского договора державы, в интересах христианского населения, возьмут в свои руки проведение административных реформ в Европейской Турции, сохраняя неприкосновенными права султана, а равно и терри-

торию Османской империи; 3) если бы, тем не менее, между балканскими государствами и Портой возникла война, то державы не допустят по окончании ее никакого изменения территориального статуса-кво Европейской Турции.

В этих трех пунктах, принятых великими державами без возражений, воплотилась наша попытка предотвратить в последнюю минуту надвигавшуюся опасность балканской войны со всеми ее непредусмотренными последствиями. Я мало верил в успех наших миролюбивых усилий. Достижение полного объединения в военном отношении, балканские союзники горели желанием помериться силами с исконным врагом и свести с ним окончательные счета за вековое и безжалостное угнетение. Остановить их порыв обещанием новой коллективной попытки держав принудить Турцию провести наконец в жизнь много раз обещанные и никогда не выполненные реформы, особенно после того, как сами державы неоднократно то открыто, то под рукой из своекорыстных видов препятствовали их осуществлению, было чрезвычайно трудно. Жребий был брошен, и друзьям балканских народов оставалось только позаботиться о том, чтобы в случае неблагоприятного исхода для балканцев войны смелая их попытка не повлекла для них за собой чересчур тяжелых последствий и не отразилась бы на судьбе македонских христиан, ухудшив еще и без того еле выносимое их положение. В этом смысле третий из принятых державами пунктов имел в моих глазах главным образом то значение, что давая удовлетворение Турции как субъекту наступательной политики союзников, он вместе с тем служил ручательством, что балканские государства в весьма возможном случае военного поражения не подвергались бы риску уменьшения своих и без того незначительных территорий.

В порядке дальнейшего страхования наших балканских друзей от опасностей и рисков, сопряженных с их нападением

на Турцию, я поручил вслед за возвращением моим в Россию нашему послу в Париже сговориться с французским правительством относительно совместного вмешательства великих держав в балканскую войну тотчас после первого решительного сражения ради скорейшего прекращения военных действий. Этой мерой я надеялся, как сказано, спасти от разгрома силы союзников и положить конец состоянию тяжелой и опасной напряженности, в которой находилась Россия, а также и Европа с минуты, когда стало ясно, что все усилия держав отсрочить неизбежное столкновение между балканцами и Портою потерпели окончательную неудачу. Извольскому было вместе с тем поручено сообщить г-ну Пуанкаре, что императорское правительство придает своему предложению тем большее значение, что несмотря на свое твердое намерение не дать себя вовлечь в войну, ему было бы чрезвычайно трудно не считаться с требованиями русского общественного мнения, если бы балканские государства оказались в критическом положении. Франция и Англия несомненно были заинтересованы в том, чтобы Россия не оказалась вынужденной принять участие в борьбе, чего тем легче было бы достигнуть, чем скорее война была бы приостановлена. Если бы удалось прекратить ее ранее, чем средства того или иного из противников оказались бы окончательно истощенными, то, вероятно, не представилось бы трудностей найти способ разрешения спора путем компромисса, приемлемого для обеих сторон.

Мое предложение было в принципе принято всеми державами, причем разногласия сводились только к вопросу о моменте вмешательства в вооруженное столкновение. Франция предлагала для этой цели немедленное созвание международной конференции, другие державы, в том числе и Россия, стояли за вмешательство лишь после первого серьезного сражения. Между тем военные действия начались и стали развиваться с необычайной быстротой. К концу октября турки

были разбиты наголову в нескольких сражениях союзными войсками, которые менее чем в месячный срок завоевали всю Македонию и успели глубоко проникнуть во Фракию, упершись в Чатаджинские укрепленные линии, представлявшие последний оплот Константинополя против наступавшего с материка противника.

Головокружительные успехи балканских союзников произвели ошеломляющее впечатление во всей Европе, где как друзья их, так и враги были склонны переоценивать турецкую силу. Первые были ими глубоко обрадованы; вторые не умели скрыть своего разочарования, тем более что разгром балканских союзников ими учитывался наперед как положительный фактор при составлении их политических расчетов на ближайшее будущее. С победами болгар еще кое-как мирились в Вене, где благодаря присутствию в Софии Фердинанда Кобургского надеялись без особого труда изыскать способ устранить или по крайней мере смягчить неприятные для себя последствия успехов Балканского союза, но торжество сербских войск, обнаруживших блестящие боевые качества, разразилось над Австро-Венгрией, как удар грома среди ясного неба, и спутало все карты венской дипломатии. По сведениям, полученным мной из Берлина, и там торжество союзников произвело впечатление весьма неприятной неожиданности. Германский генеральный штаб, уже давно взявший в свои руки преобразование турецкой армии, чувствовал себя, до известной степени, ответственным за постигший Турцию разгром, обнаруживший неудовлетворительность инструкторской работы фон дер Гольца-паши и его германских помощников. В Берлине пришли к заключению, что организационная работа германского генерального штаба в Константинополе не дала тех результатов, которых от нее ожидали, и что поэтому надо было приняться за дело с новой энергией и на новых началах. Можно, без опасения ошибиться, высказать предположение, что план

полного подчинения турецкой армии германскому командному составу, осуществленный осенью 1913 года посылкой в Константинополь генерала Лимана фон Сандерса, ставшей перво-степенным политическим событием, был составлен под непосредственным впечатлением решительных успехов союзников в первую балканскую войну.

Положение, занятое Россией до начала военных действий, перед лицом совершившихся фактов, как бы ни были они благоприятны с точки зрения нашей ближневосточной политики, должно было также до известной степени измениться. То новое взаимоотношение сил, которое создалось на Балканах как последствие победоносного наступления союзных войск под самые почти стены турецкой столицы, требовало как с нашей, так и со стороны остальных членов Тройственного соглашения нового отношения и новых мер. Россия могла более не опасаться за существование своих балканских друзей, но зато перед ней вставали чрезвычайно сложные политические задачи, требовавшие ее неослабной бдительности и деятельной поддержки Франции и Англии, почти в одинаковой мере с нами заинтересованных в удачном их разрешении. Если в пору неизвестности исхода вооруженной борьбы между балканцами и турками вопрос о необходимости не дать этой борьбе принять размеры европейской войны поглощал все усилия правительств Соглашения, то победа балканских государств в этом отношении не только не давала никаких гарантий, но, может быть, даже обостряла опасности, вытекавшие из нового положения вещей на Ближнем Востоке. Всем было ясно, что говорить с победителями тем же языком, которым говорили с ними, когда еще не обнаружилась безнадежная слабость их противника и их собственная сила, было уже невозможно. Надо было изыскивать новые формулы, отвечавшие требованиям нового положения, созданного событием, которое по своему значению могло быть в истории Балканского полуострова сравнено лишь

со сражением на Косовом поле, хотя оно и служило ему прямым противоположением, являясь первым торжеством освобожденного балканского христианства над мусульманскими поработителями.

Формула территориального статус-кво, представлявшая известные выгоды в пору ее принятия державами, т.е. перед началом военных действий, теперь окончательно должна была отпасть, и о применении ее в целях сохранения неприкосновенности Турецкой империи никто не мог серьезно помышлять даже в Вене и Берлине. Надо было найти способ сохранить за Турцией только ту часть ее балканской территории, которая была необходима для защиты ее столицы, отдав победителям для любовного раздела завоеванную ими Македонию и предоставив им использовать в возможно широких размерах плоды их побед.

На разрешение этой задачи была направлена неослабная работа русской дипломатии и дружественных нам правительств. В течение целого года задаче этой было суждено быть центром встречных усилий наших тесно сплоченных политических противников и бесконечных осложнений, не раз угрожавших европейскому миру.

Созданный при благожелательном отношении России Балканский союз блистательно оправдал возлагавшиеся на него надежды. Но до достижения, с русской точки зрения, главной и наиболее ценной его цели — упрочения мира на Балканах посредством свободного развития государственной жизни каждого из членов союза со взаимным обеспечением от недружелюбных вмешательств извне было еще очень далеко. Поработители христианских народов Балканского полуострова были разбиты, и сила их безвозвратно сломлена, но на развалинах турецкой власти необходимо было дать развиваться новой политической жизни каждого из этих народов на началах

справедливого размежевания его прав и интересов. При этом надо было, стремясь к этой цели, не упускать из виду, что враги балканского славянства, озадаченные и раздраженные непредвиденными результатами войны, не преминут приложить все усилия, чтобы вырвать из рук победителей плоды их победы. И тут, как всегда, в наиболее угрожаемом положении оказывалась Сербия, над которой непрестанно висел дамоклов меч австрийского вмешательства. Я уже упомянул о негодующем изумлении венского правительства по поводу успехов сербской армии над Турцией, изумлении, которое сквозило в речах его заграничных представителей и обнаруживалось, еще более непринужденно, в суждениях всех органов австро-венгерской печати без различия политических оттенков. Успехи Сербии, как бы ни были они сами по себе неприятны австрийцам, не давали им еще повода к желанному вмешательству, но таковой не замедлил явиться в связи с политическими последствиями, которые естественно вытекали из сербских побед.

Уже в последних числах октября я был осведомлен нашим посланником в Белграде о намечавшемся союзниками плане раздела их завоеваний. Судя по тому, что сообщал мне посланник, можно было опасаться, что австро-венгерская дипломатия найдет в сербских вождениях, направленных на Албанское побережье Адриатического моря, более чем ей было нужно подобных поводов. Отрезанная ходом неблагоприятных исторических событий от Адриатики, берег которой на значительном протяжении заселен ее далматинскими и хорватскими сородичами, Сербия с первых времен своего освобождения от турецкого владычества не переставала стремиться к свободному выходу к морю. Это тяготение к Адриатике объясняется атавизмом южнославянского племени, исторически связанного с этим морем, а также и экономическими причинами, заставлявшими сербов искать освобождения от австро-венгерского

гнета, тяжесть которого им приходилось испытывать в виде бесконечных пограничных стеснений свободы их вывоза каждый раз, когда в Вене или в Будапеште оставались недовольны направлением сербской политики.

Успехи сербов, превзошедшие их собственные ожидания, должны были, естественно, обострить их стремление к морю, и в этом направлении внимание их было обращено прежде всего на Албанское побережье, где было несколько портов, которые хотя сами по себе не представляли больших удобств, могли тем не менее служить сербским целям, обеспечивая ту свободу вывоза, которой сербам не удалось бы никогда добиться, не освободившись раз и навсегда от постоянно повторявшихся пограничных стеснений со стороны их соседей. Ввиду этого не приходилось удивляться тому, что Н.Г.Гартвиг писал мне, что в числе иных требований, выработанных союзными правительствами, был и раздел Албании между Сербией, Черногорией и Грецией, причем Сербия наметила как свою часть добычи Северную Албанию, за исключением Скутарийской области, уступаемой Черногории, с морским побережьем от С.-Джиованни-ди-Медуя вплоть до Скумбии, предоставляя Южную Албанию Греции. Эти требования, писал мне Гартвиг, балканские победители решили отстаивать с оружием в руках.

Само собой разумеется, что со стороны России раздел Албании между балканцами не мог встретить, по существу, никаких возражений ввиду отсутствия каких бы то ни было русских интересов на Адриатическом побережье. Тем не менее на мою долю выпала, как скоро мне стали известны означенные требования, неблагоприятная задача предостеречь сербское правительство от излишних увлечений этим соблазнительным планом. Для меня не было никакого сомнения, что всякое посягательство союзников на албанскую территорию вызовет немедленно самое решительное противодействие со стороны Австро-Вен-

грии и Италии, интересы которых являлись, к несчастью для Сербии, тождественными именно в этой части Балканского полуострова.

По сравнению с политическими осложнениями, возникшими в связи с вопросом о разделе Албании и предоставлении Сербии в полное владение порта на Адриатическом море, остальные части союзнической программы балканских победителей, в том числе и проявившиеся в ту пору вождения болгар и, главным образом, Фердинанда Кобургского, мечтавшего возложить на себя византийскую корону, в направлении Мраморного моря и Константинополя представляли для русской дипломатии менее трудностей и тревожной работы. Допущение Сербии к выходу на Адриатику сделалось на продолжительное время центральным вопросом европейской политики, хотя само по себе оно имело чисто местное значение. Страстное к нему отношение сербского общественного мнения не замедлило перекинуться и в Россию. Некоторые петроградские круги, довольно близко стоявшие ко двору, и вся столичная печать националистического лагеря, издавна враждебно настроенная по отношению к министру иностранных дел, повели против русской внешней политики шумную кампанию, выражавшуюся в уличных демонстрациях, собраниях, на которых произносились патриотические речи, требовавшие войны в защиту славянских интересов, и в целом потоке газетных статей, обвинявших русскую дипломатию чуть ли не в государственной измене. Особенно страстное к себе отношение вызвали у нас выдвинутые королем Николаем Черногорским претензии на город Скутари и прилежащую к нему область. Несмотря на несомненно албанский характер населения той местности, русское правительство, если бы решение этого вопроса зависело только от его доброй воли, никогда не противилось бы удовлетворению желаний «единственного друга России», пользовавшегося тогда, по старой

памяти, большой популярностью в широких кругах русского общества, совершенно им утраченной впоследствии, но вопрос ставился иначе, и Скутари мог отойти к Черногории не иначе, как ценой удачной войны с Тройственным союзом, настаивавшем на создании целокупной и независимой Албании.

В такой политической обстановке скутарийский вопрос съезжился до своих истинных размеров вопроса исключительно временного и местного значения, ради которого было бы преступно рисковать жизнью хотя бы одного русского солдата. Теперь в этом уже давно не сомневается никто в России. Но в ту пору вся ложность и искусственность скутарийского вопроса ускользала от очень многих, и агитация, которая велась вокруг него, доставила мне немало тревожных минут. Одно время эта агитация достигла таких размеров, что отголоски ее проникли в Государственную Думу, причем правые партии отнеслись к ней особенно отзывчиво. Чтобы ознакомить наше народное представительство с истинным положением вещей, я пригласил к себе всех членов Государственной Думы, которые интересовались внешней политикой, и прочитал им в подлинниках дипломатические документы, касавшиеся скутарийского вопроса. Эти документы показали им настолько убедительными, что появившееся было в Думе неблагоприятное настроение к русской политике сменилось в скором времени благожелательной ее оценкой. По этому поводу я не могу не заметить, что мне ни разу за всю мою служебную деятельность не пришлось раскаиваться, когда я вступал в откровенные объяснения с Государственной Думой по вопросам иностранной политики. Бывали иногда, что неизбежно, случаи нескромности, и отдельными членами Думы выбалтывались сведения, не подлежащие оглашению, но особенной беды от этого не происходило ни разу. Я думаю, что несвоевременная сдержанность и скрытность могли бы в данном случае, как и во многих иных, повлечь за собою гораз-

до более вредные последствия, чем совершенные мной отступления от рутинного взгляда на дипломатическую тайну.

Упомянув выше об отношении петроградской печати к русской политике в период балканской войны, я считаю долгом отметить здесь, что московская, а за ней и провинциальная печать обнаружила в оценке политических событий 1912–1913 годов несомненно больший политический смысл, осведомленность и благоразумие, чем поддавшиеся всевозможным мимолетным влияниям органы столичной националистической печати. Либеральные газеты, как бывало обыкновенно, когда дело шло о вопросах внешней политики, не утрачивали способности беспристрастной и здравой оценки политического положения.

Я говорил уже о том, что еще с начала балканской войны у руководителей внешней политики держав Тройственного соглашения явилась мысль о созыве международной конференции для изыскания средств локализации войны и для разрешения многочисленных вопросов, выдвигаемых на очередь в связи с развитием военных действий. Эта мысль со времени ее возникновения несколько видоизменилась в том смысле, что вместо созыва громоздкого аппарата международной конференции державы остановились, по моему предложению, на мысли учреждения совещания послов в одной из западных столиц. Для этой цели был намечен первоначально Париж, но по соображениям личного характера, утратившим теперь свой интерес, окончательный выбор пал на Лондон, причем имелось в виду привлечь к работам совещания в целях осведомления, но без права голоса, представителя Румынии как державы, ближайшим образом заинтересованной во всех территориальных изменениях, могущих произойти на Балканском полуострове.

Чтобы внести возможно больше света в предстоящие со-
вещания великих держав и подвести под их твердое основание,
я предложил державам поручить своим представителям в
Лондоне заявить о формальном отказе их правительств от
всяких территориальных приобретений на Балканах. Мне
казалось, что заявления всех участников о своем бескорыстии
могли быть только полезны с точки зрения конечных результа-
тов дипломатического вмешательства великих держав в бал-
канскую распрю. И в данном случае, как и во всех предыду-
щих, когда бывали затронуты балканские вопросы, положение,
занятое Австро-Венгрией, должно было иметь значительное
влияние на то или иное направление, которое суждено было
принять политическим событиям в Европе. В этом отношении
присоединение венского кабинета к предложенному мной
заявлению внесло бы сразу прояснение в сгущавшийся туман
международного положения, дав надежду державам на то, что
на этот раз не подует буря из гнилого угла Европы. С другой
стороны, его отказ присоединиться к предложенному русским
правительством и принятому остальными, за исключением
германского, которое уклонилось от прямого ответа, бросил бы
свет на истинные намерения австро-венгерской дипломатии и
мог бы служить для нас полезным предостережением.

Ответ графа Берхтольда, заменившего в должности умер-
шего австро-венгерского министра иностранных дел Эренталя,
не заставил себя долго ждать. Венское правительство отказы-
валось присоединиться к предложенному нами заявлению,
объясняя свой отказ опасением сделать шаг, который не был
бы одобрен общественным мнением всей двуединой монархии.
Вместе с тем граф Берхтольд поручил австрийскому послу в
Петрограде заявить мне, что его правительство исключает
всякую мысль о территориальных приобретениях и будет
добиваться только достижения экономических выгод. Из этого
ответа, и особенно из дополнительных разъяснений графа

Турна, можно было вывести заключение, что в данную минуту в Вене еще не был выработан определенный политический план и что венская дипломатия, прикрываясь формулой «экономических выгод», предоставляла ходу событий уточнить свой дальнейший образ действий. Этой неопределенности, вероятно, немало способствовало положение, занятое германским правительством, не обнаруживавшим в ту пору желания перейти к более активной политике, несмотря на разочарование, причиненное ему неожиданными победами балканских союзников над Турцией.

Еще до начала работы совещания послов в Лондоне уже можно было не сомневаться в том, что центральным пунктом конференции, тем фокусом, в котором будут преломляться трудно примиримые между собой точки зрения держав Тройственного согласия и Тройственного союза, сделаются неразделимые вопросы создания независимой Албании и допущения Сербии к выходу в Адриатическое море. Я назвал эти два вопроса неразделимыми, потому что Австро-Венгрия и Италия, в силу своих парадоксальных политических взаимоотношений, договорились относительно необходимости согласиться на создание независимого Албанского государства, как бы оно ни оказалось мало жизнеспособным, для того, чтобы ни той, ни другой из обеих адриатических великих держав не пришлось уступить другой стороне преобладающее положение на Албанском побережье. Подобная сделка не давала залога прочности, но как временная мера она представляла известную выгоду, и создание самостоятельной Албании обратилось в нечто вроде догмата как в Вене, так и в Риме. К этому взгляду немедленно присоединился и берлинский кабинет и тем придал ему еще больший вес. Таким образом, уступка какой бы то ни было части этого побережья третьей державе не преминула бы разрушить с трудом налаженное Австро-Венгрией и Италией политическое равновесие на Адриатике. Вследствие этого

возможность появления Сербии, недоброжелательство к которой венского кабинета усиливалось по мере ее военных успехов, в Сан-Джованни-ди-Медуя или Дураццо, вызывала во всех державах Тройственного союза одинаково враждебное к себе отношение.

Этим обстоятельством, с которым невозможно было не считаться русскому правительству и его друзьям, предопределялся в неблагоприятном смысле исход усиленных стремлений сербского народа найти себе доступ к ближайшему морскому берегу и, таким образом, стряхнуть с себя экономическую зависимость от недоброжелательных соседей.

Я уже сказал, что единодушные симпатии русского правительства и общества были на стороне Сербии. В начале 1913 года сочувствие нашего общественного мнения сербским домогательствам стало проявляться с силой, которая внушала мне некоторые опасения относительно возможности удержать в руках правительства руководящее влияние на ход политических событий. В вышеупомянутых общественных кругах, близко стоявших к некоторым придворным и военным центрам, укоренилось убеждение, что настала удобная минута рассчитаться с австро-венгерским правительством за грехи политики Эренталя. Подобное настроение являлось результатом, с одной стороны, интриг отдельных лиц, из которых некоторые находились под гипнозом личных честолюбивых замыслов, другие же — ложно понятого патриотизма, а третьи, и наиболее многочисленные, действовали под влиянием принципиальной оппозиционности правительству, а также плохой осведомленности об общем политическом положении Европы. На самом деле, если бы Россия в эту минуту решила пойти дальше оказанной Сербии вместе со своими союзниками дипломатической поддержки, ей пришлось бы сделать это одними ее собственными силами и на свой страх и риск, так

как ни Франция, ни Англия не стали бы на ее сторону для защиты чуждых и малопонятных им интересов.

Разумные и ответственные люди вполне правильно оценивали у нас истинное положение вещей, хотя в самом совете министров и нашлось двое или трое лиц, которые не скрывали своего осуждения «слабой и антиславянской политики» министра иностранных дел. Усилия их не привели, однако, ни к каким опасным для государства последствиям. Государь, и за это Россия должна быть ему навсегда признательна, несмотря на свое сердечное сочувствие национальным стремлениям сербского народа, проявил в эту тревожную минуту ясность политической мысли и твердость воли, которые положили конец тем интригам, что толкали нас на путь европейской войны при самых неблагоприятных для нас условиях и из-за интересов, не оправдывавших тяжелых жертв со стороны русского народа.

Когда я вспоминаю об этих уже далеких событиях, мне невольно приходит на ум мысль о том, что если бы в эпоху японской войны император Николай стал так же твердо в защиту государственных интересов России и не дал бы себя опутать сетью интриг безответственных искателей наживы и приключений, то весьма вероятно, что наша родина, Он сам и столько членов Его дома не захлебнулись бы в море крови и слез Русской революции, и история человечества не занесла бы на свои страницы событий, не имеющих себе равных по скорби, ужасу и позору.

Возможно, что воспоминание о грозном уроке японской войны послужило Ему на пользу и дало ту твердость, которой у него не хватило в роковом 1903 году. Поддержка, оказанная мне Государем, не ослабла ни разу в самые критические моменты обеих балканских войн и получила свое официальное завершение в рескрипте на мое имя в начале лета 1913 года, в

котором император Николай одобрял мои усилия в деле сохранения мира. Одобрение Государем моей политики было высказано настолько недвусмысленно, что заставило сразу смолкнуть хор враждебных голосов моих противников и примкнувших к ним любителей интриги и скандалов из рядов наших патентованных патриотов. Я считаю долгом с благодарностью вспомнить здесь и ту поддержку, которую мне неизменно оказывал во время балканского кризиса и в другие трудные минуты моей служебной деятельности тогдашний председатель совета министров В.Н.Коковцов. Удаление от дел этого умудренного долгим государственным опытом и по природе своей осторожного и чуждого всяких увлечений человека было для меня весьма чувствительно, и я не раз имел случай глубоко сожалеть о замене его И.Л.Горемыкиным, старцем, утратившим давно не только способность интересоваться каким бы то ни было делом, кроме личного своего спокойствия и благополучия, но даже просто отдавать себе ясный отчет в окружающей его действительности.

Благодаря рескрипту Государя работа русской дипломатии, насколько это касалось внутренних условий ее течения, была чрезвычайно облегчена. Зато извне трудности нашего положения постепенно росли и нагромождались настолько, что иногда мне казалось, что всем моим усилиям сохранить мир суждено было разбиться о глухую стену безумия и злой воли австро-венгерской дипломатии, над которой покровительственно высилась громадная тень германского государственного щита.

Задача моя усложнялась еще и тем, что в самой Сербии, которая была предметом искренней и горячей заботливости русского правительства, я нередко не находил того самообладания и той трезвой оценки опасностей момента, которые одни способны предотвращать катастрофы. Я упоминаю об этом

факте без всякой мысли бросить укор сербскому народу, разорвавшему сравнительно недавно цепи турецкого гнета после вековой борьбы и тяжких страданий и приблизившемуся наконец к цели своих страстных чаяний. Мне наоборот вполне понятно его бурное нетерпение, когда вдруг между ним и этой целью, казавшейся его молодому воображению столь близкой, стали снова воздвигаться препятствия, которые грозили лишить его плодов с таким трудом достигнутого успеха. Сербские настроения были мне еще тем более понятны, что тогдашний русский представитель в Белграде, Н.Г.Гартвиг, предпочитал выигрышную роль потакателя этих повышенных настроений белградских правительственных и общественных кругов той менее благодарной, но более соответствующей истинным интересам Сербии, которую он должен был играть в качестве русского представителя, ближайшей обязанностью которого было, жертвуя личной популярностью, предостерегать правительство и народ от опасных увлечений. Гартвиг истолковывал в Белграде русскую политику по-своему и тем крайне затруднял мою задачу, пока, наконец, политическое напряжение не достигло во всей Европе такого состояния, что возможность серьезных европейских осложнений из-за вопроса об Албанском побережье становилась все вероятнее. Как относились к подобной перспективе наши союзники и друзья, мной уже было сказано выше. Патриотические увлечения некоторых сербских заграничных представителей обостряли еще опасность общего положения. Так, например, поверенный в делах в Берлине уверял германского статс-секретаря по иностранным делам, что балканские союзники поделили между собой окончательно Адриатическое побережье и что Сербия уверена в доброжелательной поддержке не только Болгарии, но и России. Само собою разумеется, что русское правительство не давало Сербии в этом смысле ни прямых, ни косвенных обещаний; что же касается Болгарии, то союзный

договор не давал Сербии никакого основания рассчитывать на вооруженную помощь своей союзницы в этом вопросе. Напоминая в Белграде обо всем этом, мне пришлось просить сербское правительство не затруднять нам взятую на себя роль защитника сербских интересов и не упускать из виду, что в вопросе о выходе Сербии к Адриатическому морю нам приходилось проводить различие между целью и средствами. Целью для нас являлось возможно полное обеспечение экономической независимости Сербского государства. Что касается до средств ее достижения, то таковыми могли быть либо обладание частью побережья, либо железнодорожное соединение с тем или иным адриатическим портом, на тех же условиях, на которых могло бы состояться свободное допущение австрийских товаров в Салоники, которого добивалось австро-венгерское правительство. Уступчивость Сербии в вопросе о приобретении порта на Албанском побережье облегчила бы ее друзьям возможность ее территориального увеличения в направлении к югу или соответственного сокращения в ее пользу будущей албанской территории. Если в Вене не отдавали себе отчета в том, что интересы Австро-Венгрии требовали установления возможно прочного мира на Балканском полуострове, то Сербии не следовало забывать, что ставя неосторожные требования, она рисковала потерять достигнутые ею в войне с Турцией блестящие результаты.

Эти дружеские предостережения не имели, к сожалению, в Белграде того успеха, которого я был вправе от них ожидать. С одной стороны, народное увлечение одержанными над турками победами, превысившими самые смелые ожидания, а равно и связанные с успехом радужные надежды на скорое осуществление национальных идеалов, с другой — довольно двусмысленное поведение русского посланника в Белграде, который поддерживал в сербах, хотя, по существу, вполне законные, но в ту пору несбыточные стремления, налагали на

русское правительство неприятную обязанность действовать расхолаживающим образом на порывы сербского энтузиазма и давать в Белграде советы осторожности и благоразумия, никогда и никем охотно не принимаемые, а тем более в минуту крупного успеха. Было крайне трудно убедить сербов в том, что время работало за них и против их противников. Они неохотно выслушивали доводы, приводимые им мной в пользу более спокойного выжидания дальнейшего развития политических событий. Эти доводы я брал из истории Русского государства, посвятившего полтора года лет, во время которых ему пришлось вести бесконечные войны на севере и на юге, на то, чтобы пробиться до морского берега и до наших дней еще не разрешившего удовлетворительно эту задачу.

Между тем я продолжал употреблять все усилия, чтобы достигнуть путем мирных переговоров с австро-венгерским правительством хотя бы частичного удовлетворения сербских желаний в виде предоставления Сербии исключительно торгового порта на Адриатике, но все мои старания, добросовестно поддерживаемые нашими союзниками, оставались безуспешными и встречали единодушный отпор со стороны держав Тройственного союза. В начале ноября стало до очевидности ясно, что добиться предоставления Сербии какого бы то ни было адриатического порта было возможно только силой, т.е. ценой европейской войны. При этом ярко выступало все несоответствие между поставленной себе Тройственным согласием целью и теми средствами, к которым пришлось бы ему прибегнуть для ее достижения. Я уже говорил о том, что о европейской войне ради сербского порта на Адриатике не могло быть и речи. Ни наши союзники и друзья, ни мы сами не допускали подобной мысли. Между тем напряженность положения не ослабевала, и сербские войска готовились занять Дураццо. Чтобы не оставить в Белграде и тени сомнения относительно истинного положения вещей и намерений России, я вынужден

был поручить Гартвигу предупредить сербское правительство, что мы «не будем воевать с Тройственным союзом из-за сербского порта на Адриатике. Что же касается до решения балканских союзников поделить между собой Европейскую Турцию, не считаясь с интересами Австрии и Италии, то мы предостерегаем Сербию от последствий, к которым необдуманная политика могла бы ее привести, лишив ее сочувствия Франции и Англии». В заключение мне пришлось предупредить наших сербских друзей, что и мы были бы принуждены отказаться от их поддержки, если бы они дали себя увлечь слишком далеко.

Я живо помню, как тягостна для меня была по отношению к сербам, на стороне которых были все мои симпатии, эта роль нравоучительного старшего брата, но политические обстоятельства настоятельно требовали решительного вмешательства русского правительства в сербские дела, грозившие уклоном в сторону национальной катастрофы, которую надо было предупредить в интересах самого сербского народа. К тому же если в Европе было правительство, от которого сербы могли принимать дружеские советы без чувства обиды или подозрительности, то это было, конечно, только русское правительство, в искренности которого они не имели основания сомневаться и которое было связано с судьбой балканского славянства бесчисленными нитями нравственных и реальных интересов.

Вся первая половина 1913 года прошла в вышеозначенных увещаниях сербского правительства и в переговорах с Австро-Венгрией и Италией, за которыми неизменно стояла их союзница Германия. Переговоры эти относились к созданию Албании и вопросу допущения Сербии, в той или иной форме, к выходу в Адриатическое море. Для придания веса своему голосу венский кабинет прибег к принятию на своих границах некоторых мер военного характера. Таким образом, поблизости от границ Сербии были сосредоточены от пяти до шести

армейских корпусов, а находившиеся в Галиции три армейских корпуса были доведены до состава военного времени. На эти меры русское правительство ответило удержанием под знаменами резервистов и пополнением военных снабжений в частях, расположенных вдоль границы. Тем не менее принятые как австрийцами, так и нами меры предосторожности были не таковы, чтобы затруднить дальнейший ход дипломатических переговоров на Лондонском совещании послов.

Работы этого совещания продвигались вперед крайне медленно, и каждый из участвовавших в нем представителей великих держав выдвигал предложения своего правительства лишь с величайшей осторожностью и после подготовки почвы предварительными переговорами с остальными членами той группы держав, к которой он принадлежал. В ту пору ни одному из европейских правительств не хотелось воевать, за исключением австро-венгерского, готового броситься на Сербию в надежде поправить таким отчаянным средством свое печальное внутреннее положение, но не встречавшего необходимой ему германской поддержки. Остальные относились отрицательно к войне, и каждое из них не без тревоги ощущало, что опасность европейской войны могла возникнуть тем не менее во всякое время, как бы невзначай. Даже сама австро-венгерская дипломатия, бывшая в указанном настроении, хотя и продолжала с той же настойчивостью требовать создания независимой Албании и относиться так же непримиримо к допущению Сербии к Адриатическому морю, не решалась не проявить внешним образом известной примирительности и, хотя и вынужденная к тому обстоятельствами, не отказывалась обсудить вместе с державами способы вознаграждения Сербии за тот ущерб, который причинял ей отказ Тройственного союза в каких-либо территориальных приобретениях на побережье Адриатики.

Таким образом, Лондонское совещание послов без особого труда сошло на принципиальном решении вопроса о создании независимой и нейтральной Албании под суверенитетом султана и при коллективной гарантии великих держав, а равно на предоставлении Сербии в пользование одного из албанских портов с правом не только беспошлинного ввоза и вывоза своих произведений, но и, по настоянию русского правительства, всякого рода военного снабжения и вооружения как в мирное, так и в военное время. Для этого имелось в виду соединение означенного порта железнодорожным путем с Сербией, причем этот железнодорожный путь должен был находиться равным образом под контролем великих держав. Нейтрализация Албании, а следовательно, всего албанского побережья, придавала этой сделке, с точки зрения интересов Сербии, некоторую реальную ценность, которой она бы не имела, если бы порт, предоставленный в пользование сербов, находился в стране, на которой не тяготел бы сервитут нейтральности. Во всяком случае при данных обстоятельствах ни Россия, ни остальные члены Тройственного соглашения не могли достигнуть более рационального разрешения вопроса о доступе Сербии к морю. Это разрешение не давало скорого и полного удовлетворения национальному самолюбию сербского народа и его экономическим нуждам, но оценивая результат усилий русской дипломатии в пользу Сербии, не следует упускать из виду, что даже в том случае, если бы Тройственному соглашению удалось на Лондонском совещании вырвать у Тройственного союза уступку Сербии части албанского побережья с портом Дураццо или Сан-Джованни-ди-Медуя, то, практически положение вещей от этого не изменилось бы, так как требовавший для своего осуществления долгих лет и огромных расходов сложный вопрос о постройке железнодорожной линии между производительными центрами Сербии и морем не устранился фактом территориальной уступки и

облегчался лишь в незначительной мере. Единственно обладание хорватским и далматинским побережьем, с дополнительным выходом в Эгейское море, могло дать то вполне удовлетворительное разрешение экономических вопросов, о котором сербский народ мечтал столько лет и к которому сербское правительство готовилось с той минуты, когда осуществление великосербской идеи начало постепенно придвигаться к области политических достижений. В эпоху балканских войн эти идеи были еще невоплотимы. Между их осуществлением и сербским народом лежала мировая война со всеми ее бесконечными страданиями и с тем беспримерным самопожертвованием и героизмом, ценой которых Сербия купила свое национальное объединение.

Пока балканские союзники стояли лицом к лицу с общим врагом и напрягали свои усилия к его одолению, договор 29 февраля 1912 года служил порукой их союзнической верности. Но боевой период войны оказался, для них самих неожиданно, поразительно кратким. Бои были жестоки, но немногочисленны, и в общем победа далась им сравнительно легко. С ней вместе наступила и пора недоразумений, взаимных заподозриваний и раздоров, грозивших превратить вчерашних союзников в завтрашних врагов и свести на нет результаты достигнутых ими сообща успехов.

Этнографически трудноразграничиваемая Македония, уже давно бывшая предметом их соревнований, снова обратилась для них в яблоко раздора. Установленное союзным договором размежевание, сделанное на скорую руку под давлением спешных требований минуты, оказалось неудовлетворительным, не отвечая более ожиданиям ни одной из договорившихся сторон. В особенности были им недовольны сербы, деятельное участие которых в боевых операциях в Восточной Македонии и под Адрианополем значительно превысило их предварительные

расчеты. Положение усложнялось еще недоразумениями, возникшими одновременно между Болгарией и Грецией из-за вопроса об обладании Салониками, которые греческие войска успели, к великой досаде болгар, занять в ту минуту, когда болгарские войска собирались туда вступить.

Русская дипломатия, с беспокойством следившая за возникновением и скорым обострением сербо-болгарской распри, употребляла все усилия, чтобы не дать ей превратиться в разрыв, а тем более в открытое столкновение, которое было бы равносильно не только нравственной, но и политической катастрофе и растворило бы настежь двери враждебным пронкам венского кабинета. Текст союзного договора давал России право вмешательства в междусоюзнические недоразумения, отводя, как было упомянуто выше, русскому императору место посредника и третейского судьи в сербо-болгарском разграничении. Чтобы предотвратить по возможности опасность дальнейших осложнений между союзниками и возможность распада Балканского союза ранее, чем он успел бы завершить удачно начатое национальное дело, императорское правительство решило использовать означенное право, хотя оно не делало себе никаких обольщений насчет того, какие трудности предстояло ему преодолеть, чтобы сделать возможным его осуществление.

Между тем и без того крайне запутанное и сложное положение превзошел еще новый политический фактор, с которым державам, и прежде всего России, приходилось серьезно считаться и о котором здесь до сих пор было упомянуто лишь вскользь. Этим политическим фактором была Румыния, которая, не будучи в собственном смысле слова балканским государством, тем не менее, в силу своего географического положения, была ближайшим образом заинтересована в судьбах Балканского полуострова.

С самого начала балканской войны румынское правительство заявило о своем намерении не вмешиваться в борьбу до тех пор, пока в результате ее не получится на Балканах территориальных изменений, которые могли бы иметь для нее неблагоприятные политические последствия. В последнем случае Румыния оказалась бы вынужденной требовать для себя соответствующих вознаграждений. Быстрые успехи болгарских войск предрекали создание на границах Румынии новой Болгарии, весьма значительно увеличенной в своем территориальном составе и усиленной в отношении численности своего населения. Этот факт, оспаривать который никто не мог, послужил румынскому правительству поводом предъявить определенные требования Болгарии относительно территориальных уступок в Добрудже ради обеспечения своего стратегического положения на Дунае. С этой целью Румыния требовала себе уступки города Силистрии и исправления своих границ путем прирезки болгарской территории от пункта, лежащего на запад от этого города и вплоть до Балчика на Черном море. Это требование, само по себе несколько преувеличенное, затрудняло миролюбивое усилие держав Тройственного соглашения и побудило их искать выхода из создавшихся неблагоприятных для балканского мира осложнений на Дунае посредством передачи румыно-болгарского спора третьей стороне великих держав. Нахождение в это время у власти в Болгарии кабинета Гешова, дружественно настроенного по отношению к России, а также и то обстоятельство, что доверие Румынии к политике русского правительства постепенно возрастало, были причиной избрания спорившими сторонами Петрограда для заседания третьей конференции.

По моему приглашению послы Австро-Венгрии, Великобритании, Германии, Италии и Франции приступили первого апреля 1913 года к рассмотрению румынских притязаний. Хотя с первого же заседания конференции обнаружилось обычное

разногласие между представителями держав Тройственного соглашения и Тройственного союза, занятия ее подвигались миролюбиво. Было ясно, что ни одному из участвовавших в ней правительств не хотелось в связи с вопросом не первостепенной политической важности подливать масла и в без того ярко горевшее пламя балканских раздоров. Первоначально поддерживавшие в полном объеме румынские требования представители Тройственного союза отошли довольно скоро от своей точки зрения и присоединились к положению, занятому русским правительством и его единомышленниками, которые, признавая обоснованность требования Румынией стратегического исправления своей границы, видели в уступке Болгарией одной Силистрии, без прирезки значительной части Добруджи, вполне достаточную в этом смысле гарантию. Уже 15 апреля работы конференции были закончены и был составлен текст ее постановления, утвержденный вслед за тем заинтересованными правительствами и принятый без оговорок спорившими сторонами. Город Силистрия с небольшой территорией отходил к Румынии, которая обязывалась вознаградить болгар, выразивших желание выселиться из уступленной местности. Болгария принимала обязательство не возводить укреплений вдоль своей границы вплоть до Черного моря и выражала свое согласие на создание в частях завоеванной Македонии, населенных куцо-влахами, особых епархий, а равно и на церковную и школьную автономию румынского населения в этих областях.

Этим исчерпывались результаты Петроградской конференции. Они были малоэффективны, но должны быть признаны удовлетворительными, так как предупредили возможность новых осложнений в пору и без того тревожную и опасную. Тем не менее они оказались недолговечными. Бухарестский мир, положивший конец второй балканской войне, не оставил

от них и следа, и Румыния с лихвой вознаградила себя за обнаруженную в свое время умеренность.

Не так легко было русской дипломатии справиться с весьма серьезными затруднениями, рождавшимися на почве все более запутывавшихся сербо-болгарских отношений. Рядом с ними обозначались еще и другие опасные течения, которые осложняли не только общее политическое положение на Балканском полуострове, но и грозили вовлечь в борьбу великие державы. Невзирая на советы и предостережения России, занятие Скутари сербскими и черногорскими войсками казалось близким. Восторженное настроение в пользу славян, о котором я уже упоминал, достигло в это время в Петрограде своего апогея. Уличные и иные демонстрации повторялись ежедневно и относились к Великому Князю Николаю Николаевичу, зятю короля Черногорского, а также и к сербскому и болгарскому посланникам. Эти шумные проявления чувств славянской солидарности не влияли на спокойную и сознательную работу русского правительства, направленную к ограждению государственных интересов России и самих балканских славян, хотя и затрудняли ее правильный ход и сильно беспокоили наших союзников и друзей, опасавшихся сдачи правительством занятых им позиций под давлением разгоравшихся национальных страстей, подогреваемых неразумной или недобросовестной агитацией. Особенную тревогу обнаруживал по этому поводу французский посол Делькассе, не скрывший от меня, насколько была неприятна парижскому кабинету эта газетная и уличная шумиха, которая в случае слабости русского правительства могла привести к самым серьезным последствиям. Благодаря его выдающемуся уму и политическому такту, а также установившимся между нами весьма скоро дружественным отношениям, высказываемые им советы неуступчивости и твердости могли быть выслушиваемы мной тем легче и охотнее, что я мог не сомневаться в том, что они

были проникнуты сознанием общности интересов, которые нам обоим приходилось тогда отстаивать. К тому же поощрять меня в неуступчивости не было нужды. Я твердо решил выйти в отставку скорее, чем уступить давлению искателей приключений и уличной толпы. Об этом я доложил тогда Государю. Ответ, полученный мной от него, дал мне возможность судить о том, как ясно и правильно он мыслил, когда чужая воля, к несчастью, более упорная, чем его собственная, не насильствовала его личных взглядов.

Чтобы положить конец опасности, связанной с ожидавшимся занятием Скутари сербами и черногорцами, и успокоить наших заграничных друзей, я заявил, что взгляд императорского правительства на этот вопрос не изменится даже в том случае, если бы это занятие состоялось, и что мы будем продолжать смотреть на Скутари как на область, предназначенную войти в состав будущей независимой Албании. Вслед за этим правительство запретило всякие манифестации на почве славянских симпатий и таким образом очистило политическую атмосферу столицы от внесенных в нее безответственными лицами нездоровых веяний.

22 апреля, после непродолжительных переговоров между командующим черногорским отрядом и Эссадом-пашой, засевшим в Скутари, был подписан договор о сдаче города черногорцам. С этой минуты ход дальнейших политических событий зависел от двух факторов, определить которые наперед было нелегко: во-первых — от согласия короля Николая уступить настояниям великих держав и отказаться от своих притязаний на Скутари взамен обещанного ему за это вознаграждения, и во-вторых — от тех способов воздействия, на которых остановилось бы в случае его отказа австро-венгерское правительство, чтобы принудить его к уступчивости.

Хотя русское правительство твердо стояло на том, что оно не даст себя вовлечь в войну из-за второстепенного балканского вопроса, ему, по весьма понятным причинам, было чрезвычайно важно предотвратить единоличную расправу Австро-Венгрии с Черногорией, всегда нежелательную и особенно антипатичную ввиду огромного несоответствия сил монархии Габсбургов и маленького балканского королевства. Поэтому все мои усилия были направлены к тому, чтобы побудить Францию и Англию, ввиду невозможности для России принять участие в принудительных мерах против Черногории, послать свои суда в Антивари и, если затем оказалась бы нужной высадка десанта, придать этой мере международный характер, менее обидный для самолюбия Черногории. Таким образом предотвращалась бы вместе с тем опасность бесконтрольного распоряжения Австро-Венгрии судьбой славянского государства, связанного с Россией вековой дружбой и пользовавшегося особым покровительством наших государей. Было чрезвычайно трудно согласовать в этом вопросе взгляды не только всех членов Лондонского совещания послов, но даже представителей держав Тройственного согласия, не желавших участвовать в таком бесславном предприятии, как морская демонстрация в водах Антивари, навязанная Европе угрозой единоличного вмешательства венского кабинета. В этих докучливых переговорах прошло около двух тревожных недель, когда наконец король Николай объявил 5 мая, что, подчиняясь воле держав, он отдает судьбу Скутари в их руки. Этим актом кончился эпизод, не имевший по существу никакого политического значения, но искусственно раздутый до размеров события, от которого могло зависеть нарушение европейского мира. Единственная выгода, которую русскому правительству удалось извлечь в пользу сербского народа из отречения Черногории от Скутари, была уступка Австро-Венгрией балканцам Ипека, Дьякова, Призрена и Дибры. Беспристрастие заставляет

меня признать, что в этом вопросе русская дипломатия встретила поддержку со стороны берлинского кабинета.

Тем временем положение на Балканах не улучшалось, а делалось все более натянутым. Было очевидно, что если не наступит во взаимных отношениях балканских союзников благоприятный кризис, то разрыв, а за ним и вооруженное столкновение станут неизбежными. Положение было тем более серьезно, что нельзя было ожидать никаких практических результатов от непосредственных переговоров между главами союзных правительств, настолько непримиримо относилось каждое из них к требованиям других. Болгары, греки и сербы сосредоточивали значительные силы в тех местностях, которые они хотели сохранить за собой, и настроение в войсках достигло такой степени напряженности, что при малейшем к тому поводе между ними могли начаться враждебные действия. Поэтому русскому правительству пришлось отказаться от мысли, которая явилась у него первоначально, — устроить съезд между председателями советов министров трех балканских государств и попытаться при помощи своего умеряющего влияния склонить их к соглашению. Оставалась одна надежда, и то довольно слабая, — побудить их подчиниться третьейскому решению держав Тройственного соглашения, на что одно время Болгария как будто была готова идти, но и это средство скоро было признано самими державами Соглашения малопригодным ввиду противодействия, которое неминуемо встретила бы со стороны держав Тройственного союза попытка Соглашения разрешить Балканами спор без его участия. Привлечь же кабинеты Союза, в особенности венский, к его разрешению означало, в лучшем случае, затянуть его на бесконечное время, когда надо было действовать быстро, а в худшем — ускорить наступление катастрофы. На неизбежность одной из этих альтернатив указывал ход работ совещания послов в Лондоне, где сэру Эдуарду Грею с величайшим трудом удавалось отго-

ворить австро-венгерское правительство от выхода из состава Совещания и вступления на путь единоличных решений и мероприятий.

Ввиду этого в начале мая у меня явилась мысль попытаться прибегнуть к тому средству, которое давал русскому правительству текст Сербо-Болгарского союзного договора, и внести успокоение в общее положение на Балканах путем примирения хотя бы двух из споривших сторон, предоставляя временно самой себе греко-болгарскую распрю.

Упомянув выше о роли третейского судьи, которую договор отводил русскому Государю, я оговорился, что не связывал с ней никаких преувеличенных ожиданий. Я отдавал себе вполне ясный отчет в том, что вмешательство России в спор двух союзников, который не трудно было предвидеть уже в момент заключения между ними союзных отношений, будет иметь практическое значение лишь в том случае, если обе стороны найдут в себе достаточно нравственной силы и политической зрелости, чтобы добровольно ему подчиниться. На это при самой искренней симпатии к балканскому славянству было трудно рассчитывать. Но имея означенное средство в руках, каково бы оно ни было, нельзя было в критическую минуту оставить его неиспользованным и подвергнуть блестящие политические результаты, достигнутые союзом, риску быть навсегда утраченными.

Само собой разумеется, предлагая сербам и болгарам прибегнуть к третейскому суду Государя, петроградский кабинет ставил условием, что третейское решение Его Величества будет принято обеими сторонами безапелляционно. К этому мы присоединяли еще другое условие, а именно сохранение полной неприкосновенности Балканского союза. На первых порах казалось, что эти условия не встретят возражений со стороны союзников. Вскоре однако обнаружилось, что ни

болгары, ни сербы не были расположены выпустить из собственных рук заботу о своих интересах, для обеспечения которых они считали более надежными иные средства, чем те, которыми мог располагать самый беспристрастный третейский суд. Тот же приблизительно взгляд на способ разрешения междусоюзнических споров установился к концу мая и у греков, с минуты на минуту ожидавших нападения со стороны болгар для вытеснения их из Салоник. Хотя союзный договор, поскольку он касался Греции, не предвидел третейского решения спорных вопросов, русское, а с ним вместе и остальные правительства держав Согласия влияли на г-на Венизелоса в смысле передачи греко-болгарского спора на суд России или держав. В Сербии все более укреплялось убеждение, что что бы ни делало правительство г-на Пашича, ему не удастся договориться с болгарями, и что война неизбежна. Получаемые нами известия из Софии указывали на чрезвычайное возбуждение умов в военных кругах, с которым г-дам Гешову и Даневу, на миролюбие которых можно было до известной степени рассчитывать, едва ли удалось бы совладать, уже не говоря о том, что в Болгарии последнее слово во всех важных вопросах было не за правительством, а за царем, истинные намерения которого никому не бывали известны. К тому же в это время до нас начали доходить слухи, что венский кабинет действовал на Фердинанда Кобургского в смысле неуступчивости обещанием поддержки, а германский и австро-венгерский представители в Бухаресте употребляли свое влияние на румынское правительство, чтобы побудить его не осложнять со своей стороны положение Болгарии.

Вся совокупность этих условий представлялась настолько серьезной, что мне не оставалось ничего другого, как прибегнуть к крайней мере воздействия на царя Болгарского и короля Сербского путем личного обращения к ним Государя с призывом прекратить свои распри, угрожавшие самыми пагубными

последствиями для славянства, и отдать решение своего спора в руки русского императора. Я долго колебался, прежде чем решиться обратиться к Государю с просьбой о личном его вмешательстве в славянский спор. Я сознавал, какую ответственность брал на себя с точки зрения внешнего престижа России, идя на риск не вызвать со стороны балканских государей должного отклика на призыв Государя. Тем не менее, зная императора Николая, я решился просить его бросить на весы событий свое слово как последнее средство предотвратить братоубийственную войну двух народов, в судьбе которых Россия имела решающее значение.

В это время вся империя праздновала трехсотлетие своего Царствующего дома, и двор, и лица, стоявшие во главе правительства, находились в Москве, Теперь, после того как Россия была потрясена до основания социальным катаклизмом и вырванная из исторической почвы, в которой хотя и с задержками и перерывами она росла и развивалась, сбрасывая с себя постепенно обветшалые формы своего государственного строя и принаравливаясь к требованиям времени, и когда чуждые ей по духу, а часто и по крови люди стараются пересадить ее корни в бесплодную почву, непригодную для какой-либо культуры, между недавним прошлым, кажущимся для его свидетелей еще живым и свежим, и настоящей безотрадной действительностью открылась страшная пропасть, на заполнение которой понадобится не менее одного поколения человеческих жизней, принесенных в жертву безумной попытке разрыва исторической преемственности русского национального существования. Те, кто стоит по ту сторону этой пропасти, не в состоянии составить себе представления о том глубоко и неподдельно национальном настроении, которое переживала вся Россия, за исключением худосочных элементов своей интеллигенции, во дни московских и костромских торжеств, связанных с празднованием трехсотлетнего юбилея дома

Романовых, создавшего современную Россию со всей ее былой славой и со всеми ее безбрежными возможностями дальнейшего мирного развития и процветания.

В эти незабвенные дни я был принят Государем в Кремлевском дворце, обратившемся теперь в никому недоступную цитадель большевизма, в которой вожаки его проживают под бдительной охраной своей опричнины. Из этих оскверненных коммунизмом исторических стен раздался в 1877 году голос императора Александра II, призывавшего Россию взять на себя подвиг освобождения болгарского народа от турецкого ига. Мне казалось, что в силу этих славных воспоминаний призыв Государя к миру и единению враждующих между собой славянских братьев должен был раздаться из Кремлевского дворца.

Когда я изложил Государю те доводы, которые вынуждали меня прибегнуть к его личному вмешательству как к единственному средству спасти положение на Балканах, он спросил меня, могу ли я по совести сказать ему, что все остальные средства достигнуть мирного разрешения сербо- болгарского спора изведаны и найдены непригодными, и имею ли я уверенность, что личное его обращение приведет к желанной цели. Я мог, не колеблясь, ответить утвердительно на первый вопрос. Что же касалось второго, то я был вынужден признаться, что такой уверенности у меня не было и что я сознавал, что беру на себя большую ответственность, испрашивая его согласия на такой необычный шаг, как личное его вмешательство в спор двух независимых государств, хотя бы оно и было предусмотрено при заключении между ними союзного договора, как бы в предвидении тех безысходных затруднений, в которых они в ту пору находились. Но мне казалось, что Государь сам, вероятно, пожалел бы в случае вооруженного столкновения между болгарами и сербами, если бы не мог сказать себе, что не

оставил не примененным бывшее в его власти последнее средство мирного улаживания балканской распри. Государь слушал меня внимательно и после недолгого колебания сказал мне, что подпишет текст обращения к королю Сербскому и царю Болгарскому, если он у меня с собою, так как он думал, что в час опасности для славян он имеет не только право, но и обязанность возвысить свой голос, чтобы предостеречь их от ее последствий. «Если они меня не послушают, — прибавил Государь, — то зачинщики понесут за это кару. Я исполню свой долг, и совесть моя ни в чем меня не упрекнет, что бы затем ни произошло».

Все это было сказано с той чарующей простотой, которая всегда производила на меня свое неотразимое влияние и которая не ускользала ни от кого, кто был восприимчив к подобно-го рода впечатлениям.

Прочитав проект телеграммы, который я привез с собой, Государь приказал мне отправить ее тотчас же, желая, чтобы призыв его к чувству славянского братства и единения исходил из Москвы.

Уезжая из Кремля, я размышлял о том, чему только что был свидетелем, и о тех последствиях, которые могло иметь важное решение, принятое Государем. Из впечатлений, уносимых мной из этого свидания с ним, резко всего выступало два факта, а именно: император Николай не связывал неразрывно представления о славе с успехом, как делает это большинство людей, и самолюбие не играло никакой роли в его решениях, когда сознание долга ему их подсказывало; и во мне росло и крепло к нему чувство любви и преданности.

Из Белграда приходили известия, что там все более и более укреплялось убеждение, что враждебное отношение болгарского правительства к сербским требованиям о пересмотре статей договора, определяющих размежевание македонской

территории между союзниками, в целях вознаграждения сербов за деятельную помощь при осаде Адрианополя, должно было неминуемо привести к столкновению, даже если бы и удалось при помощи России найти временный выход из создавшихся затруднений. Ко мне обращались официальные лица за советом относительно того, что делать Сербии ввиду осложнившихся обстоятельств, и не скрывали своего мнения, что ей выгоднее всего было бы, предупредив болгар, самой начать военные действия, так как в армии господствовала уверенность в успехе. Я отвечал, что не считаю себя вправе давать стратегические советы, но что с политической точки зрения, а также и с нравственной, которой тоже опасно было пренебрегать, такой почин причинил бы Сербии непоправимый ущерб, который не мог бы быть заглажен никакими военными успехами.

Отправлению телеграммы Государя королю Сербскому и царю Болгарскому предшествовало исходившее от русского правительства приглашение председателям советов министров балканских государств, в том числе и Греции, прибыть в Петроград для улаживания их споров. Еще раньше того, по настоянию России, состоялось свидание между г-ми Гешовым и Пашичем, которое должно было затем быть расширено привлечением г-на Венизелоса. Означенное свидание принесло, хотя и на короткое время, некоторое успокоение в политическую атмосферу на Балканах. Довольно скоро, однако, обнаружилось, что ни сербский, ни болгарский министр не сделали никаких примирительных предложений и что положение оставалось по-прежнему натянутым.

Когда текст личного призыва Государя к согласию и миру стал известен за границей, он произвел везде, и прежде всего в балканских государствах, чрезвычайно сильное впечатление. В искренности и полном бескорыстии, которыми было проник-

нито это воззвание, и в глубоком его миролюбии, которых не могли не признать враги России, сосредоточивалась, как в фокусе, вся балканская политика петроградского кабинета в эту тревожную для будущности балканских народов минуту. Ответ на такой призыв должен был бы быть один — передача спора в руки России и безусловное подчинение ее решениям. С внешней стороны он и последовал. Первым из славянских государей на него откликнулся царь Болгарский в ответной телеграмме, в которой он заявлял о принятии Болгарией посредничества России, но вместе с тем ссылался на двусмысленное отношение Сербии к своим союзным обязательствам и на негодование болгар на сербские замыслы лишить их плодов своих побед.

Вслед за ответом Фердинанда Кобургского в Петрограде был получен ответ короля Петра. Король Сербский, со своей стороны, жаловался на отношение своих союзников к справедливым требованиям сербов, но в заключение говорил о том, что Сербия возлагает свои надежды на справедливость и благоволение России.

Нет сомнения в том, что из двух ответов первый был категоричнее второго в смысле выражения согласия на требование Государя отдать балканский спор на свой суд. Если память мне не изменяет, ответ короля Петра не упоминал прямо о третьем решении Государя. Тем не менее, оценивая оба ответа, не следует упускать из виду, что первый, т. е. ответ Фердинанда Кобургского, был отправлен менее чем за две недели до 17 июня, дня, когда болгарские войска совершили на Бригальнице свое нападение на сербские аванпосты и началась вторая балканская война, веденная союзниками уже не против общего врага, а против Болгарии, мечтавшей решить македонский вопрос в свою пользу и установить свое господствующее положение среди балканских государств путем предательского

нападения на своих союзников. У русского правительства никогда не было в руках прямого доказательства участия венского кабинета в этом замысле. Тем не менее мы имели достаточно поводов предполагать, без всякой натяжки, что почин Фердинанда Кобургского был сделан не без ведома и поощрения со стороны австро-венгерского правительства. Нравственное соучастие венского кабинета в этой вероломной попытке тем более вероятно, что австрийская дипломатия, как было уже сказано, никак не могла свыкнуться с мыслью, что первая балканская война, вместо ожидаемого разгрома турками сербской армии, кончилась блестящей победой союзников, которая должна была привести к соответственным территориальным увеличениям каждого из балканских государств, в том числе, конечно, и Сербии, армия которой выказала прекрасные боевые качества и превосходную военную организацию. Поддерживая Фердинанда Кобургского и его единомышленников, венская дипломатия надеялась наверстать потерянное и сразу отыграться после первого крупного проигрыша. И на этот раз события показали ошибочность расчетов венского кабинета, и ненавистная ему Сербия вышла снова победительницей из вторичного испытания и своими победами над Болгарией значительно приблизилась к осуществлению пансербского идеала.

Если первая балканская война продолжалась весьма непродолжительное время, то вторая протекла еще гораздо быстрее. Между сражением на Овчем Поле, последовавшим за схваткой на Брегалнице, открывшей войну 17 июня, и 13 июля, когда болгарское наступление превратилось в полный разгром, прошло меньше месяца. Сербы и греки неудержимо наступали с запада и юга, а румынские войска переправились через Дунай, чтобы поддержать силой оружия требования территориальных уступок в Добрудже. Даже турки вышли из-за Чаталджинских линий, перед которыми остановилось неза-

долго перед тем победоносное наступление болгар, и стали продвигаться по направлению к Адрианополю. Казалось, что никогда еще кара не следовала так быстро за преступлением. Только немедленное прекращение военных действий могло спасти Болгарию от окончательного разгрома. Так как разрушение Болгарии не входило в планы великих держав, а тем более России, то петроградский кабинет, не теряя времени, выступил в Софии с настоятельным требованием немедленной приостановки враждебных действий. Такое же требование было предъявлено одновременно в Белграде, Бухаресте и Афинах. В этом требовании намечались в общих чертах основные положения будущего мира. Они отдавали Сербии всю территорию, лежащую на запад от линии водораздела Вардара и Струмы, а Греции — всю Южную Македонию с городом Сересом и побережье Эгейского моря до Орфанского залива. Румыния еще раньше заявила о своем намерении перенести свою границу с Болгарией на линию Туртукай — Балчик. Наше требование немедленного перемирия было сочувственно принято в Белграде. В Афинах же оно встретило живое сопротивление со стороны г-на Венизелоса, честолюбивые замыслы которого относительно его родины было нелегко удовлетворить. Он не довольствовался для Греции приобретением Салоник, и виды его простирались и на Кавалу, оставляя, таким образом, за Болгарией на Эгейском море только один Дедеагач, мало пригодный как коммерческий порт. Как бы ни казались преувеличенными требования Греции, державам приходилось с ними считаться, потому что по мере того, как выдвигались г-ном Венизелосом эти требования, яснее обнаруживались симптомы сближения между императором Вильгельмом и его зятем, королем Константином, которых до этого времени не было заметно. Берлинский двор еще незадолго перед тем отвечал бедному греческому родственнику полным равнодушием на изъявления его германских симпатий. Эти симптомы

особенно тревожили французское правительство, опасавшееся противодействием греческим желанием лишиться того влияния, которое давало ему в Афинах давнишнее его эллинофильство, и увидеть свое место захваченным германским императором. Что касается английского правительства, то оно не обнаруживало никакого энергичного почину для скорейшего достижения перемирия.

Тем не менее многое было уже достигнуто благодаря тому, что намеченные в общих чертах в русском предложении условия мира были приняты болгарским правительством. Оставалось, за невозможностью совместных действий великих держав, путем непосредственных переговоров между противниками достичь возможно скорой приостановки враждебных действий и условиться относительно подходящего места для будущих мирных переговоров. Выбор мог колебаться только между Лондоном и Парижем, так как Тройственный союз наложил бы свой запрет на Петроград как совершенно неприемлемый для Австро-Венгрии центр дипломатических переговоров по балканским делам. В Лондоне, где незадолго перед тем был подписан мирный договор, завершивший первую балканскую войну, и где еще продолжало работать совещание послов под председательством сэра Эдуарда Грея, трудно было бы собрать еще новую мирную конференцию, не обременив тяжело британского министра иностранных дел. Что касается до Парижа, то выбор его, хотя и менее неприемлемый для центральных держав, чем выбор Петрограда, тоже не улыбался правительствам Тройственного союза. Поэтому когда по почину берлинского кабинета Бухарест был предложен местом новых мирных переговоров, этот выбор не встретил ни с чьей стороны возражений.

Надо было торопиться положить конец военным действиям, потому что пользуясь полным расстройством болгарских

военных сил и паникой, господствовавшей в Софии, куда подвигались из Варны румынские войска, турки беспрепятственно вступили 21 июля в Адрианополь, нарушив этим Лондонский договор, по которому этот город отходил к Болгарии и болгарско-турецкая граница проходила от города Эноса на Эгейском море до Мидии на Черном. Самовольное нарушение Турцией только что подписанного ею мирного договора, само по себе недопустимое, имело еще последствием возвращение всей Южной Фракии с ее в большинстве христианским населением под власть турецкого правительства. Чем угрожало греческому и болгарскому населению этой области такое вторичное подчинение туркам, было ясно для всех.

Как ни ослабели под влиянием предательского нападения болгар на своих союзников симпатии России к освобожденному ею народу, захват турками Адрианополя вызвал у нас всеобщее негодование. Государь прервал свое летнее крейсирование в финляндских шхерах, возвратился в Петергоф для обсуждения правительственных мер, которые могли быть приняты ввиду восстановления нарушенного турками мирного договора. Мне пришлось иметь несколько энергичных объяснений с Турхано-пашой, лично мне очень симпатичным, давая ему понять, что русское правительство не могло согласиться на нарушение договора. В этом же смысле говорил официально и британский первый министр г-н Асквит, и из Парижа раздавались в адрес Турции серьезные предостережения. Но в это же самое время из Берлина меня извещали о том, что германское правительство не примет участия ни в какой враждебной Турции демонстрации. В Италии обнаруживалось подобное же настроение, и нашему представителю объявили в Консульте, что Италия не будет участвовать ни в каких принудительных мерах против Турции.

Как во всех подобных случаях, и на этот раз проявилась разительным образом та раздвоенность, которая была последствием различия, а часто и непримиримости точек зрения великих держав во всех вопросах, касавшихся Ближнего Востока. Тут отсутствие общеевропейского интереса выступало особенно ярко, и объединение держав даже тогда, когда дело шло о поддержании основных требований христианской этики, представлялось недостижимым. Чтобы добиться поставленных нами целей — принудить турок выполнить обязательство Лондонского мирного договора — и, очистив Адрианополь, вернуться за линию Энос — Мидия, было бы вполне достаточно морской демонстрации держав Тройственного согласия в турецких водах. Но и это средство оказывалось неприменимым, так как эта демонстрация внесла бы полный раскол и в без того плохо спаянные действия великих держав в минуту, когда было особенно важно поддержать в глазах ближневосточных народов фикцию согласованности европейской политики.

Ввиду этого Лондонское совещание послов приняло решение поручить представителям великих держав в Константинополе сделать тождественное заявление Порте о необходимости подчиниться постановлениям Лондонского договора относительно новой турецко-болгарской границы, причем державы обещали принять во внимание те условия, которые Турция считает нужными для обеспечения безопасности означенной границы.

Несчастья Болгарии, явившиеся последствием ее политического греха и повергшие ее в очень тяжелое положение, вернули ей, в известной мере, сочувствие России. Наше общественное мнение с растущей тревогой следило за ходом событий на Балканах, и императорское правительство не жалело усилий поддержать создавшуюся в Европе благоприятную для

Болгарии в адрианопольском вопросе атмосферу. При этом создалось парадоксальное положение, в котором на нашей стороне очутилась Австро-Венгрия, ставшая на нашу точку зрения в вопросе об уступке Болгарии Кавалы и очутившаяся благодаря этому в противоречии с Германией, которая начинала явно покровительствовать греческим притязаниям по соображениям, о которых нетрудно было догадаться и в ту пору, но истинный смысл которых обнаружился только в европейской войне 1914 года.

Я уже указывал на то, что, с другой стороны, наша союзница Франция не разделяла нашего взгляда на желательность предоставить Болгарии лишний порт на Эгейском море, нужный ей для обеспечения правильных торговых сношений со средиземноморскими государствами. Подобной любезностью по отношению к Греции французское правительство надеялось предупредить установление преобладающего влияния Германии в Афинах в ущерб тому, которым оно само пользовалось там со времен войны за греческое освобождение. Насколько расчеты эти были неверны, показало в скором времени поведение короля Константина в эпоху мировой войны.

Как бы то ни было, происшедшая в связи с вопросом о Кавале путаница во взаимных отношениях великих держав была мимолетна и осталась без вредного влияния на прочность их союзных обязательств. Все кончилось тем, что венский кабинет получил из Берлина внушение отказаться от взятой на себя роли покровительницы если не Болгарии, то Фердинанда Кобургского, и в конце концов Кавала отошла к Греции, благодаря настойчивому требованию императора Вильгельма и невзирая на личное обращение царя Болгарии к президенту Французской Республики, не изменившее отрицательного взгляда французского правительства на требование Болгарии второго порта на Эгейском море. Лондонский кабинет оставал-

ся в этом вопросе нейтральным, а русское правительство хотя и не изменило своего мнения, не сочло нужным из-за вопроса о принадлежности Кавалы тому или иному из балканских государств затягивать ход мирных переговоров и отсрочивать таким образом заключение всеми одинаково горячо желаемого мира.

10 августа мирные переговоры между Румынией и балканскими государствами пришли к заключению, и был подписан Бухарестский договор, по которому Болгарии пришлось заплатить по счетам как своих бывших союзников, так и своей северной соседки Румынии, которая, не ведя войны, а ограничившись занятием своими войсками без боя части болгарской территории, вышла из этого предприятия с весьма существенной земельной прирезкой.

Бухарестский мир был только пластырем, наклепленным на незалеченные балканские язвы, которым было суждено снова вскрыться не далее как через год. Для Австро-Венгрии этот мир означал тяжелое нравственное поражение вследствие вторичного, в течение всего одного года, блестящего успеха Сербии. Существование этого государства на самых границах Австро-Венгрии было несовместимо с видами венской дипломатии, которой, однако, удалось лишь в незначительной мере и не на долгое время задержать его государственный рост лишением его свободного доступа к Адриатическому морю. Для Болгарии Бухарестский мир запечатлевал крушение честолюбивой мечты Фердинанда Кобургского о создании Болгарского Царства от пределов Албании и до Мраморного моря, горечь обманутых надежд и затаенная злоба против тех, кого они считали виновниками испытанных ими разочарований, поставили судьбы болгарской политики в тесную связь с венским кабинетом, как это наглядно доказала мировая война 1914 года.

Глава V

Зарождение политической солидарности между Россией и Румынией

Одним из первых вопросов, который привлек к себе мое серьезное внимание после назначения моего министром иностранных дел, был вопрос о наших отношениях к Румынии. Если я не был в состоянии посвятить ему на первых же порах по вступлении моем в должность столько времени, сколько, я полагал, он заслуживал, то это произошло от того, что мое внимание было поглощено тогда усилиями поставить на прочное основание наши отношения с Германией, которые оставляли желать лучшего и которые казались мне требующими упорядочения в первую очередь, так как я не мог себе представить, чтобы русский министр иностранных дел мог вне этого условия успешно вести миролюбивую политику, необходимую в интересах России и Европы и отвечающую воле Государа.

К несчастью, тяжелая болезнь оторвала меня на долгое время от только что налаживавшейся работы, и я был вынужден передать ведение переговоров с Берлином моему товарищу А.А.Нератову, на знания, опыт и такт которого я вполне мог положиться. Таким образом, живо интересовавшая меня Румыния должна была сойти с очереди, на которую я ее поставил, и изучение ее с точки зрения заключавшихся в ней для будущего политических возможностей было отложено до более благоприятной минуты.

Когда я снова вернулся к управлению делами, я постарался наверстать потерянное время и не пропускал случая возможно полного осведомления относительно направления ее внешней политики и внутреннего ее положения. Мне было известно, что Румыния не только тяготела к державам Тройственного союза, но и была связана с двумя из них договорны-

ми отношениями, и что вследствие этого она находилась в лагере наших политических противников. Причины, побудившие Румынию направить ее внешнюю политику в сторону, враждебную нам, были мне тоже известны. Они сводились, в общем, к чувству раздражения, унаследованному от поколения румынских деятелей эпохи войны 1877 года, негодовавших на Россию за возвращение себе по окончании войны с Турцией трех южных уездов Бессарабии, утраченных на основании Парижского мира 1856 года, вопреки данному Румынскому княжеству обещанию сохранения его территориальной целостности. Относясь совершенно объективно к этому уже далекому от нас событию, я готов признать, что, может быть, со стороны России в период прекращения войны были допущены по отношению к ее союзнице погрешности в форме, к которым небольшие государства особенно чувствительны и которые, как это было в данном случае, нередко оставляют по себе следы в виде чувства обиды и дрящегося нерасположения. Но вместе с тем я вынужден признать, что румынское толкование этого факта, о котором я всегда искренно сожалел, едва ли вполне отвечает истине. Поступление мое на дипломатическую службу последовало всего через пять лет после Берлинского конгресса, и благодаря этому обстоятельству я лично знал почти всех лиц, принимавших участие в мирных переговорах 1878 года, из которых многие занимали еще в это время ответственные должности в министерстве иностранных дел. От этих лиц я неоднократно слышал, что румынское правительство через посредство г-на Братияно (отца нынешнего первого министра Румынии), приезжавшего до начала войны в Ливадию, где тогда находился император Александр II, для предварительных переговоров по заключению союза против Турции, было предупреждено о том, что Россия намеревается вернуть себе отторгнутую от нее придунайскую область, в которой, кстати сказать, молдавский элемент весьма слабо представлен.

Мне говорили, правда, что это предупреждение не было облечено в письменную форму, а сделано лишь устно, хотя и самым недвусмысленным образом. Поэтому откуда пошла легенда о коварном обмане, жертвой которого стала будто бы Румыния, в настоящее время трудно определить. Приходится отнести ее к бесчисленному количеству тех неразъясненных еще фактов, которыми изобилует политическая история всех времен, не исключая и ближайших. Как бы то ни было, вне всякого сомнения можно считать, что румынское толкование было принято не только без малейшей критики румынским общественным мнением, но к нему отнеслись с искренним или поддельным доверием и иностранные наши недоброжелатели. То обстоятельство, что Россия взамен возвращенных трех южных уездов Бессарабской губернии уступила Румынии завоеванную у турок Добруджу и тем открыла ей свободный доступ к морю, сводилось в толкованиях румынской патриотической печати к размерам незначительного факта, не вознаграждавшего Румынию за понесенный ею нравственный и материальный ущерб, или же обходилась полным молчанием.

Это прискорбное недоразумение пустило в Румынии глубокие корни. Искусственно подогреваемое из Германии и Австро-Венгрии, которым оно было на руку и которые занимали в Бухаресте преобладающее политическое положение со времени упрочения власти принца Карла Гогенцоллернского, сделавшегося после войны 1877 года первым королем Румынии, оно легло в основу русско-румынских отношений. Благодаря последовательности и методичности, с которыми велась в Бухаресте антирусская пропаганда, недоверие к России стало для румынских политических деятелей чем-то вроде политического догмата. Особенно недоброжелательство к нам питали консерваторы, придерживавшиеся германской ориентации и пользовавшиеся поэтому благоволением короля Карла, но ему не были чужды и их противники либерального лагеря, может

быть, в силу семейных преданий своего вождя г-на Братияно. Как бы то ни было, в Румынии не было людей, относившихся не только дружелюбно к России, но даже просто беспристрастно. Редко кому приходило в голову до великой европейской войны, переоценившей все политические ценности, задать себе вопрос, могла ли еще Румыния ожидать в будущем от России новых неприятностей или, перевернув вопрос, какую существенную пользу могла она приобрести от своей вражды к своей восточной соседке и от сближения с Австро-Венгрией, которая владела Трансильванией с ее четырехмиллионным чисто румынским населением, представлявшим в культурном отношении ценную часть румынского народа. Правда, из Берлина и Вены Румынию обольщали перспективой присоединения не только вернувшихся к России придунайских уездов Бессарабии, но и всей этой области с ее молдавским населением, не только не мыслящим себя румынами, каковыми они никогда не были, будучи присоединены к России по Бухарестскому миру 1812 года, когда Румынии еще не существовало, а было только два отдельных между собой дунайских княжества, но и давно свыкнувшихся с русским правлением и достигших под властью России экономического и культурного развития, которым не обладала ни одна часть Румынии, где крестьянское население жило в состоянии, близком к крепостному праву³. Само собой разумеется, что означенные перспективы могли обратиться в действительность лишь в случае победоносной войны с Россией, т.е. осуществление их было обставлено условиями, недостижимыми единоличными силами Румынии, что должно было значительно уменьшить их прак-

3 Бессарабия была одной из тех областей России, в которых крепостное право не существовало. Оно распространялось там лишь на цыганское население.

тическую ценность и вселить в благоразумных людей сомнения в целесообразности враждебной России политики⁴.

Наоборот, от сближения с Россией и остальными членами Тройственного соглашения Румыния могла ожидать осуществления своего национального объединения приобретением пяти миллионов румын, которые находились под пятой мадыарского правительства и поэтому искренно мечтали о воссоединении с зарубежными братьями. Мне казалось, что задачей русского министра иностранных дел должно было быть помочь румынскому правительству и общественному мнению разобраться в сущности в весьма несложном вопросе его внешнеполитических интересов и, поскольку это зависело от русского правительства, привести Румынию к сознанию неправильности и нецелесообразности того пути, на который ее поставили германские влияния как в самой стране, так и вне ее. При этом я имел в виду, само собой разумеется, прежде всего служить интересам России, стараясь примирить с ней соседнюю страну, от которой мы ничего не желали, кроме приобретения ее искреннего расположения, но которая, со своей стороны, могла ожидать от нас серьезной помощи в деле своего национального

4 Если тем не менее Румынии удалось, после заключения Версальского мира, перенести свою границу с Прута на Днестр, то это случилось не благодаря ее союзу с центральными державами, а оттого, что в 1916 году она им изменила, за что была вознаграждена бывшими союзниками России присоединением, кроме выговоренных частей Венгрии, всей Буковины и Трансильвании, после Версальского мира, еще и Бессарабской области в целом ее составе, без всякого плебисцита, а просто на основании постановления местного провинциального собрания, действовавшего под давлением из Бухареста. Этой уступкой всей Бессарабии наши бывшие союзники пожелали, очевидно, покарать русский народ, по их мнению, недостаточно наказанный крушением своей государственности, за большевистскую измену.

возрождения, когда таковое было бы поставлено на очередь неизбежным ходом исторических событий.

Мой деятельный интерес к положению вещей в Румынии совпал с пробуждением там, в либеральном лагере, критического отношения к укоренившейся в придворных кружках и среди консерваторов привычке искать вдохновения только из германских источников. В этом отношении наибольшая заслуга принадлежала главе либерального правительства г-ну Братияно, находящемуся ныне после долгих перепитий снова у власти. Этим счастливым совпадением намеченная мной цель в значительной степени облегчалась. Я старался придать моим служебным отношениям с румынским посланником в Петрограде г-ном Диаманди более искренний и доверчивый характер, тем более что этот дипломат пользовался особым расположением г-на Братияно. Задача моя упрощалась еще тем, что в г-не Диаманди я нашел человека умного и свободного от многих устарелых политических предрассудков, охотно пошедшего навстречу моим примирительным попыткам. С другой стороны, я добивался той же цели путем тщательного выбора наших представителей в Бухаресте, которым давал инструкции в смысле установления возможно дружественных отношений с румынским правительством и обществом.

Идя в этом направлении, я должен был стараться достичь не только согласия Государя на нашу новую политику в отношении Румынии, но и вызвать с его стороны личное в ней участие, без которого она была бы обречена на неудачу. Я, кажется, говорил уже не раз, что император Николай легко и правильно понимал вопросы внешней политики, а в доброй воле его откликнуться на новый почин, от которого можно было ожидать в этой области пользы для России, я не имел никакого основания сомневаться. На самом деле, после нескольких моих докладов по румынскому вопросу, в которых я

изложил ему, что России надлежало сделать первый шаг по пути политического сближения с Румынией, чтобы не дать этой стране перейти бесповоротно в лагерь наших врагов, Государь стал обнаруживать искренний интерес к этому делу и выразил мне свою готовность оказать личным своим участием помощь усилиям русской дипломатии. Для подобного участия можно было без труда найти подходящий повод.

Конференция, собравшаяся под моим председательством в Петрограде весной 1913 года, на которой при деятельном участии русского правительства было решено удовлетворить желания Румынии относительно уступки ей Силистрии и обеспечения безопасности ее дунайской границы, могла служить отправной точкой для всяких дальнейших дружественных шагов.

Первым проявлением возрождавшейся после продолжительного охлаждения русско-румынской дружбы было пожалование Государем королю Карлу фельдмаршальского жезла в память его славного участия в победах наших союзных войск в войне 1877–1878 годов. Блестящая мысль этого пожалования принадлежала императору Николаю, и я мог только отнестись к ней с самым искренним сочувствием, видя в этом самопочинном акте Государя проявление того личного его участия в политике нашего с Румынией сближения, которому я придавал особенное значение. Когда Государь сообщил мне об этом намерении, он прибавил, что желал бы обставить вручение жезла королю особой торжественностью, поручив это вручение одному из членов Императорского дома, но не знал, на ком остановить свой выбор. Зная, по близкому личному знакомству с ним, интерес, который Великий Князь Николай Михайлович издавна питал к вопросам внешней политики, я предложил Государю дать это почетное поручение этому члену его семьи, имя которого было хорошо известно за границей благодаря его

многочисленным трудам по русской истории начала XIX столетия.

Перед отъездом своим в Бухарест Великий Князь заехал ко мне за получением более подробных указаний относительно целей своей командировки, к которой он, как я и ожидал, испытывал самый живой интерес. Так как на него не возлагалось никакой специальной миссии, я мог ограничиться поручением ему быть в Румынии истолкователем тех настроений, которых он не мог не заметить в России и которые сводились к искреннему желанию Государя и императорского правительства поставить наши отношения к ней на более близкую и дружественную ногу, чем они были за последнее время. Наряду с этими общими указаниями я просил Великого Князя, отличавшегося большой любознательностью, не без примеси любопытства, которое он стремился удовлетворить, где бы ни находился, общением с возможно большим количеством лиц разнообразных слоев общества, осведомиться о господствовавших в Румынии настроениях по отношению к нам, проверяя свои впечатления по сведениям, которыми располагал наш посланник Н.Н.Шебеко, успевший создать себе хорошее положение в Бухаресте.

Вернувшись в Петроград, Великий Князь рассказал мне, что король был глубоко тронут оказанным ему Государем вниманием, которое было оценено по достоинству в политических кругах и в общественном мнении страны, и что он считал, что наша попытка завязать более дружественные отношения с Румынией была встречена с искренним сочувствием как правительством, так и широкими кругами румынского общества. Исключением являлась одна консервативная партия, остававшаяся верной своим германским симпатиям. Последнее можно было сказать и о короле, связавшем договорными отношениями судьбу Румынии с судьбой своей германской родины и

этим предопределившим направление своей политики на все продолжение своего царствования. Что касалось до наследника престола и в особенности умной и энергичной его супруги, внучки по матери императора Александра II, а также членов многочисленной либеральной партии с г-ном Братияно во главе, находившейся тогда у власти, то на них, по словам Великого Князя, имевшего случай слышать их откровенные мнения, были явно заметны следы новых веяний, из чего можно было вывести благоприятные заключения для будущности наших отношений с Румынией. В этих сведениях для меня было мало нового, но мне было приятно получить подтверждение из уст человека свежего и не лишённого дара наблюдательности всего того, что доходило до меня по этому поводу из дипломатических источников.

Вскоре после поездки Великого Князя Николая Михайловича в Бухарест в Петрограде состоялось освящение памятника Великому Князю Николаю Николаевичу, бывшему главнокомандующему наших армий в турецкую войну 1877 года. Для сохранения живой памяти нашего братства по оружию в борьбе за освобождение Болгарии Государь пригласил румынский двор и представителей румынской армии принять участие в этом торжестве. С этой целью прибыли в Петроград наследный принц Фердинанд и наследная принцесса Мария с их старшим сыном, 20-летним принцем Карлом, а также и депутаты от разных частей румынской армии. Наследная чета провела около недели в Царском Селе, и за это время я несколько раз имел случай видеть румынских гостей. В связи с их приездом в Россию возникли слухи о возможности помолвки одной из старших дочерей Государя с принцем Карлом. Эти слухи не были лишены основания. По многим причинам этот брак мог быть признан русским двором вполне подходящим, а лично мне он казался, по политическим соображениям, желательным, чего я не скрывал от Государя и императрицы. Их Величества,

не возражая ничего против моих доводов, настаивали только на том, чтобы брак Великой Княжны — тогда говорили главным образом об Ольге Николаевне — состоялся только по более близком знакомстве молодых людей между собой и при непременно условии свободного согласия на него их дочери.

Кто хоть немного был знаком с семейной атмосферой Царскосельского дворца, не мог ожидать ничего другого. В царской семье родителей и детей связывала самая нежная привязанность, и мысль о браке по чисто политическим соображениям или, попросту говоря, по принуждению представлялась всем ее членам совершенно невозможной. По этому поводу мне припоминается разговор, который у меня был с императрицей на брачные темы на террасах Ливадийского дворца и который я привожу, как иллюстрацию ее взглядов на семейные отношения. «Я с ужасом думаю, — сказала мне императрица, — что приближается время, когда нам придется расстаться с нашими дочерьми. Я бы ничего, разумеется, так не желала, как чтобы они и после замужества оставались в России. Но у меня четыре дочери, и это, очевидно, невозможно. Вы понимаете, как трудны браки в царствующих домах. Я знаю это по собственному опыту, хотя я и не была никогда в положении моих дочерей и как дочь Великого Герцога Гессенского мало подвергалась риску политического брака. Тем не менее и мне грозила опасность выйти замуж без любви или даже просто без привязанности, и я живо помню, что я пережила, когда в Дармштадт приехал... — тут императрица назвала члена одного из германских владетельных домов, — и от меня не скрыли, что он имел намерение на мне жениться. Я его совершенно не знала и никогда не забуду, что я выстрадала при первой с ним встрече. Бабушка моя, королева Виктория, сожалелась надо мной, и меня решили оставить в покое. Господь иначе устроил мою судьбу и послал мне семейное счастье, о котором я и не мечтала. Тем более я считаю себя обязанной

предоставить моим дочерям право выйти замуж только за людей, которые внушат им к себе расположение. Дело Государя решить, считает ли он тот или иной брак подходящим для своих дочерей или нет, но дальше этого власть родителей не должна идти». В конце нашего разговора императрица сделала еще одно характерное замечание, чисто практического свойства, которое я привожу, потому что оно указывает на то сильное влияние, которое имело на ее образ мыслей 20-летнее пребывание ее в положении русской императрицы. «Подумайте, — прибавила она, — что означает для русской Великой Княжны выйти замуж за иностранца, даже в самых счастливых условиях. Тут я опять говорю по личному опыту. Сравните, как живут чем пользуются они у себя дома с тем, что в огромном большинстве случаев ожидает их за границей. Как трудно им поэтому решиться променять прежнюю жизнь на новую. Чтобы сделать подобный переход возможным, нужно по крайней мере сильное увлечение».

Эти соображения императрицы были, конечно, не лишены основания. Но с какой холодящей душу иронией отозвались на них события, которых в пору означенного разговора, происшедшего в прелестной рамке благоухающих ливадийских садов, над темной синевою Черного моря, ни императрица, задумывавшаяся над будущностью своих дочерей, ни я, чужой, но преданный и желавший им добра человек, не могли предугадать и в самой отдаленной степени!

Чтобы окончательно наладить начинавшееся улучшение наших отношений с Румынией, нужно было увенчать усилия русской дипломатии в этом направлении поездкой Государя в Румынию для отдачи королю Карлу визита в ответ на состоявшееся уже несколько лет до того посещение им Петергофа. Будучи весной 1914 года в Ливадии, я обратил внимание Его Величества на настоятельную необходимость этой поездки, о

которой он перестал думать под влиянием установившегося в нем убеждения, что на Румынию надо было смотреть не как на независимое, а как на подсобное Тройственному союзу государство.

Я представил Государю мои соображения относительно легкости и удобства, с которыми путешествие в Румынию могло бы быть совершено во время пребывания двора в Ливадии. Из Крыма царская семья могла прибыть морским путем в Констанцу, откуда, если бы свидание должно было бы состояться в Бухаресте, ей было бы уже недалеко до румынской столицы. Если же оно могло произойти в самой Констанце, куда король и королева Румынии обыкновенно ездили каждое лето, то дело обстояло бы еще проще. Государь признал мои доводы убедительными и через несколько дней поручил мне сообщить в Бухарест о своем желании посетить короля Карла в Констанце вместе с императрицей и всеми детьми. По взаимному соглашению свидание было назначено на первое июня.

Я приехал в Констанцу сухим путем из Петрограда незадолго до прибытия туда императорской яхты «Штандарт» и присутствовал на пристани при торжественной встрече царской семьи королем и королевой Румынскими и наследным принцем и всей его семьей. Встреча была радушная и блестящая, с обычными в этих случаях взаимными представлениями, затем следовали парад войск, банкет с обменом теплых приветственных речей и т.д. Государь принял Председателя совета министров Братияно, а король Карл — меня в длительной аудиенции, во время которой он выразил мне свою искреннюю радость видеть у себя Государя и царскую семью. Он говорил об императоре Николае с тем особенным чувством, с которым говорят старики о людях гораздо моложе себя, к которым они питают расположение.

Этот старый, умный Гогенцоллерн, сидевший на престоле чужой и далекой страны, не без гордости оглядывался на свое долгое царствование и на многочисленные труды, положенные им на устройство и развитие своего государства, о благе которого он заботился с чисто германской выдержкой и последовательностью и в германском же духе плотно скрепил связь его со своей старой родиной, за горизонты которой его политический взор мало проникал. Касаясь вопросов современной политики, король Карл спросил меня, предвижу ли я возможность войны в Европе. Было видно, что он относился к этому вопросу с несколько тревожным интересом, что было вполне естественно со стороны Государя, близко стоявшего, в прямом и переносном смысле, к балканским событиям предшествовавших двух лет. Хотя в июне 1914 года и казалось, что Европа благополучно вышла из балканских осложнений, вместе с тем ни у кого из близко стоявших к делам людей не было твердого убеждения, что это благополучие установилось прочно. Все мы знали, что Лондонский и Бухарестский мирные договоры не потушили балканского пожара, а лишь засыпали его дымившиеся остатки, продолжавшие тлеть под слоем пепла и готовые вспыхнуть, если бы до них проникло какое-нибудь свежее дуновение. Но всем хотелось верить в наступающее успокоение, и никто, конечно, не подозревал, что эти тлевшие угли обратятся в течение ближайших месяцев в пожар, которому суждено было захватить весь мир, уничтожить одну половину Европы и разорить другую.

На вопрос короля о возможности европейской войны я сказал ему, что думаю, что опасность войны наступит для Европы только в том случае, если Австро-Венгрия нападет на Сербию. Я прибавил, что во время первой балканской войны я откровенно высказался в этом смысле австро-венгерскому послу в Петрограде графу Турну, а затем и германскому, графу Пурталесу, прося их довести это до сведения своих правитель-

ств. Король ничего на это не возразил и сидел задумавшись. Затем он проговорил: «Надо надеяться, что она этого не сделает». Я искренно присоединился к этой надежде.

Мое мнение относительно угрозы европейскому миру вследствие покушения венского кабинета на независимость Сербии произвело впечатление на старого короля. Принимая через несколько дней после свидания со мной австро-венгерского посланника в Бухаресте графа Чернина, бывшего впоследствии недолгое время министром иностранных дел, король передал ему дословно мое замечание. В своих воспоминаниях, изданных в 1919 году под заглавием «Im Weltkriege», Чернин останавливается довольно подробно на этом эпизоде, о котором он немедленно известил венское правительство. В виде личного комментария Чернин прибавляет, с той своеобразной логикой, которая была присуща старой австро-венгерской дипломатии, что в то время, когда я говорил с королем Карлом, мне, вероятно, уже было известно о каких-то сербских замыслах против Австро-Венгрии.

«Штандарт» простоял в порту Констанцы двенадцать часов и вечером первого же июня отошел с императорской семьей в Одессу после сердечных проводов короля и королевы и всей королевской семьи. Перед отходом яхты я просил Государя разрешить мне провести еще несколько дней в Румынии, так как я собирался, по приглашению г-на Братияно, съездить в Бухарест, чтобы познакомиться с остальными членами румынского правительства и иметь случай поговорить о делах вне суеты официального приема с нашим незадолго перед тем назначенным посланником С.А.Поклевским.

На следующий день по отплытии Государя я завтракал у короля в маленьком павильоне, построенном на краю далеко вдающегося в море мола, в котором жила королева Елизавета, не утратившая с сединой поэтического дара и любившая

прислушиваться к плеску морских волн. О политике не говорили из-за присутствия дам, но вспоминали о прошлом и делали планы на ближайшее будущее. Королева рассказывала о том, как она, будучи молодой девушкой, гостевала в России у своей тетки, Великой Княжны Елены Павловны. Эта замечательная женщина оставила по себе глубокий след в общественной и культурной жизни нашей Родины тем горячим участием, которое она принимала в деле освобождения крестьян, а равно и покровительству, оказанному ей русской науке и искусствам в первую половину царствования императора Александра II. Говоря о Великой Княгине, королева называла многих из выдающихся деятелей этой приснопамятной эпохи, для которых Михайловский дворец служил общественным и умственным центром и из которых я лично знал еще в мои молодые годы довольно многих. Планы на будущее строили, что было вполне естественно, молодые члены королевской семьи, главным образом наследная принцесса, со свойственным ей оживлением говорившая о предстоявшей ей осенью, по приглашению Государя и императрицы, поездке со старшим сыном на более или менее долгое пребывание в Ливадию, которой она, как и вообще всем Крымом, очень интересовалась. Вместо этой поездки в сентябре 1914 года состоялся прорыв через турецкие проливы двух германских военных судов, а затем — их появление в Черном море, бомбардирование Одесского порта и нескольких городов Крымского побережья, т.е. началась и на южном фронте война, бушевавшая на западных границах России уже более шести недель.

В тот же вечер второго июня я уехал в Бухарест вместе с г-ном Братияно и бароном Ивиллингом, начальником моей канцелярии и ближайшим моим сотрудником, всегда сопровождавшим меня в моих служебных поездках. С нами вместе возвращался в Бухарест и наш посланник Поклевский.

За те два дня, что я пробыл в румынской столице, я часто имел случаи беседовать с г-ном Братияно, который оказался умным и симпатичным собеседником, хотя и более любопытным, чем сообщительным. Хотя мне приходилось при первых приступах к деловым разговорам, дальше которых мы не могли идти при первой встрече, тоже быть довольно сдержанным и не исчерпывать ни одного из затрагиваемых нами вопросов, я тем не менее успел составить себе некоторое представление о личных взглядах главы румынского правительства. Из того, что я слышал от г-на Братияно, мне нетрудно был о установить, что он совершенно освободился от тех предубеждений, которые в течение стольких лет мешали многим из его соотечественников хладнокровно оценивать пользу для себя сближения с Россией в предвидении политических событий, неминуемость которых становилась с каждым годом очевиднее. Я не мог сомневаться, что он ясно сознавал, что дряхлевший австрийский император и дряхлевшая еще быстрее его Габсбургская монархия были плохими союзниками для молодой Румынии, нетерпеливо ожидавшей минуты предъявить свои неоспоримые права на крупную часть австрийского наследства. Братияно отлично понимал, что его отечество могло получить это наследство только при помощи России. Поэтому мы уже тогда могли надеяться найти в нем сторонника нашей политики сближения с Румынией и с ним вместе во многих других видных политических деятелях, из которых одни пошли бы нам навстречу из единомыслия с ним, а другие — из страха быть им опереженными.

Впечатления, вынесенные мной из моей поездки в Румынию, определили по отношению к ней нашу дальнейшую политику, которая с тех пор не уклонялась в сторону от данного ей направления. Мы были только в известности относительно того, насколько мы могли спокойно опереться на г-на Братияно и на тех румынских деятелей, которые были готовы,

по патриотическим соображениям, связать свою судьбу с нами, так как мы не имели достаточно данных для определения их нравственного калибра, фактора, имеющего в политике не меньшее значение, чем во всякой иной деятельности. С этой стороны нам предстояло ознакомиться с ними позднее, в течение великой войны, еще в то время сокрытой от нашего взора, несмотря на ее грозную близость.

В день моего отъезда из Констанцы король Карл сказал мне, что он надеется, что я успею съездить из Бухареста в Синау, летнее местопребывание королевской семьи в Карпатских горах, вблизи от венгерской границы. Чтобы исполнить желание короля, а может быть, чтобы иметь случай ближе со мной познакомиться, Братияно предложил мне совершить вместе с ним поездку в Синау. После осмотра замка, любимого создания короля, построенного в вычурном стиле и не представлявшего художественного интереса, Братияно, желая дать мне более точное понятие о красотах карпатского пейзажа с его великолепными лесами, довез меня до какой-то местности, название которой я забыл, лежащей на самой границе. После минутной остановки наш автомобиль, к немому удивлению гонведной стражи, быстро переехал пограничную черту, и мы углубились на несколько верст в венгерскую территорию. Когда мы вступили на почву Трансильвании, у нас обоих, вероятно, промелькнула в голове одна и та же мысль, а именно, что мы находились на румынской земле, ожидавшей освобождения от мадьярского владычества и воссоединения с зарубежным братским народом. Но мы не обменялись этими мыслями, потому что пора откровенных бесед для нас еще не наступила.

На другой день после нашей поездки будапештские газеты поместили заметку, в которой выражали свое неудовольствие по поводу прогулки Братияно вместе со мной по венгерской

территории. В Вене, как я узнал впоследствии, наше совместное появление в Трансильвании тоже подверглось осуждению.

Эта трансильванская экскурсия оказалась проявлением, хотя и непредумышленным, зарождавшейся между Россией и Румынией политической солидарности.

Глава VI

Германская угроза на Ближнем Востоке. Отправка из Германии военной миссии в Константинополь. Ее практический смысл

В мае 1913 года в Берлине происходила свадьба единственной дочери императора Вильгельма с герцогом Брауншвейгским, двоюродным братом Государя с материнской стороны. На это торжество были приглашены все ближайшие родственники жениха и невесты. В качестве таковых были приглашены Государь и король Англии, о чем меня известил заблаговременно германский посол, спросивший вместе с тем мое мнение о том, примет ли Государь это приглашение или нет. Я ответил графу Пурталесу, что ничего не могу сказать ему по этому поводу, так как намерения Его Величества мне неизвестны. Через несколько дней Государь сказал мне, что он получил от германского императора приглашение на свадьбу его дочери, но еще не решил, примет ли он его или нет, а императрица ни в каком случае не поедет. «Вас, вероятно, это не удивит», — прибавил Государь, улыбаясь. Я действительно не удивился этому решению императрицы, хорошо зная, как мало влечения она испытывала к своему двоюродному брату Вильгельму II и насколько тягостны ей были всякие официальные торжества у себя дома, а тем более за границей. «Я бы поехал в Берлин, — продолжал Государь, — но ведь и тут приплетут политику. Год тому назад Вильгельм был в Балтийском порту. Теперь новое свидание в Берлине. Не много ли это?» Я ответил, что если свидание в Балтийском порту носило политический характер, то про поездку Государя в Берлин по случаю свадьбы дочери императора, нельзя будет сказать этого, и что предупредив о его решении представителей дружественных правительств во избежание всяких ложных толкований, я мог бы объяснить им, что тут дело шло исключительно

но о торжестве семейного характера, на котором не могло быть места для политики и на которое я поэтому не должен был сопровождать Его Величество. Я знал, что Государю хотелось повидать своего двоюродного брата, короля Георга Английского, к которому он питал искреннюю дружбу, и я был убежден, что соприкосновение Государя со здоровой политической и семейной жизнью английского двора могло быть для него только благотворно. Помимо этого мне было известно, что чересчур долгое пребывание в Царском Селе в той ненормальной по своей непроницаемости семейной атмосфере, в которую его замкнула болезненная воля императрицы Александры Федоровны, против которой он никогда не боролся, действовала на его нравственное состояние угнетающим образом, несмотря на всю его горячую любовь к семье. Поэтому мне казалось, что короткая поездка за границу, прервав тяжелое однообразие его домашней жизни, могла быть ему только полезна.

Поездка Государя состоялась, и через несколько дней он вернулся из Берлина бодрым и, видимо, довольным. Говоря о своих берлинских впечатлениях, он сказал мне, что ему была оказана в Германии чрезвычайно любезная встреча не только со стороны двора, что было в порядке вещей, но и со стороны населения столицы, приветствовавшего каждое его появление. По своей необычайной скромности, Государь относил сначала громкие приветствия толпы к особе императора Вильгельма, в сопровождении которого он показывался на улицах Берлина, но затем, заметив, что они не прекращались, когда он выезжал один, был вынужден признать, что они относились лично к нему, что произвело на него хорошее впечатление.

Упомянув о своих разговорах с Вильгельмом II, Государь сказал мне, что как-то раз император среди других маловажных предметов коснулся с ним вопроса о посылке в Констан-

тинополь, по просьбе турецкого правительства, новой военной миссии с генералом Лиманом фон Сандерсом во главе, по примеру прежних однородных миссий, уже много лет посланных в Турцию. При этом император сказал, что он надеется, что у Государя против этого не будет возражений. Государь ответил, что если новая миссия не будет отличаться от прежних, то он, само собой разумеется, не будет возражать.

Означенный разговор, казавшийся не имеющим особого значения, не произвел на меня впечатления в минуту рассказа о нем Государя. Однако же он послужил отправной точкой для чрезвычайно острого столкновения между петроградским и берлинским кабинетами, когда нам стал ясен истинный характер меры, принятой германским правительством под безобидным видом посылки в Турцию, по ее просьбе, инструкторской миссии.

Говоря выше о разочаровании, произведенном в Берлине разгромом балканскими союзниками турецкой армии в 1912 году, военное воспитание которой в течение многих лет было поручено известному германскому генералу фон дер Гольцу, я заметил, что, вероятно, тогда же германский генеральный штаб принял решение перестроить на новых началах взятое на себя дело организации турецких военных сил. В Берлине укоренилось убеждение, что для восстановления престижа Германии на Ближнем Востоке, потерпевшего умаления вследствие ярко обнаруженной в балканскую войну неудовлетворительности боевой подготовки турецкой армии, необходимо было, не теряя времени, приступить к преобразованию инструкторского дела, входившего в обязанности германской военной миссии, в смысле расширения его до пределов назначения германских генералов для командования отдельными частями турецкой армии и офицеров в качестве начальников военных школ, советников в генеральном штабе, интендантстве и в военно-

санитарном управлении, не говоря о тех, которые продолжали бы свою специально-инструкторскую службу.

Подробный план этой организации, о котором не было известно ни одному иностранному правительству, был сообщен мне в конце октября 1913 года нашим послом в Константинополе М.Н.Гирсом, узнавшим о его существовании из секретного источника. Нетрудно себе представить, какое впечатление произвел на меня этот шаг германского правительства, имевший очевидной целью взять в свои руки военное управление Константинополем, иными словами, подчинить себе таким способом судьбы турецкой столицы и во всех остальных отношениях, когда бы германское правительство сочло это для себя полезным. Это впечатление усугублялось еще тем обстоятельством, что незадолго перед тем, как германский замысел стал мне известен, я был в Берлине проездом из Виши, где я провел три недели для лечения. По обыкновению, я виделся с германским канцлером и имел с ним подробный разговор по вопросам, касавшимся последних политических событий. В числе этих вопросов нами обсуждался один, который должен был бы навести г-на Бетмана-Гольвега на мысль сообщить мне о намеченной Германией мере, так как он касался внутреннего строя Турецкой империи, а именно вопрос о реформах армянских вилаетов, который был поднят по моему почину и служил предметом деятельного обсуждения между русским и германским правительствами как раз в эту пору. Тем не менее канцлер в весьма продолжительной беседе со мной, ни словом не обмолвился о той неожиданности, которую Германия готовила Европе и прежде всего России, и я возвратился в Петроград, ничего не подозревая о германских планах.

Когда я получил телеграмму Гирса, за отсутствием германского посла, бывшего в отпуске, посольством управлял советник, г-н фон Луциус, который сообщил мне, что ему

решительно ничего неизвестно об условиях, в которых состоялась посылка новой военной миссии в Константинополь, но что он о них запросит свое правительство и сообщит мне его ответ. Хотя фон Луциус не принадлежал к числу людей, которые располагают в свою пользу и внушают к себе доверие даже по довольно продолжительном знакомстве, я тем не менее поверил тому, что он сказал мне, как я бы поверил и графу Пурталесу, если бы и он в данном случае не мог ничего сообщить мне о намерениях своего правительства, ссылаясь на свое полное неведение. Мне давно была известна система германского министерства иностранных дел осведомлять своих представителей за границей только постольку, сколько это было неизбежно для того или иного дипломатического шага, который оно имело в виду им поручить. Из весьма обстоятельного ответа, полученного из Берлина на запрос фон Луциуса, я мог однако убедиться, что сообщенные мне Гирсом сведения были вполне точны и что генералу Лиману фон Сандерсу поручалась не только роль верховного инструктора турецких войск, но непосредственное командование первым турецким корпусом, расположенным в Константинополе. Наш посол в Берлине С.Н.Свербеев тоже не мог дать мне никаких более подробных сведений о командировке Лимана, так как в самом министерстве иностранных дел о ней были плохо осведомлены.

Первое свидание мое с вернувшимся из отпуска германским послом носило довольно бурный характер. Я не мог удержаться от откровенного выражения графу Пурталесу того крайне неприятного впечатления, которое произвело на меня известие о командировке генерала Лимана в Турцию с такими неожиданно широкими полномочиями, и предупредил его о возбуждении, которое оно неминуемо вызовет в нашем общественном мнении и печати, как только получит огласку. Вместе с тем я выразил послу мое удивление по поводу того, что

германский канцлер не предупредил меня во время нашего недавнего свидания в Берлине о предстоявшей командировке Лимана фон Сандерса, характер которой выходил далеко за пределы обычной инструкторской деятельности иностранных офицеров, приглашаемых на службу правительствами государств, нуждающихся в чужой помощи для приведения в порядок своих военных дел. Я прибавил, что не могу себе представить, чтобы в Берлине не отдавали себе отчета в том, что русское правительство не может относиться безразлично к такому факту, как переход в руки германских офицеров командования Константинопольским гарнизоном. Германский канцлер должен был знать, что если есть на земном шаре пункт, на котором сосредоточено наше ревнивое внимание и где мы не могли допустить никаких изменений, затрагивавших непосредственно наши жизненные интересы, то этот пункт есть Константинополь, одинаково открывающий и заграждающий нам доступ в Средиземное море, куда, естественно, тяготеет вся вывозная торговля нашего юга. Графу Пурталесу были хорошо известны усилия, которые я со дня моего вступления в управление министерством иностранных дел прилагал к установлению добрососедских отношений с Германией, которые, по словам императора Вильгельма и государственного канцлера, в одинаковой степени отвечали и желаниям германского правительства. Способ действия Германии в вопросе о военной миссии в Турции находился в прямом противоречии как с той примирительной политикой, которой мы придерживались по отношению к берлинскому кабинету, так и с теми заверениями, которые я только что слышал от самого канцлера в Берлине, и чрезвычайно затруднял мне следование по тому пути, который я избрал и который один мог упрочить европейский мир.

На все эти замечания, которым ему было трудно отказать в основательности, германский посол заявил мне, что посылка генерала Лимана в Константинополь, на тех или иных услови-

ях, входила более в область специально-военных вопросов, чем политических, и потому исходила не от государственной канцелярии, а от военных властей, и поэтому не имела политического характера. Помимо этого, по словам Пурталеса, вопрос о новой германской военной миссии в Турции был обсужден между обоими императорами во время пребывания Государя в Берлине, выразившего на это свое полное согласие. Каково было это «обсуждение» и в какой форме император Николай дал свое согласие на посылку германской миссии в Турцию, я знал из вышеприведенного рассказа самого Государя, который я передал в точности послу. Дальнейшие препирательства с графом Пурталесом становились, очевидно, излишними. Будучи по природе своей человеком довольно мягким, он тем не менее страдал недостатком многих своих соотечественников и был трудно проницаем для доводов противной стороны, исходя из точки зрения, привитой ему прусским служебным воспитанием, что всегда и во всем было право его правительство. Он был склонен забывать при этом, что одной из основных задач всякого дипломатического представителя есть разъяснение своему собственному правительству тех причин и побуждений, которые заставляют иностранное правительство придерживаться других, и часто диаметрально противоположных, взглядов на данный вопрос, т.е., иными словами, быть истолкователем чужих воззрений, а иногда и примирителем, когда этого требовали обстоятельства и когда это не шло вразрез с интересами его родины. Когда дипломатический агент не понимает или не умеет выполнить этой чрезвычайно важной части своей работы, его деятельность не может быть плодотворной, а в минуты серьезных международных осложнений она способна повлечь за собою весьма серьезные последствия.

При таком положении вещей я решил прекратить безнадежные словопрения в Петрограде и постараться достигнуть отмены или смягчения тех условий миссии генерала Лимана,

которые были для нас неприемлемы, прямым воздействием на Берлин. С этой целью, кроме данных нашему послу в Берлине С.Н.Свербееву инструкций в этом смысле, я обратился к тогдашнему председателю совета министров, ныне графу, Коковцову, находившемуся в заграничном отпуске, с просьбой остановиться в Берлине и в личном свидании с императором Вильгельмом и государственным канцлером подробно разъяснить им основательность нашего протеста против командирования в Константинополь генерала Лимана фон Сандерса в тех условиях, в каких оно было намечено германским генеральным штабом. Высокое государственное положение и личные качества графа Коковцова делали его вполне подходящим для такого поручения.

Уполномоченный на то Государем статс-секретарь Коковцов охотно исполнил мою просьбу и не пожалел усилий, чтобы доказать императору Вильгельму, насколько нежелательны и опасны, с точки зрения сохранения добрых отношений между нами и Германией, меры вроде тех, на которых остановилась Германия в вопросе о посылке своей новой военной миссии в Турцию, и какое возбуждение эти меры произвели в русском общественном мнении и печати, в глазах которых, не без основания, переход командования турецкой армией в руки германских офицеров был равносителен установлению в столице Турции германской власти. Чтобы облегчить Германии выход из того тупика, в который завел ее плохо обдуманый шаг генерального штаба, действовавшего в данном случае без ведома государственного канцлера, признавшегося в этом послу Великобритании в Берлине сэру Эдуарду Гошену, В.Н. Коковцов предложил императору поручить германскому генералу командование турецким корпусом в каком-либо другом городе, например, Адрианополе или, по мысли С.Н.Свербеева, в Смирне, если в Берлине уже не считали возможным вернуться к существовавшей в течение двадцати лет системе простого

обучения турецкой армии германскими офицерами, «кончившегося, — перебил его тут Вильгельм II, — для нас полным фиаско».

Разговор с императором велся в весьма дружелюбном тоне. То же можно сказать и про беседу графа Коковцова с имперским канцлером, выразившим ему свое искреннее сожаление по поводу то го, что он не предупредил меня при моем проезде через Берлин об имевшейся в виду мере. Он объяснял эту оплошность тем, что посылка Лимана фон Сандерса представлялась ему естественным продолжением предыдущих командировок германских офицеров в Турцию. Как император, так и канцлер выразили ему желание принять в соображение взгляд русского правительства и одновременно удивление по поводу волнения, вызванного у нас поручением, возложенным на генерала Лимана. Трудно решить, было ли это удивление искренно или нет. Если оно было неподдельным, то это может быть объяснено только особенностями германской государственной психологии.

Что касается разговоров нашего посла со статс-секретарем по иностранным делам г-ном фон Яго и его помощником Циммерманом, по поводу новой германской военной миссии, то они носили характер менее примирительный, что, впрочем, соответствовало темпераменту этих двух ближайших помощников Бетмана-Гольвега, не отличавшихся сговорчивостью. Свербееву пришлось услышать от Яго фразу, к которой этот последний часто прибегал, когда ему бывало трудно найти выход из сложного положения: «Дело зашло слишком далеко, чтобы можно было его теперь изменить». Эту фразу и мне приходилось неоднократно выслушивать, в передаче германского посла, в течение тревожных десяти дней, предшествовавших объявлению нам войны Германией, когда я имел еще убеждение, что слово предостережения, решительно произне-

сенное в Берлине, удержало бы Австро-Венгрию в ее безумном порыве к той пучине бедствий, в которой она сама погибла и куда увлекла за собою всю Европу. Употребляя эту лишнюю смысла фразу, германское министерство иностранных дел не отдавало себе отчета, что в этих словах не заключалось ничего иного, как только признание собственной несостоятельности. В Берлине, очевидно, забыли, что первейшая цель всякой политики, как внутренней, так и внешней, состоит в том, чтобы не дать событиям создать безысходного положения, при котором человеческая воля бессильна управлять ими и когда уже более ничего не остается делать, как смотреть скрестя руки на приближение катастрофы и ждать своей очереди в общем крушении. На этот раз оно еще не наступило. Но явно обнаруженные захватные стремления германской военной политики при полной пассивности гражданского верховного управления приблизили к нему Европу на один крупный шаг.

Тем временем русская дипломатия не оставалась бездейственной, и наши представители во Франции и Англии старались побудить правительства этих стран стать в вопросе о миссии Лимана фон Сандерса на нашу точку зрения. Это удалось им без труда, так как опасность, которая угрожала России от перехода военной власти в Константинополе в германские руки, касалась и их политических и экономических интересов на Босфоре. Мои объяснения в Париже и Лондоне исходили из того, что мне представлялось совершенно недопустимым то положение, в котором бы очутились представители великих держав Тройственного соглашения в том случае, если бы гарнизон турецкой столицы находился под командой германского генерала. Уже не касаясь вопроса достоинства европейских великих держав и связанного с ним престижа их представителей в глазах восточного населения Константинополя, ставился еще вопрос всегда возможной вспышки каких-нибудь непредвиденных внутренних беспорядков, наподобие тех,

которые так часто происходили в Турции за последние годы. В случае обострения отношений между обеими группами европейских великих держав посольства Тройственного соглашения подвергались риску попасть в положение физической зависимости от германского генерала. В лучшем же случае, т. е. при нормальных политических условиях, они находились бы как бы под его охраной и покровительством. Ни то, ни другое не могло быть допустимо.

В наши намерения не входило желания предпринять какие-либо шаги, которые могли быть истолкованы в Берлине как попытка уязвить самолюбие Германии и понудить ее отказаться от миссии своего генерала в форме, несовместимой с достоинством великой державы. Подобного же взгляда придерживались и остальные державы Тройственного соглашения. Поэтому все переговоры, которые по предварительному соглашению между правительствами велись в Берлине их представителями, давали хорошую возможность германскому правительству отойти от незрело обдуманного решения без ущерба собственному достоинству. После переговоров, затянувшихся до нового года, наконец было достигнуто приемлемое для обеих сторон разрешение спорного вопроса посредством производства генерала Лимана в чин, несовместимый с обязанностями корпусного командира, причем командование Константинопольского гарнизона перешло в руки турецкого генерала, а Лиману фон Сандерсу было присвоено звание инспектора турецкой армии. Это новое назначение Лимана очевидно не уменьшало значения его как высшего начальника турецкой армии, и поэтому и в новой своей, смягченной форме было нам неприятно и невыгодно, но дальше достигнутого успеха нам нельзя было идти без риска опасного обострения наших отношений с Германией. Младотурецкое правительство, поставившее себе целью освобождение Турции от иноземной опеки, вместе с тем последовательно шло по пути отдачи себя

в политическом и военном отношении в полную кабалу Германии. Мы с тревогой следили за постепенным поглощением Германией турецкой независимости, выводили из него должные заключения и старались, насколько это было в нашей власти, задерживать течение этого процесса, пытаясь раскрыть глаза туркам на неизбежный его исход в виде окончательного подчинения турецкого народа целям германской политики и полной утраты всякой независимости. Усилия русской дипломатии оставались безуспешными. Заставить турок снять со своей шеи наброшенную на нее германскую петлю было не в наших силах. Интересы младотурецкого правительства уже настолько тесно переплелись с германскими, что разъединить их было невозможно. Участи пангерманизма и молодой Турции было суждено получить свое разрешение в один и тот же день.

Из переданного здесь в весьма сжатом виде эпизода, кончившегося тем, что нам было дано если не по существу, то по крайней мере с внешней стороны удовлетворение, можно было вывести одно достоверное заключение, которое мы и не преминули сделать. Все практическое значение военной миссии генерала Лимана фон Сандерса сводилось для нас к тому, что если у кого-либо в России еще были сомнения относительно истинных целей германской политики на Ближнем Востоке, то обстановка, в которой была задумана и приведена в исполнение означенная миссия, положила конец всяким неясностям и недоразумениям. Константинополь был важнейшим пунктом знаменитой линии Гамбург — Багдад, вокруг которой создавалась обширная литература пангерманского характера, распространенная в огромном количестве в Германии и хорошо известная и за границей. Для подданных Вильгельма II бесчисленные сочинения этого типа играли роль учебников, при посредстве которых совершалось политическое воспитание масс германского народа. Хотя германское правительство и

отрицало всякую прикосновенность к этой литературе, тем не менее основные положения той мировой политики, которую князь Бюлов, более всех своих предшественников, поставил конечной целью германских достижений, не только не находились в противоречии с учением пангерманских профессоров и публицистов, но свободно укладывались в обширные рамки их трудов. При отсутствии внешней объединенности существовало дружное внутреннее сотрудничество, и в вопросе о конечных целях между правительством и народом, воспитанным для восприятия идеалов мировой политики в духе пангерманской публицистики, не было никакого расхождения. Для осуществления известного под сокращенным названием «Гамбург — Багдад» грандиозного политического замысла надо было наложить руку на Константинополь, стоящий на рубеже Европы и Азии и предназначенный природой стать главным распределительным пунктом для того огромного торгового движения, которое неразрывно связывалось с представлением о прямом пути из Немецкого моря в Месопотамию и к Персидскому заливу. Политическое значение Константинополя настолько самоочевидно, что распространяться о нем не приходится. Ввиду этого и в силу старой истины, что политика следует за экономикой, германское правительство было вынуждено обратить свое серьезное внимание на турецкую столицу также и в отношении политическом и успеть сесть там по возможности прочно, прежде чем успело бы обнаружиться опасное соперничество со стороны какой-либо другой державы. Для этого нахождение у власти младотурецкого кабинета Талаата и Энвера предоставляло самый благоприятный момент, который мог не возобновиться и которым надо было поэтому воспользоваться без дальнейших проволочек. Необходимость загладить неудачу прежних германских военных миссий посылкой новой, на иных началах, пришлось как нельзя более кстати, и кроме преобразования турецкой военной

организации в обязанности генерала Лимана фон Сандерса было включено заложение прочного основания германской власти в Турецкой империи.

Русская политика в отношении Константинополя и проливов покоилась искони на одном основном положении: сохранение невыгодного для нас во многих отношениях политического статус-кво или допущение изменения в нем только при непереносимом условии полной гарантии наших неоспоримых прав и жизненных интересов. Всякое среднее решение этого коренного вопроса русской политики считалось у нас настолько недопустимым, что из-за угрозы проливам, с чьей бы то ни было стороны, Россия сочла бы себя вынужденной отказаться от миролюбивой политики, которая отвечала насущным потребностям ее государственной жизни и интересам русского народа.

Со дня захвата Германией власти в Константинополе Россия начала чувствовать себя если не под прямой угрозой со стороны соседней империи, потому что для такой угрозы материальная сила, которой Германия располагала в Турции, была недостаточна, то, во всяком случае, в положении угрожаемом вследствие возможности при всегда вероятных политических смутах на Ближнем Востоке создания такого положения, при котором были бы сметены последние остатки турецкой власти над проливами. Внешняя безопасность Оттоманской империи после балканских войн казалась сомнительной, а внутреннее ее положение благодаря явной неспособности младотурецкого правительства завести в стране какой-либо порядок, основанный на более здравых началах, чем террор, представлялось еще менее надежным. Грозные симптомы приближавшегося разложения Турции, наперед учтенного и уже использованного германским империализмом в собственных видах, вынуждали русскую дипломатию заняться обсуждением тех мер, к кото-

рым Россия могла быть вынужденной прибегнуть, в любую минуту, для защиты своих интересов.

Поздней осенью 1913 года я испросил разрешения Государя созвать в течение зимы совещание с участием морского министра, начальника генерального штаба и их ближайших сотрудников, посла нашего в Константинополе и нескольких моих помощников по министерству иностранных дел для выяснения тех мер, которые русское правительство могло бы наметить на тот случай, если бы обстоятельства вынудили его к наступательному движению в направлении Константинополя и проливов. Это совещание состоялось под моим председательством 8 февраля 1914 года. Из обмена мыслей на совещании прежде всего выяснилось, что членам его наступление на Константинополь представлялось не иначе, как в связи с европейской войной. Вследствие этого вопросы о мобилизации войск, сухопутных и морских перевозках, увеличении нашей судостроительной программы и ускорении ее выполнения, расширении железнодорожной сети и т.д. обратили на себя особое внимание совещания. При этом еще раз обнаружилось, что мы не располагаем средствами для быстрых и решительных мер и что на приведение в исполнение намеченной программы понадобились бы целые годы. Суждения совещания были занесены в протокол и затем представлены мной на утверждение Государя.

Я помню, под каким безотрадным впечатлением нашей полной военной неподготовленности я вышел с этого совещания. Я вынес из него убеждение, что если мы и были способны предвидеть события, то предотвратить их не были в состоянии. Между определением цели и ее достижением у нас лежала целая бездна. Это было величайшим несчастьем России.

Через несколько дней после того, как совещание собралось, несмотря на его секретный характер, оно стало известно

германскому посольству и возбудило в нем большое беспокойство. Дело тайного осведомления было хорошо поставлено германским правительством, которое, обыкновенно, быстро получало секретные сведения через своих негласных агентов. Менее хорошо обстояло дело с выводом правильных заключений из добываемых таким путем сведений. Так, например, в данном случае наше февральское совещание при передаче в Берлин получило окраску заговора против целостности Оттоманской империи и угрозы европейскому миру. Таким оно изображено в многочисленных более или менее официальных изданиях, касающихся предшествовавшей великой войне эпохи, и таким, до сегодняшнего дня, оно рисуется воображению германского правительства и громадного большинства немцев, интересующихся внешней политикой. В этой литературе совещание 8 февраля приводится как доказательство того, что Россия была зачинщицей мировой войны, вызванной ею для завладения Константинополем и проливами. Большевики, оказавшие старой русской дипломатии обнародованием так называемых секретных документов большую услугу, обнаружив перед лицом всего света миролюбие императорской политики и чистоплотность ее приемов, в числе других документов издали и протокол означенного совещания, из которого всякий непредубежденный читатель легко составит себе понятие об истинном значении тех мер, которые на нем обсуждались и которые носили исключительно предварительный характер и имели в виду отвратить от России одну из величайших опасностей, которая могла угрожать ее государственному существованию. Сознание этой опасности если и не в одинаковой с нами степени, то все же под влиянием германской угрозы на Ближнем Востоке весьма живо и реально ощущалось нашими союзниками и друзьями. Непосредственным последствием этого было более тесное сплочение держав Тройственного соглашения для защиты общих интересов от захватных поползно-

вений, выразившихся вполне определенно в миссии генерала Лимана фон Сандерса.

Отношения России и нашей союзницы Франции стояли на твердой почве договорных актов, которыми после подписания морской конвенции 1912 года определялась вся совокупность оборонительных мер, предусмотренных нашим союзным договором. Дополнять или развивать эти отношения в начале 1914 года уже не приходилось. Оставалось только выждать наступления тех роковых событий, в предвидении которых между Россией и Францией были заключены союзные отношения и которые одни могли служить проверкой их целесообразности и практической пригодности.

По отношению к Англии мы находились в совершенно ином положении. Между нами и ею не существовало решительно никакой связи, кроме не касавшегося Европы соглашения 1907 года и начавшего крепнуть только за несколько лет до начала мировой войны сознания солидарности наших интересов ввиду той опасности, которая надвигалась со стороны центральноевропейских держав. Германская «мировая политика», которая пропагандировалась с беспримерной энергией и всеми способами и нередко находила свое выражение в неосторожных проявлениях официальной мысли, была непримирима с существованием независимых государственных единиц на континенте Европы, но в еще большей степени с существованием великих империй, простиравшихся далеко за пределы Европы и захвативших огромные пространства других частей света. Таких государств было в Европе три: Англия, Россия и Франция. В этом факте заключается объяснение зарождения и развития идеи Тройственного согласия и превращения его наконец в ядро величайшего политического союза, известного в истории человечества. С этим союзом Германии неизбежно было суждено вступить в борьбу не за свое существование,

которому Тройственное согласие не угрожало, а из-за проведения в жизнь своего гигантского плана мирового владычества.

Появление на Босфоре в условиях еще небывалых полномочий германской военной силы послужило для России тем решающим моментом, который принудил ее искать сближения с Великобританией в форме более конкретной, чем неопределенное сознание общей с ней опасности. Русскому правительству стало ясно, что при наступлении известных событий, вошедших с этого момента в область политической возможности, союз наш с Францией, морские силы которой не многим превышали наши собственные, не мог считаться достаточным обеспечением наших интересов, и что одна Англия могла дать нам ту поддержку, которая во всякой продолжительной и тяжелой борьбе дает окончательный перевес той стороне, в руках которой находится господство над морями. Ввиду сознания этой неоспоримой истины и в убеждении, что казавшаяся все более возможной и близкой борьба с Германией выйдет из рамок сухопутной войны на границах России и Франции, императорское правительство стало стремиться к заключению с Англией если не формального союза, которого не могла добиться ее ближайшая соседка Франция, то по крайней мере такого соглашения, на основании которого при наступлении известных обстоятельств нам могла быть оказана со стороны Англии не случайная, а наперед предусмотренная и планомерная морская помощь. Такое соглашение могло бы принять форму условной военной конвенции, которая была заключена между французским и английским генеральными штабами в ноябре 1912 года на тот случай, если бы французское и британское правительства признали необходимость совместных действий против Германии, и которая поэтому не имела никакого политического характера.

Весна 1914 года была в отношении нашего положения в Черном море довольно тревожной порой. Младотурецкое правительство обнаруживало серьезное желание привести в порядок морские силы Турции и с этой целью пригласило на свою службу английского адмирала Лимпуса и нескольких морских офицеров, которым было поручено командование турецким флотом, при выговоренном англичанами условии неучастия их в военных действиях флота. Передача в руки англичан турецкого флота была, между прочим, официально истолкована германским правительством как прецедент, оправдывавший назначение генерала Лимана фон Сандерса и других германских офицеров на должности командиров отдельных частей турецкой армии. Аналогия между этими двумя фактами была, разумеется, лишь чисто внешняя, потому что боевое значение турецких сухопутных и морских сил было несоизмеримо, уже не говоря о том, что при существовавших между нами и Англией дружественных отношениях мы могли быть вполне уверены, что организационная работа адмирала Лимпуса не будет преследовать враждебных нам целей. Тем не менее возможное усиление боевого значения турецких морских сил озабочивало наше морское министерство, тем более что ему было известно, что турецким правительством было сделано несколько крупных заказов английским судостроительным обществам и что, помимо этого, в Константинополе прилагались все усилия, чтобы приобрести принадлежащие одному южноамериканскому государству боевые суда значительной силы. Все это вместе взятое могло привести к невыгодному для нас нарушению равновесия морских сил в Черном море, где строившиеся в Николаеве и Херсоне русские дредноуты не могли быть готовы ранее довольно отдаленного срока.

Морское соглашение с Англией было ввиду этих обстоятельств чрезвычайно желательно. Приезд короля и королевы Англии в Париж в мае 1914 года в сопровождении министра

иностранных дел сэра Эдуарда Грея послужил поводом для первого обмена мыслями между французским и британским министрами и послом нашим А.П.Извольским о желательности соглашения между нами и Англией, подобного вышеупомянутому англо-французскому соглашению. Это было не более как нащупывание почвы, и в случае благоприятного ответа со стороны Грея переговоры должны были быть перенесены в Лондон и вестись графом Бенкендорфом непосредственно с британским правительством.

Как ни ценен был, в моих глазах, наш политический союз с Францией и какое бы значение ни имели установившиеся между нами и англичанами в 1907 году дружественные отношения, приведшие к созданию Тройственного согласия, я не мог не сознавать недостаточности такого политического сочетания с точки зрения обеспечения европейского мира. По мере того, как, на мой взгляд, увеличивались возможности европейской войны, т.е. как мне становилась яснее полная солидарность германских и австро-венгерских интересов на Балканах и на всем Ближнем Востоке, впервые обнаружившаяся во время присоединения Эренталем Боснии и Герцеговины, которое состоялось при открытой поддержке германского правительства, принявшей форму ультиматумного заявления 1909 года, я все более проникался убеждением в необходимости превратить Тройственное согласие в Тройственный союз, в котором я видел единственный противовес Тройственному союзу центральных государств. Тройственный союз России, Франции и Англии представлялся мне основанным на чисто оборонительных началах, ограждавших Европу от постоянной опасности, вызываемой неумелыми поползновениями недобросовестных австро-венгерских политиков, а равно и властолюбивых замыслов пангерманизма. Этот новый Тройственный союз должен был, по моему мнению, отнюдь не иметь характера секретного акта, а быть обнародованным в день его подписа-

ния, чтобы осведомить европейские правительства и общественное мнение об истинном его значении и избежать таким образом всяких неправильных толкований его задач и целей. Я не мог, к несчастью, сделать означенную мысль предметом прямых переговоров между нами и державами Тройственного соглашения, потому что имел уверенность что несмотря на сочувственное отношение Франции, они были бы обречены на неизбежную неудачу. Тем не менее я не скрывал от представителей Франции и Великобритании моего взгляда на недостаточность Тройственного соглашения при том опасном мировом соревновании, на путь которого стала Европа со времени возникновения германских стремлений к континентальной гегемонии. Принципиально со мной соглашались, но признавали мое желание неосуществимым ввиду безнадежности всякой попытки побудить английское общественное мнение отказаться от своего векового предубеждения против европейских союзов.

В письме, которое я писал А.П.Извольскому в марте 1914 года относительно выраженного им предположения о возможности приурочения приезда английской королевской четы с сэром Э.Греем в Париж к первому обмену мыслей о морском соглашении между нами и Англией, есть следующее место, которое я привожу, потому что оно в нескольких словах передает мысль о желательности более тесной связи между державами Тройственного соглашения: «По этому поводу считаю долгом сказать Вам, что дальнейшее укрепление и развитие так называемого Тройственного соглашения и, по возможности, превращение его в новый Тройственный союз представляется мне насущной задачей. Вполне обеспечивая международное положение России, Франции и Англии, такой союз ввиду отсутствия у названных держав завоевательных замыслов не угрожал бы никому, а являлся бы лучшим залогом сохранения мира в Европе».

Парижские разговоры между г-ми Пуанкаре, Думергом, сэром Э.Греем и Извольским установили вполне определенно принципиальное согласие англичан на заключение между нами морского соглашения по примеру того, которое существовало у них с французами. Британский министр иностранных дел заявил о своей готовности обсудить этот вопрос на заседании кабинета и затем приступить к осуществлению соглашения посредством переговоров с русским послом в Лондоне при техническом участии английского главного морского штаба и нашей морской агентуры. Таким образом, дело было, казалось, налажено, и нашему морскому агенту в Лондоне, капитану Волкову, были даны из Петрограда соответствующие инструкции. Для подписания акта конвенции английское правительство имело намерение послать в Петроград адмирала британской службы, принца Людовика Баттенбергского, женатого на старшей сестре императрицы Александры Федоровны. В Англии рассчитывали, что командировка принца в Россию не возбудила бы ни особого внимания в печати, ни подозрительности иностранных правительств благодаря близким родственным отношениям между ним и императрицей.

Это происходило в последних числах мая 1914 года. Командировка принца Баттенбергского в Петроград должна была состояться в августе, а первого августа, по новому стилю, разразилась над Европой та буря, которая унесла не только несколько миллионов человеческих жизней, но и низвергла могущественные престолы и потрясла до основания великие империи.

Глава VII

Вопрос об армянских реформах

Весной 1914 года двор провел около двух месяцев в Ливадии. Поездки императорской семьи в Крым стали повторяться ежегодно, а иногда совершались и по два раза в год, весной и осенью, в зависимости от состояния здоровья Цесаревича, который лечился там евпаторийскими грязями, привозимыми морем в Ливадию, где ему устраивали из них ванны на одной из залитых солнцем террас Ливадийского дворца. Это лечение вместе с теплым морским воздухом Крыма укрепляло здоровье наследника и действовало благотворно на местные проявления органической болезни, с которой он явился на свет. Этого было более чем достаточно, чтобы Государь и императрица старались проводить в Крыму возможно долгое время. Здоровье единственного сына было предметом их неусыпных забот, и гнетущее чувство страха за его жизнь, хотя оно и переносилось ими мужественно и таилось глубоко в себе, бросало черную тень на их безоблачное семейное счастье. Под благотворным влиянием пребывания в Крыму Цесаревич неизменно чувствовал себя крепче и бодрее, и у его родителей на время утихала острая тревога о будущем сына и наследника престола и зарождалась надежда увидеть его взрослым и если и не здоровым, то по крайней мере жизнеспособным человеком.

По давно заведенному обычаю, султан по вступлении своем на престол отправлял особое посольство в Ливадию, когда русский двор прибывал туда на более или менее продолжительное пребывание, для приветствия Их Величеств.

В мае 1914 года султан Махмуд V послал с этой целью в Крым министра внутренних дел Талаат-бея и генерала Иззет-пашу. Я приурочил свою служебную поездку в Крым ко времени прибытия в Ялту турецкого посольства. За время двух-

дневного пребывания послов в Крыму мне пришлось почти постоянно быть с Талаатом и его товарищем. Это дало мне возможность познакомиться, до некоторой степени, с этим человеком, которого без преувеличения можно назвать одним из величайших злодеев всемирной истории.

Прибывший в Ялту по случаю приезда посольства наш посол в Константинополе М.Н.Гирс, хорошо знавший Талаата благодаря своим служебным сношениям с младо-турецким правительством, в котором наряду с военным министром Энвером Талаат играл самую видную роль, предупредил меня, что из всего того, что скажет мне Талаат, мне не следовало верить ни одному слову. Это предостережение вполне соответствовало всему, что мне было известно об этом человеке, и поэтому я внутренне желал бы, чтобы он был со мной по возможности малообщителен. Тем не менее он интересовал меня, и в эту пору даже более, чем когда-либо, потому что мне хотелось хоть поверхностно узнать человека, от доброй или злой воли которого зависела судьба армянских реформ, начатых незадолго перед тем по почину русского правительства и в благополучном проведении которых я принимал активное участие.

По внешности Талаат показался мне чистейшим туранцем. Он был среднего роста, но сильного сложения, с широким скуластым лицом; из-под низкого лба беспокойно смотрели умные карие глаза, старавшиеся глядеть приветливо. Его товарищ, Иззет-паша, казалось, менее заботился о впечатлении, которое он производил на чужих людей в новой для него обстановке, и обнаруживал свойственное людям Востока безразличие, невольно располагающее европейцев в их пользу.

Я присутствовал на их приеме в Ливадийском дворце и внимательно следил за впечатлением, которое производили на Талаата естественность и простота обращения, которыми в такой высокой степени отличался император Николай II. Лицо

Иззета не выражало ничего, кроме спокойной почтительности, свойственной восточным людям перед земным величием. На более подвижном и выразительном лице Талаата я заметил следы некоторого смущения и робости, которые нередко проявляют люди грубые и беззастенчивые, когда попадают в хорошее общество.

Отвечая на приветствия послов, Государь сказал им, что он рад видеть у себя чрезвычайное турецкое посольство, что питает как к султану, так и к турецкому народу дружественные чувства и искренно желает им благополучия и процветания. Государь прибавил, что он ничего не ожидает от турецкого правительства и желает только одного: чтобы оно оставалось хозяином в своем собственном доме и не передавало своей власти в чужие руки, чем, по его мнению, лучше всего были бы обеспечены добрососедские отношения между Россией и Оттоманской империей.

Государь ограничился этим намеком, ясно понятым турецкими послами, на неудовольствие, вызванное у нас чрезвычайными полномочиями, данными военной миссии генерала Лимана фон Сандерса. В дальнейших разговорах с ними я коснулся этого вопроса и высказал им с полной откровенностью мой взгляд на опасность, которую представляло, с точки зрения интересов самой Турции, внедрение иностранной власти в самом сердце Турции, которая благодаря этому подвергалась риску лишиться возможности свободного распоряжения своей судьбой и стать к Германии в полувассальные отношения.

Все, что говорил и писал мне М.Н.Гирс и что мне было известно из других источников о Талаате и его младотурецких сподвижниках, указывало на то, что, несмотря на их нестесняемое никакими нравственными соображениями честолюбие, младотурки по-своему были горячими патриотами и стреми-

лись стряхнуть те многочисленные ограничения своего государственного самовластия, к которым привели их столетия борьбы с христианской Европой. Ввиду этого я мог надеяться, что приведенные мной доводы произведут некоторое впечатление на послов, если соображения личной выгоды еще не связали их бесповоротно с Германией. Случилось ли это уже в то время или еще нет, мне не было известно тогда. У меня оставался еще другой, более веский аргумент, всегда имевший должное действие на турецкое правительство, а именно скрытая угроза репрессалий со стороны России, которой турки боялись больше всего на свете, считая ее самым опасным своим врагом. Но к этому аргументу я мог прибегнуть только в самой осторожной форме, т. к. он был обоюдоострым оружием, пользоваться которым приходилось с величайшей осмотрительностью. К тому же в данную минуту, следовавшую непосредственно за сближением между Германией и Турцией, так ярко выразившимся в миссии Лимана в Константинополь, Турция более чем когда-либо имела основание рассчитывать на поддержку германского правительства в случае сильного давления на нее со стороны России. Наши союзники и друзья преследовали, как было указано выше, свои собственные цели и были для нас в Константинополе ненадежными помощниками. Мы стояли поэтому по отношению к туркам в полном одиночестве, что было им известно не хуже, чем нам самим. Оставались, таким образом, одни убеждения, оружие везде слабое, а на Востоке абсолютно непригодное. Более действенное средство, в виде усиления наших войск на малоазийской границе, одна возможность которого приводила в смущение французское и английское правительства, хотя бы оно не преследовало никаких наступательных целей, надо было приберечь на случай окончательной неудачи переговоров, которые мы вели в эту пору при участии Германии с турецким правительством относительно введения реформ в армянских

вилаетах. В данном случае оно было бы неприменимо, кроме того, потому, что будучи направлено против Германии столько же, сколько и против Турции, оно могло бы повести к европейской войне, не говоря о том, что вопрос о германской военной миссии уже успел выйти из острой своей фазы и вступить в затяжную. Нашей прямой задачей поэтому было, так сказать, капсулировать миссию генерала Лимана и тем предотвратить возможность дальнейшего развития ее значения в нежелательном для нас смысле.

Политические разговоры с Талаатом и Иззетом были нелегки. Они выслушивали с большим вниманием все, что мы им говорили, сами не высказывая никаких мнений и ссылаясь на свою неосведомленность в вопросах внешней политики, которой будто бы ведал великий визирь, Саид-Халим, не игравший, как мы знали, ровно никакой роли в правительстве, где все решалось исключительно голосами Талаата, Энвера и Джемала, главарями партии Единения и Прогресса.

В вопросе о проведении армянских реформ, которому я придавал очень большую важность из-за того значения, которое имело его благополучное завершение в глазах многочисленного армянского населения наших пограничных с Турцией областей, Талаат-бей был, если это возможно, еще более сдержан и осторожен, чем в вопросе о германской военной миссии. Русский почин в реформе армянских вилайетов был особенно неприятен младотурецкому правительству, смотревшему на него как на посягательство иностранной власти на государственную независимость Турции. Тут я не мог рассчитывать ни на какое содействие младотурок, питавших к своим армянским соотечественникам глубокую ненависть и неискоренимую подозрительность. Единственно, чего мне хотелось достигнуть в моих беседах с Талаатом, было вселить в него убеждение, что мы смотрим чрезвычайно серьезно на армян-

ский вопрос и что мы твердо намерены неослабно наблюдать за проведением в жизнь реформ, гарантировавших турецким армянам человеческое существование.

Я не имею возможности сказать, произвели ли мои разговоры должное действие на Талаата и убедили ли они его в необходимости избегать опасности столкновения с Россией, к которому должен был привести ее, рано или поздно, отказ от независимой национальной политики и полное подчинение указаниям из Берлина. То немногое, что я слышал от него в ответ, звучало дружественно и как будто указывало на желание считаться с нашими предостережениями, но было ли оно искренно, мне было решить трудно. Зная нравственное обличье этого человека, я склонялся к тому, что в обстановке нашего крымского свидания ожидать от него правды было еще гораздо труднее, чем во всякой другой, когда он не ощущал на себе никаких внешних стеснений и мог дать полный простор тому цинизму, который сделал его предметом ужаса и ненависти в глазах его собственных соотечественников. Для психологического анализа не было времени, и мне приходилось судить о Талаате по тем готовым данным, которыми я мог располагать.

В день своего отбытия Талаат и Иззет пригласили меня и моих сотрудников, а также нескольких лиц свиты Государя обедать на яхте султана, стоявшей на якоре в ялтинском порту. Во время обеда Талаат, сидевший рядом со мной, говорил мало и казался чем-то озабочен. К самому концу обеда и незадолго перед тем, как я хотел вернуться с яхты на берег, он склонился ко мне и сказал очень тихим голосом, чтобы не быть услышанным другими: «Я должен сделать вам серьезное предложение. Не хочет ли русское правительство заключить союз с Турцией?». Я должен признаться, что это предложение застигло меня врасплох. Я ожидал чего угодно, кроме предложения

союза от Талаата. Справившись со своим изумлением, я спросил у него: «Отчего вы оставили ваше предложение до последней минуты, когда у вас было столько случаев сделать его раньше?». Талаат ответил мне, что обсудить его теперь, конечно, уже не было времени и что ему хотелось только знать, как бы я взглянул на возможность подобного союза. Я сказал ему, что наш посол в Константинополе вернется к своему посту через три дня. Мне не оставалось ничего другого, как поручить ему подробно обсудить сделанное мне турецкое предложение, которого я принципиально не отвергал, хотя и думал, что о серьезных вещах следует говорить весьма серьезно, с чем Талаат, по-видимому, согласился.

Вернувшись домой, я обсудил еще в тот же вечер с М.Н. Гирсом сделанное мне Талаатом так неожиданно предложение, которого он, также как и все остальные русские гости на султанской яхте, не слышал, так как сидел за столом не с ним, а рядом с Иззетом-пашой.

Михаил Николаевич, давно и хорошо знающий ту специальную политическую атмосферу, которая составляет особенность Константинополя и с которой можно освоиться только после долгого пребывания в турецкой столице, не скрыл от меня своего удивления как по поводу самого предложения Талаата, так и по поводу того способа, которым оно было сделано. Вместе с тем он сказал мне, что он, однако, не решился бы сразу отнестись к предложению Талаата как к вещи, не заслуживающей никакого внимания, так как ему было известно, что среди членов младотурецкой партии были люди, которые склонялись искать обеспечения независимости своей страны в сближении ее с Россией. Эти люди были те, которые тяготились более других возраставшей зависимостью своего правительства от Германии и которые были бы рады новой ориентации турецкой политики, в которой они усматривали

возможность выхода из-под тяготевшей над ними опеки. Гирсу казалось возможным, что и Талаат начинал почему-либо ощущать неудобство германской опеки и придумал сближение с нами как способ ее с себя стряхнуть. Все это можно было узнать и проверить только в Константинополе, чем он и собирался заняться тотчас по возвращении туда.

Я оставался в Крыму лишь несколько дней после отъезда турецкого посольства и затем вернулся в Петроград в ожидании разъяснений М.Н.Гирсом ялтинской загадки. Прошло недели две, прежде чем я получил от него письмо, из которого мне стало ясно, что было бы напрасно ожидать продолжения начатого с турками в последнюю минуту разговора на тему о сближении с Россией. Младотурецкий кабинет, очевидно испугавшись сам смелости своего почина, решил сойти с того пути, на который его хотел поставить Талаат, а может быть, германское посольство, узнав о его попытке найти у нас противовес своему влиянию, быстро положило конец всем подобного рода поползновениям. Как бы то ни было, не может быть сомнения в том (и это подтверждается и из других источников) что младотурки не без колебаний окончательно связали свою судьбу с Германской империей, в несокрушимой мощи которой их уверил германский посол, барон Вангенгейм, и военная миссия генерала Лимана фон Сандерса. В эту несокрушимость верили, пожалуй, еще тверже, если это было возможно, военный министр Энвер-паша, пользовавшийся за долгую свою службу в Берлине в качестве военного агента особым благоволением кайзера, а равно и весьма многочисленные в турецких военных кругах германофилы.

Как было только что упомянуто, среди тех предметов, которых я коснулся в моих беседах с турецкими послами в Ялте, был и вопрос о проведении реформ в армянских вилайетах в Малой Азии, которому, как я откровенно высказал Талаату, я

придавал особенное значение. На этом вопросе можно было с полной ясностью проследить борьбу политических влияний России и Германии на почве ближневосточных интересов. Ввиду этого я считаю нужным уделить несколько минут внимания сложному и скорбному вопросу об участии армян в пределах Оттоманской империи и о попытке императорского правительства создать для этого христианского народа условия сносного существования.

Наподобие евреев, армяне представляют редкий и противоестественный пример народа без территории. Та горная страна, которая носит историческое название Армении и которая была колыбелью армянского племени, уже давно является родиной для небольшой только его части, теперь еще значительно уменьшенной после того ужасающего истребления, которому турки подвергли армян в Малой Азии во время великой войны 1914 года. Но и ранее этих страшных событий ни в так называемой Русской Армении, ни в турецких вилайетах по ту сторону границы армяне нигде, за исключением нескольких городов, не составляли большинства местного населения.

Вся история армянского народа, начиная с XIII века, когда он подпал под власть сперва сельджуков, затем, попеременно, — монголов и персов, и, наконец, после создания Оттоманской империи в XIV веке он был отдан турками в крепостную зависимость курдским феодальным владетелям, представляет многовековой мученичество. Как ни была полна ужасов история всех христианских народов, подпадавших под власть турок, ни одна из них не может быть сравнима, с точки зрения перенесенных страданий, с историей армянского народа, положение которого было тем более трагично, что он не мог, подобно другим, рассчитывать когда-либо свергнуть иго варваров и организовать свое существование на началах национальной независимости. Для этого у него не хватало главного условия

— собственной территории. Наиболее предприимчивая часть армян ушла в рассеяние и вскоре, благодаря своему трудолюбию и прирожденной деловитости, устроила себе, даже в пределах самой Турецкой империи, вполне терпимое существование, а в иных случаях достигла богатства и власти. Завидная, сравнительно, участь выпала на долю армянского населения, жившего в тех областях России, которые были присоединены к ней после многочисленных побед над Турцией и Персией. Несмотря на некоторые кратковременные проявления бюрократической нетерпимости, вроде лишения армянского духовного управления права распоряжения принадлежавшим ему церковным имуществом из-за подозрения в употреблении его на революционные цели, армяне пользовались на всем протяжении Российской империи покровительством закона и полнотой гражданских прав. Во многих городах Юго-Восточной России они достигли высокой степени материального благосостояния и занимали благодаря этому преобладающее положение в городском управлении, что иногда имело последствием проявление недружелюбия и зависти со стороны других местных элементов.

Все вышесказанное должно быть отнесено лишь к выслывшейся в чужие страны и принявшей чужое подданство части армянского населения или, в лучшем случае, к тем из оставшихся в Турции армян, которые так или иначе успели прочно пристроиться к какому-нибудь торговому или иному делу в Константинополе или одном из других, более крупных городов Европейской или Азиатской Турции, причем многие из них, благодаря принадлежности к армяно-униатскому исповеданию, пользовались особым покровительством со стороны посольств и консульств римско-католических держав, что являлось неоценимым преимуществом во времена армянских гонений.

Что же касается до массы сельского населения, оставшегося в так называемых армянских вилаетах, то его судьба не только не улучшалась с течением времени или сменой правлений и политических режимов, а наоборот, становилась все невыносимее. Сколько бы ни научила терпению армян тяжелая их история, все же и ему стал наступать предел. Полное бесправие и свирепый произвол турецких властей и курдских помещиков, на землях которых армяне несли обязанности крепостной рабочей силы, поддерживали среди них нестихавший ропот, которым пользовались, естественно, для своих целей, как местные, так и зарубежные революционные организации, возникшие на почве этих беспощадных притеснений. На нашем Закавказье существовало несколько групп наиболее крупной революционной организации, известной под названием «Дашнакцютюн», которая содержала своих агентов во всех центрах армянского населения по ту сторону турецкой границы. Деятельность этой организации была известна русскому правительству, которое не без некоторого беспокойства следило за ее развитием, так как следы его неоднократно обнаруживались и в пределах России, среди нашего собственного армянского населения, причем иногда бывало трудно определить, предназначалась ли агитационная деятельность дашнакцютюнцев к вывозу в Турцию или преследовала домашние цели.

Восстание армян в пограничных с Закавказьем малоазийских вилаетах, всегда возможное в силу невыносимых условий жизни армянского населения Турции, грозило зажечь пожар и по ту сторону нашей границы, где многочисленные и зажиточные русские армяне неизбежно оказали бы своим восставшим братьям деятельную помощь в их борьбе с турецкими притеснителями.

Закавказье с его пестрым и плохо замиренным населением представляло опасную почву для всевозможных смут и волне-

ний, и наша местная администрация была крайне заинтересована в том, чтобы пограничные с нами турецкие области не сделались театром вооруженного восстания. Едва ли надо указывать на то, что такое восстание почти неизбежно привело бы к войне между Россией и Турцией, т.е. к таким последствиям, которые русское правительство желало во что бы то ни стало предотвратить.

Из вышесказанного следует, что ни один только гуманитарный интерес к судьбе несчастного христианского населения, как бы жив он ни был, но и желание поддержать порядок на наименее спокойной из наших окраин, привел императорское правительство к сознанию необходимости взять в свои руки почин переговоров относительно проведения коренных реформ в армянских вилайетах. Оно решилось на этот шаг ввиду своей наибольшей заинтересованности в достижении этой цели, а также потому, что ему было хорошо известно, что ни одна другая держава не пожелала бы подвергнуть риску свои добрые отношения с Турцией, подняв весьма неприятный Порте вопрос об осуществлении армянских реформ, несколько раз уже намечавшихся и, по 61-й статье Берлинского договора, принятых ею на себя как обязательство по отношению ко всем великим державам и тем не менее никогда не выполненных по укоренелой привычке всякого турецкого правительства.

Предвидя, что наш почин вызовет неудовольствие и подозрительность берлинского кабинета, который все более входил в роль официального покровителя Турции, и не желая усложнять и без того трудную задачу, взятую на себя Россией, я поручил в конце мая 1913 года нашему послу в Берлине, С.Н. Свербееву, предупредить германское правительство о нашем решении взять почин реформ в духе тех проектов, которые были предусмотрены берлинским договором и турецким законом 1895 года, изданным под давлением держав Трой-

ственного согласия вслед за массовым избиением армян, и к выполнению которого еще не было приступлено. Свербеев должен был разъяснить вместе с тем, что мы стремились избежать всякого соперничества европейских правительств в этом вопросе, объединить обе группы великих держав в общем усилии добиться улучшения положения армянского населения Оттоманской империи путем разумных и справедливых реформ и что беря почин в этом деле, императорское правительство не имело намерения нанести ущерб правам Турции, а желало в ее собственных интересах предупредить возможность опасных осложнений на ее границе.

Французское и британское правительства отозвались сочувственно на наше предложение и дали своим представителям в Константинополе соответствующие инструкции. Послы держав Тройственного союза равным образом получили разрешение принять участие в обсуждении предполагавшихся реформ под следующими условиями: 1) сохранения верховных прав султана над Арменией и 2) участия в совещаниях турецкого представителя.

Отдавая отчет об исполнении возложенного на него поручения, наш посол сообщил мне, что германский статс-секретарь по иностранным делам не выразил сочувствия нашему намерению, хотя и признался, что и до Берлина доходили тревожные известия из армянских вилаетов, которые, однако, по его словам, не могли всегда быть проверены. Вопрос о реформах представлялся ему затруднительным, и во многих случаях сами армяне действовали вызывающим образом. К тому же, заботясь об армянах, державам не следовало также упускать из виду интересов курдского населения. Неудовольствие г-на фон Яго, по мнению нашего посла, объяснялось тем, что германское правительство, по-видимому, само имело намерение в той или иной форме поднять вопрос об

армянских реформах, и поэтому не могло быть довольно, видя, что мы предвосхитили его планы. Неожиданный интерес Германии к армянам объяснялся тем, что, не желая возбуждать раздражения турок чересчур широкими реформами, берлинский кабинет вместе с тем был не прочь снискать расположение армян, которые являлись в Турецкой империи одним из наиболее ценных в культурном и экономическом отношениях факторов.

Русский почин в вопросе об армянских реформах сразу изменил отношение германской дипломатии к этому вопросу. Вместо поощрения Германия стала обнаруживать желание доказать армянам, что без опоры из Берлина им никогда не достигнуть осуществления их желаний, и начала тормозить дело реформ тем, что предупредила великого визиря о предстоявшем русском почине.

Тем не менее в Константинополе все же собралась международная комиссия для разработки армянских реформ. Составленный по поручению посла первым драгоманом русского посольства А.Н.Мандельштамом проект этих реформ был внесен в конце июня в комиссию, заседавшую в доме австро-венгерского посольства в Ени-Кее. Основные черты русского проекта сводились к тому, что из шести так называемых армянских вилаетов была составлена, в административном отношении, одна провинция, поставленная под управление христианского генерал-губернатора, назначаемого султаном на пять лет с согласия великих держав. В его руках была сосредоточена вся исполнительная власть. Наряду с ним избираемое по ровну из христиан и мусульман провинциальное собрание должно было исполнять законодательные обязанности в вопросах местного значения. Выработанные им законы утверждались или отвергались властью султана. В вилаетах и санджаках были предусмотрены административные советы, также

составленные поровну из христиан и мусульман, избранных населением. С точки зрения свободы вероисповедания, правосудия, народного образования, воинской повинности, земле- владения и землепользования, а также финансового обложения русский проект предоставлял армянскому населению вполне достаточные гарантии, из которых главная состояла в том, что выполнение всех означенных пунктов реформы обеспечивалось контролем великих держав.

С первого же заседания комиссии стало очевидно, что работы ее обречены на неудачу. Невозможность согласовать точку зрения русского проекта, поддерживаемую Францией и Англией, с требованиями Германии и ее союзницы Австро- Венгрии, преследовавших цели, несовместимые с этим проектом, свела дальнейшие заседания комиссии к одним словопрениям, бесплодность которых действовала угнетающим образом на тех из ее членов, которые смотрели серьезно на ее задачи и искренне желали заблаговременными реформами предупредить возможность нового кровопролития в несчастной стране, коренное население которой периодически подвергалось самому безжалостному истреблению. Через несколько дней после открытия заседаний комиссии русское правительство получило через германское посольство в Петрограде ноту, в которой сущность русского проекта подвергалась критике и которая кончалась выражением пожелания, чтобы державы в вопросе армянских реформ «считались, в одинаковой мере, с желаниями Турции».

После восьми заседаний Ени-Кейская комиссия была вынуждена прекратить свои работы за полной бесцельностью их продолжения. Каждый из пунктов русского проекта вызывал определенно отрицательное отношение германского представителя, и проект в том виде, в котором он оказался после внесенных в него немцами бесчисленных изменений, утратил

всякий смысл и практическое значение. Надо было положить конец этой недостойной комедии.

Между тем положение в армянских вилайетах не только не улучшалось, но послы великих держав в Константинополе ежедневно получали от подведомственных им консулов донесения о непрекращавшихся насилиях турок и курдов над армянским населением. Турецкое правительство не только не препятствовало этим бесчинствам, но под рукой их поощряло, а германское посольство в Константинополе смотрело на них равнодушным оком.

Не добившись толку в Ени-Кейской комиссии, русское правительство решило не останавливаться перед этой неудачей, а стараться иными путями достигнуть поставленной себе цели установления европейского контроля над действиями турецкой администрации в армянских вилайетах.

Для этого министерство иностранных дел поручило русскому послу в Константинополе договориться непосредственно с германским послом, бароном Вангенгеймом, относительно совместной выработки программы необходимых реформ. Такая программа, хотя и не без труда, была выработана и сводилась к следующим основным пунктам: 1) вместо одной области армянские вилайеты были разделены на две части, с назначением Портой во главе каждой из них генерального инспектора из христиан иностранных подданных, по рекомендации держав, с правом отозвания всех должностных лиц, самостоятельного назначения на низшие должности и представления кандидатов на высшие административные и судебные должности для утверждения султаном; 2) создания в каждой части собрания из местных христиан и мусульман поровну; 3) равное распределение всех должностей между христианами и мусульманами; 4) признание за державами права наблюдения за применением реформ, послами — в

Константинополе и консулами — на местах; 5) заявление Порты о своем намерении согласоваться с державами по вопросу о введении дальнейших реформ в армянских вилайетах⁵. Эти пункты были приняты великими державами без возражений.

Хотя программа реформ и вышла значительно суженной из германо-русской переделки, она была тем не менее приемлема для русского правительства, так как даже в этом несовершенном виде вносила существенное улучшение в быт армян турецких подданных. В моих глазах признание Портой принципа европейского контроля над действиями турецкой администрации было существеннее подробной разработки отдельных пунктов административной реформы, применение которых все равно легко могло бы давать, даже при самых благоприятных обстоятельствах, повод к препирательствам между державами и Портой. Несмотря на все свои недостатки, укороченный проект все же отвечал своей главной цели тем, что полагал конец бесконтрольному хозяйничанию в армянских вилайетах грубой и подкупной администрации и необузданному произволу местного мусульманского населения.

Этот проект должен был служить первым шагом на пути введения основных начал гражданской жизни среди несчастного христианского населения, вынужденного жить долгие века наперекор всем Божеским и человеческим законам. За этим первым шагом должны были неминуемо последовать дальнейшие, и перед армянами наконец раскрылась бы возможность более мирного и обеспеченного от внешнего насилия существования.

5 А.Н.Мандельштам. *Le sort de l'Empire Ottoman*. Payot. Paris, 1917.

Мы знаем, что, к несчастью, этой возможности не было суждено осуществиться и что вместо получения ожидавшегося избавления армянский народ должен был внести в общую массу человеческих бедствий, вызванных великой войной, еще свою огромную долю неопишуемых страданий.

Несмотря на нескрываемую злую волю, с которой турецкое правительство отнеслось к тому скромному проекту, на который русской дипломатии удалось вырвать согласие германского правительства, и на всевозможные затруднения и препятствия, которые оно чинило их принятию, нашему повенному в делах, Гулькевичу, посчастливилось довести дело армянских реформ до конца, и в начале 1914 года им и великим визирем было подписано соглашение, текст которого затем был сообщен всем великим державам.

Ко всему сказанному остается в заключение прибавить, что дав свое согласие на совместную выработку проекта реформ германским и русским послами в Константинополе, берлинский кабинет не только не сделал ничего для того, чтобы поддержать этот проект перед Портой, а наоборот всеми силами тормозил его принятие, и что подпись германского представителя не значится на акте 8 февраля 1914 года, превратившегося из русско-германского проекта в русско-турецкое соглашение.

Когда я восстанавливаю в моей памяти долгие перепитии, предшествовавшие подписанию армянского соглашения 1914 года, мне приходит на ум разговор, который у меня был осенью 1911 года с германским канцлером во время одного из моих кратких посещений Берлина проездом из Франции. Говоря г-ну Бетману-Гольвегу о необходимости более доверчивых отношений, в интересах европейского мира, между германским и русским представителями в Константинополе, я услышал от него следующее замечание, поразившее меня

своею неожиданностью: «Конечно, это было бы очень желательно, тем более что до сих пор мы всегда бывали вами оставляемы без внимания (wir sind immer vernachlässigt worden)». Всякое лицо, даже поверхностно знакомое с дипломатической жизнью турецкой столицы, за десять лет, предшествовавших европейской войне, поймет несурзность этого замечания, хорошо зная, что германские послы в Константинополе, и в особенности знаменитый барон Маршаль фон Биберштейн, играли роль не обыкновенных представителей европейской великой державы, что само по себе было на Востоке очень высоким положением, но, кроме того, — личного представителя императора Вильгельма II, объявившего себя покровителем ислама. Соответственно взятой на себя их государем новой исторической роли, германские послы старались создать себе особое положение среди своих товарищей и обособиться от них, насколько это было возможно, окружив себя особым престижем в глазах турецкого правительства и сведя к неизбежному минимуму свои отношения с местным дипломатическим корпусом. Напомнив об этом г-ну Бетману-Гольвегу, я предоставил ему судить, легко ли было при этих условиях нашим послам в Турции установить необходимую в известных случаях для интересов как наших, так и всей Европы близость с германским представителем. Говоря о недостаточности общения между германскими представителями и их товарищами держав Тройственного согласия, имперский канцлер, может быть, и не кривил душой, но барон Маршаль и барон Вангенгейм имели на этот счет свое особое мнение и мало считались со взглядами своего начальника. Действия германской дипломатии не были во время управления внешней политикой империи г-ном Бетманом-Гольвегом объединены его руководящей волей, и знаменитая немецкая дисциплина, бывшая предметом удивления и нередко зависти других правительств, не распространялась на министерство иностранных дел.

* * *

В первых числах июня, по старому стилю, в Россию прибыл король Саксонии Фридрих-Август. Он приехал благодарить Государя за посылку русской военной делегации на торжества, которыми Германия праздновала в 1913 году столетнюю годовщину Великой битвы народов под Лейпцигом, где союзные державы нанесли тяжелое поражение тогдашнему поработителю Европы Наполеону I и где Россия, выгнав французов из своих пределов, продолжала вести борьбу с «врагом рода человеческого» уже не ради собственного сохранения, а ради избавления от его ига Германии.

Король провел в России два дня и был помещен в большом дворце Царского Села. Его приняли со всем почетом, подобавшим главе древней династии, сыгравшей в истории Европы немаловажную роль и низведенный в разряд второстепенных владетельных домов после объединения Германии под главенством Пруссии.

Кроме обычных придворных торжеств, в честь короля был устроен парад стоявших в Царском Селе гвардейских частей. Смотря на это великолепное зрелище из окон моего летнего помещения в том же дворце, я любовался красотой и удалством наших войск, не подозревая, что через несколько недель этот цвет русского воинства должен будет выступить на защиту России против наступающих армий той страны, к которой принадлежал государь, которого чествовала эта прекрасная и жизнерадостная молодежь. Что случилось с ней? Добрая половина ее сложила свои головы на полях сражений с германским врагом, а другая погибла в еще более ужасной борьбе с внутренней крамолой за честь и свободу родины.

Добродушный и простоватый на вид король с видимым удовольствием следил за этой единственной в своем роде картиной. Я слышал, что еще находясь под впечатлением

лестного и радушного приема, оказанного ему в России, он отнесся, по возвращении в Саксонию, с порицанием к той политике, которая велась германской имперской властью и которая не могла иметь иного исхода, кроме мировой катастрофы. За это следует помянуть его добрым словом.

Глава VIII

Австро-сербское столкновение и возникновение европейской войны. Приезд Пуанкаре в Петроград 7 июня 1914 года. Убийство в Сараеве. Вручение ультиматума Сербии. Моя попытка добиться продления его срока. Австро-германский заговор. Свидетельство секретных дипломатических документов. Результаты развития программы «мировой политики». Международное положение Германии к 1913 году. Ответ Сербии. Обращение королевича Александра к императору Николаю II. Уклонение Англии от решительного выступления. Мирные предложения держав Согласия. Объявление войны Сербии 28 июля. Приказ о мобилизации в Австрии и России. Заявление германского посла в Петрограде. Мобилизация в Германии. Приказ о всеобщей мобилизации в России. Вручение мне ультиматума германским послом

Эта война — величайшее преступление против человечества, когда-либо совершенное. Те, кто в ней виновны, несут страшную ответственность и в настоящее время достаточно разоблачены.

Моя речь в Государственной Думе 22 февраля 1916 года.

В начале января 1913 года председатель совета министров и министр иностранных дел г-н Пуанкаре, был избран в президенты Французской Республики после оставления этой должности г-ном Фальером. Избрание Пуанкаре было принято у нас с удовлетворением и отмечено, по мысли нашего посла в Париже Извольского, поддержанной мной перед Государем, пожалованием ему тотчас по вступлении в должность Андре-

евской ленты, в отступление от обычая даровать главам государств высшую в империи награду лишь после некоторого времени пребывания их у власти или при особых к тому случаях, как, например, свиданиях и т.п.

Посещение г-ном Пуанкаре в 1912 году Петрограда оставило по себе хорошее воспоминание. У нас оценили по достоинству его миролюбие, союзническую верность и редкую твердость воли, качество, не теряющее в государственном человеке своей цены, даже если оно иногда граничит с соответствующим этому качеству недостатком — упрямством. С начала XX века создалась в Европе тревожная политическая атмосфера, вызванная неослабевавшей, несмотря ни на какие временные соглашения, напряженностью старой вражды между Германией и Францией и новым фактом морского соперничества между Великобританией и Германией. К этим неблагоприятным обстоятельствам прибавилось еще третье. С наступлением мировой политики Бюлова стало ясно обрисовываться стремление центральных монархий подчинить себе не только в экономическом, но и в политическом отношении Балканский полуостров, пренебрегая законными правами местных народов и жизненными интересами России. Эта близко касавшаяся нас угроза заставляла русское правительство искренно приветствовать появление во главе власти во Франции человека, относительно непоколебимости которого, с точки зрения общих нам и нашей союзнице политических принципов, мы могли быть совершенно спокойны. Видеть Пуанкаре в 1913 году в должности президента Французской Республики было, несомненно, успокоительно. Предыдущая его политическая деятельность и еще более личное знакомство с основными чертами его характера давали мне надежду, что он сумеет чисто декоративные обязанности, присвоенные демократической подозрительностью и боязливостью французского конституционного строя президенту республики, превра-

тить в минуту государственной опасности в политический фактор, реальное значение которого станет заметно не только во Франции, но и за ее пределами.

Наш посол в Париже писал мне, что новый президент республики намерен выбрать первый удобный случай для официального посещения России.

Седьмого июля по старому стилю г-н Пуанкаре прибыл в Кронштадт на эскадренном броненосце «La France» в сопровождении председателя совета министров, министра иностранных дел г-на Вивиани.

Встреча Государя с президентом произошла на Кронштадтском рейде и носила торжественный и дружеский характер. Государь пригласил недавно прибывшего в Петроград нового французского посла Палеолога, А.П.Извольского и меня на императорскую яхту «Александрия», на которую прибыл и Пуанкаре для приветствия Государя. Яхта затем ушла с нами в Петергоф, где в большом Петровском дворце были приготовлены для президента покои.

День был ясный и солнечный. Никогда Петергоф еще не производил на меня такого впечатления своей красотой, как в этот день, когда он облекся во все свое царственное великолепие для приема главы французской демократии, скромная фигура которого выделялась небольшим темным пятном на фоне всего этого блеска.

Пребывание в России президента продолжалось три дня. Эти три дня оказались роковыми в истории человечества. В течение их были приняты безумные и преступные решения, которые повергли Европу в неслыханные бедствия, покрыли ее развалинами и остановили на долгие годы нормальный ход ее развития.

Ко всем упомянутым выше прежним причинам общего недомогания в области международных отношений в середине

лета 1914 года прибавилась еще новая, истинное значение которой обнаружилось не сразу. 28 июня погиб в Сараеве от руки убийцы наследник австро-венгерского престола эрцгерцог Франц Фердинанд. С ним вместе была убита и его морганатическая супруга, герцогиня Гогенбург. Преступник оказался молодым сербом, боснийским уроженцем и, следовательно, австрийским подданным и был задержан на месте преступления. После первого впечатления ужаса, волнение, произведенное этим преступлением как в Австро-Венгрии, так и во всем свете, начало понемногу улегаться, как вдруг из Вены стали доходить известия о том, что австрийское правительство склонно видеть в сараевском убийстве результат политического заговора, нити которого восходят до Белграда. Общественное мнение, заранее подготовленное непрерывной травлей в течение многих лет официальной и неофициальной австро-венгерской печатью сербского соседа, ухватилось за эти слухи, и в несколько дней во всей Австро-Венгрии, откуда оно быстро перебросилось и в Германию, создалось весьма опасное настроение, основанное на убеждении, что к подготовке убийства эрцгерцога было причастно и сербское правительство. Судебное следствие, которое открылось в Сараеве тотчас после совершения убийства, не дало в этом отношении ни малейших указаний, а дознание отправленного для выяснения факта участия белградского правительства чиновника венского министерства иностранных дел с полной точностью установило, что о таком участии не могло быть и речи. Тем не менее австро-венгерское правительство, а за ним и вся венская и пештская печать продолжали вести ожесточенную травлю против Сербии, дошедшую вскоре до убийств и разгромов в разных городах монархии, в которых было сербское население. Под прикрытием патриотического негодования велась самая бесстыдная политическая агитация с очевидной целью найти давно желанный предлог для сведения счетов с Сербией.

Наученное опытом пяти предшествовавших лет, русское правительство с тревогой прислушивалось к худым вестям, приходившим из Вены, ожидая со дня на день какого-нибудь явно враждебного действия со стороны венского кабинета по отношению к Сербии.

Все три дня, проведенные президентом Французской Республики в Петергофе, прошли под тягостным предчувствием грядущей беды. Возвращение в Петроград ранее истечения срока его отпуска австро-венгерского посла графа Сапари тоже не способствовало моему успокоению. Тем не менее у нас поддерживали в себе надежду, что 84-летний император Франц Иосиф не захочет омрачить кровопролитием последние дни своей жизни. Непричастность сербского правительства к сараевскому преступлению была для нас настолько очевидна, что мы еще не теряли надежды, что австро-венгерскому правительству придется, волей или неволей, отказаться от обвинения сербских правительственных властей в соучастии в преступлении фанатизированного подростка, преступления, из которого Сербия к тому же не могла извлечь ни малейшей для себя пользы. Мне лично представлялось особенно нелепой попытка венского кабинета связать убийства наследного эрцгерцога с заграничным заговором после того, как политика Эренталя и рабски за ней следовавшая политика Берхтольда в течение многих лет накопляла, в самих пределах двойственной монархии, массу горячего материала, готового вспыхнуть при первой к тому возможности.

Скоро нашим переменным опасениям и проблескам надежды пришлось уступить место действительности, оказавшейся более грозной, чем ее рисовало себе воображение наиболее пессимистически настроенных у нас людей.

Вечером 10 июля (по старому стилю) броненосец «La France» покинул Кронштадт, направляясь в Стокгольм. В это

же приблизительно время австро-венгерский посланник в Белграде вручил сербскому министру иностранных дел ультиматум, который составил предмет удивленного негодования всей Европы, и появлением которого отмечена в истории не только Европы, а и всего света новая эра. Этот ультиматум настолько до сих пор всем памятен, что говорить о нем подробно нет надобности. Достаточно заметить здесь, что требований, как те, которые в нем заключались, еще никогда не предъявлялось ни к одной европейской державе, и что принятие их Сербией в полном объеме равнялось бы добровольному отречению от национальной независимости.

Момент вручения ультиматума был подогнан венским правительством ко времени отъезда из России президента Французской Республики. О дне и часе этого отъезда оно было заблаговременно уведомлено при содействии германского посольства в Петрограде, наводившего по этому предмету справку в русском министерстве иностранных дел. Поручить эту справку своему собственному представителю в Вене не решились, чтобы не возбуждать подозрений. Действуя таким образом, граф Берхтольд хотел помешать русскому и французскому правительствам использовать присутствие в России президента республики и министра иностранных дел, чтобы тотчас же установить общий план действий союзных кабинетов ввиду создавшегося, благодаря австрийскому ультиматуму, нового положения. Прежде чем дать взорваться австрийской бомбе, было решено дать президенту Пуанкаре и г-ну Вивиани удалиться из России. Для возвращения во Францию им предстояло, даже при отказе от всяких остановок по пути, четыре дня плавания.

Узнав о вручении ультиматума в ночь с 23-го на 24 июля, я на следующее утро перебрался из Царского Села в город, так как мне было ясно, что мы находились накануне событий

чрезвычайной важности. Сроком принятия австрийских требований было назначено сорок восемь часов. В такое краткое время державам Тройственного согласия было невозможно сговориться относительно принятия общих мер для умеряющего воздействия на венское правительство. Ввиду этого первой моей заботой было добиться отсрочки в пользу сербов. На мою просьбу о продлении срока ультиматума последовал от графа Берхтольда решительный отказ. Мое обращение за содействием к Германии как через наше посольство в Берлине, так и путем личных разговоров с германским послом, осталось без результатов, что укрепило меня в предположении, что на этот раз германское правительство намерено было стать, по примеру 1909 года, но, может быть, с еще большей решимостью, соответственно важности событий, на почву полной солидарности с Австро-Венгрией. Отказ Берхтольда отсрочить поставленные Сербии требования не был мотивирован. Нежелание Германии удержать Австро-Венгрию на том опасном пути, на который она становилась, объяснялось нам в Берлине тем соображением, что берлинский кабинет не считал себя вправе вступать в распрю между своей союзницей и Сербией на том основании, что эта распря касалась их одних и что поэтому борьба между ними, если бы до нее дошло дело, должна была быть локализована. Нелепость этого последнего утверждения бросалась в глаза и обнаруживала явное намерение не считаться, в угоду Австро-Венгрии, со всем известными фактами балканской истории целого столетия. Было ясно, что мы имели дело не с плохо обдуманном почином недалекновидного австрийского министра, предпринятым на его личный страх и ответственность, но с тщательно подготовленным планом, на который было заблаговременно получено согласие германского правительства, без поддержки которого Австро-Венгрия не отважилась бы приступить к его исполнению.

Это заключение подсказывалось здравым смыслом. Обнародование в 1919 году секретных дипломатических документов австро-венгерского правительства, а равно и германских, изданных в том же году Каутским в отдельном сборнике, принесло неопровержимое подтверждение этому заключению и раскрыло до мельчайших подробностей все нити венского заговора и ту поддержку, которую он нашел у императора Вильгельма и его правительства.

Австрийский ультиматум поставил Европу сразу на край пропасти, создав положение, из которого трудно было найти иной выход, как европейская война. В истории не найдется примера, более чреватого неисчислимыми последствиями действия человеческой воли, предпринятого с более безрассудным легкомыслием, чем это решение австро-венгерского правительства поправить свое шаткое внутреннее положение и восстановить утраченное бездарной дипломатией внешнее обаяние, бросившись очертя голову, в войну, не взвесив своих сил и не зная даже числа возможных своих противников, в одном расчете на помощь могущественного союзника. На гибель Австрии и на несчастье всего человечества и свое собственное этот могущественный союзник, который мог бы одним словом остановить это безумное решение⁶, как он сделал не далее как во время второй балканской войны, на этот раз не захотел произнести сдерживающего слова. Из Берлина вместо запрета раздалось прямое поощрение. Этого было более чем достаточно для того, чтобы сделать тщетными усилия России и держав Согласия предотвратить войну, от которой ни один здравомыслящий человек не мог ожидать для

6 В 1913 году Италия, а за ней и Германия, отказались от всякого участия в задуманной Австро-Венгрией войне с Сербией.

своей родины ничего, кроме страшных бедствий, а может быть, и гибели.

После поражения Германии и уничтожения Австро-Венгрии люди, которых в Европе считают ответственными за войну и ее роковые последствия, ощутили, не исключая императора Вильгельма, потребность обелить себя в глазах по крайней мере своих соотечественников, если не всего света, в обвинениях либо в злой воле, либо в бездарности и преступном легкомыслии, которые сыпались на них как со стороны их противников, так и собственных сограждан, разочарованных и негодующих на них за трагический исход войны, на которую их вели, как на праздник. Эти люди стали доказывать в бесчисленном количестве оправдательных книг и брошюр, что они не хотели войны, что она была им навязана коварными противниками, что они начали ее в целях самозащиты и т.д.

Я не считаю себя вправе подозревать всех этих людей, без исключения, в недобросовестности и во лжи. Долгий жизненный опыт указывает мне на то, что люди обладают свойством безграничного самообольщения и легко утрачивают чувство реального, постепенно начиная терять вместе с ним способность проводить грань между своими желаниями и намерениями и тем, что фактически они делают. Не может быть сомнения, что среди тех, кого я склонен считать ответственными за мировую войну, со всеми ее неизгладимыми последствиями, и были, и есть люди, которые ее не желали. Вместе с тем эти люди не только ничего не сделали, чтобы ее избежать, но скрестив руки пассивно смотрели на ее приближение, думая, что так как она, по их соображениям, все равно неизбежна⁷, то,

7 Седьмого апреля 1913 года государственный канцлер Бетман-Гольвег произнес речь, в которой была следующая фраза:

может быть будет лучше дать ей разразиться тогда же⁸. Правда, при этом они не допускали мысли об ином исходе войны, кроме благоприятного для их отечества. Если бы они обладали хотя бы некоторым даром предвидения, их философское безразличие по отношению к такому, по существу, страшному явлению, как война, со всеми ее бесконечными случайностями и трудностями, уступило бы место сознанию их обязанности положить конец той игре с огнем, которой забавлялись в Вене со времен Эренталя и за все управление внешней политикой его преемника Берхтольда, у которого страх перед Сербией и ненависть к ней выродились в какую-то маноманию. Оценивая ответственность германских государственных людей в катастрофе 1914 года, спрашиваешь себя, что руководило ими, когда шестого июля этого года, т.е. за две недели до вручения австрийского ультиматума, они выразили согласие на представленную при письме императора Франца Иосифа Вильгельму II политическую программу, направленную на уничтожение Сербии, и обещали этой программе свою поддержку.

В означенном письме Франца Иосифа, где Болгарии, как надежному, с австрийской точки зрения, фактору, отводится большая роль в будущей борьбе с Сербией, находятся следующие места, которые не допускают, по всей ясности и недвусмысленности, никаких сомнений насчет истинных намерений

«Если бы дело дошло до европейского пожара, который поставил бы друг против друга славян и германцев...» и т.д. Подобная фраза в устах канцлера была величайшей неосторожностью и возбудила испуг германского посла в Петрограде, приезжавшего ко мне нарочно, чтобы сгладить неприятное впечатление, произведенное этими словами на русское правительство и общественное мнение.

8 Подобное отношение к войне характеризовало канцлера и высших чинов министерства иностранных дел, Яго и Циммермана.

венской политики. «Стремления моего правительства, — пишет император Франц Иосиф, — должны быть отныне направлены к изолированию и уменьшению (Verkleinerung) Сербии». Как связать это с данными нам Веной формальными обязательствами не покушаться на сербскую территорию? Далее, на той же странице, мы читаем: «Это (т.е. создание нового Балканского союза под покровительством Тройственного союза, иными словами, полное подчинение Балкан австро-германской политике) окажется только тогда возможным, когда Сербия, составляющая центр панславистской политики, будет уничтожена как политический фактор на Балканах»⁹. Упомянутые политические соображения, сопровождавшие письмо австрийского императора, кстати сказать, составленные раньше убийства наследника престола, служили только развитием основной мысли беспощадной борьбы с Сербией и ее уничтожения.

Каков же был ответ императора Вильгельма и канцлера Бетмана-Гольвега на письмо Франца Иосифа и на записку Берхтольда?

Вильгельм II, ознакомившись с содержанием обоих документов и вполне одоблив намерения венского кабинета по отношению к Сербии, заявил австро-венгерскому послу Сегени, передавшему их ему, что «если бы дело дошло даже до войны между Австро-Венгрией и Россией, мы (т. е. австрийцы) могли бы быть уверены, что Германия, с обычной союзнической верностью, стала бы нашу сторону. Россия, впрочем, в настоящем положении вещей еще далеко не готова к войне и

9 Сборник австро-венгерских дипломатических документов 1919 года, стр. 3.

хорошенько подумает, прежде чем обратиться к оружию». Вслед за этим император прибавил:

«Если мы (австрийцы) на самом деле убедились в необходимости военных действий против Сербии, то он (император) пожалел бы, если бы мы оставили не использованной настоящую, нам столь благоприятную, минуту. Что касается Румынии, относительно которой в Вене питали большие сомнения, то император позаботится о том, чтобы король Карл и его советники вели себя как должно»¹⁰.

Таков был ответ кайзера. Что касается до государственного канцлера, Бетмана-Гольвега, то он в присутствии помощника статс-секретаря по иностранным делам Циммермана заявил австрийскому послу, что «германское правительство, поскольку дело шло о наших (австрийских) отношениях с Сербией, стояло на той точке зрения, что нам самим судить о том, что надо делать для выяснения этих отношений. При этом мы могли, каково бы ни было наше решение, с уверенностью рассчитывать, что Германия, как союзница и друг Австро-Венгерской монархии, будет стоять за нее». Посол прибавляет, что канцлер, равно как и император Вильгельм «смотрят на немедленное выступление (*sofortiges Einschreiten*) с нашей стороны, как на наиболее основательное и лучшее разрешение наших затруднений на Балканах. С международной точки зрения канцлер считал настоящий момент более благоприятным, чем какой-либо более поздний».

Интересно также, в виде иллюстраций берлинских настроений, следующее краткое извлечение из письма графа Берх-

10 Сборник австро-венгерских дипломатических документов 1919 года, № 6, стр. 22.

тогда к венгерскому первому министру, графу Тиссе¹¹: «Только что меня покинул Чиршкий (германский посол в Вене), который сообщил мне, что он получил телеграмму, которою император поручает ему особенно подчеркнуть (mit allem Nachdruck zu erklären), что в Берлине ожидают выступления Австро-Венгерской монархии против Сербии и что в Берлине показалось бы непонятным, если бы мы пропустили случай нанести ей удар».

Австрийский посол дополняет свои сообщения об отношениях разных германских высокопоставленных лиц к плану венского кабинета нападения на Сербию следующей секретной телеграммой от 9 июля, в которой он отдает Берхтольду отчет о свидании с только что вернувшимся из отпуска статс-секретарем по иностранным делам фон Яго: «Статс-секретарь, как я мог убедиться, вполне согласен с положением, занятым германским правительством, и дал мне весьма решительные уверения, что и по его мнению планирующееся против Сербии выступление должно было бы быть предпринято безотлагательно» (ohne Verzug)¹². Другой пример отношения статс-секретаря фон Яго к австрийским замыслам я заимствую из секретной телеграммы того же графа Сегени Берхтольду, в которой он передает слова, сказанные ему Яго по поводу отсрочки вручения Сербии ультиматума до отъезда г-на Пуанкаре из Петрограда: «Статс-секретарь чрезвычайно (ganz ausserordentlich) сожалеет об этой отсрочке. Г-н фон Яго опасается, что сочувственное отношение и интерес к этому шагу в Германии может ослабеть благодаря этой отсрочке»¹³.

11 Там же, №10, стр. 39.

12 Сборник австро-венгерских дипломатических документов 1919 года, №23, стр. 59.

13 Там же. № 13, стр. 46.

Видно, Яго боялся отстать от своего императора в проявлении «Нибелунговой верности» к союзникам. Если бы Яго умышленно толкал австрийцев на путь гибели, он не мог бы говорить с ними иначе.

Резюмируя свои предыдущие телеграфные сообщения в подробном донесении своему начальнику, посол пишет ему, между прочим, следующее: «Как Ваше Превосходительство осведомились из моих недавних телеграфных сообщений, а равно и из личных впечатлений графа Хоиоса¹⁴, как император Вильгельм, так и остальные руководящие здесь лица не только твердо стоят, как верные союзники, за а.-в. монархию, но и подбадривают (*ermunteren*) нас самым определенным образом, чтобы не дать пройти настоящей минуте, а со всей энергией выступить против Сербии и покончить раз и навсегда с этим гнездом заговорщиков-революционеров, совершенно предоставляя нам выбрать для этого средства, какие нам покажутся лучшими»¹⁵. Из того же донесения я извлекаю еще «...германские руководящие круги и не менее их сам император Вильгельм, просто хотелось бы сказать, почти заставляют (*drängen*) нас предпринять военное выступление против Сербии».

Сегени считает нужным объяснить своему правительству, почему Германия смотрит на эту минуту, как на наиболее удобную для энергичных мер против Сербии. По его мнению, в Берлине пришли к заключению, что Россия «вооружается для войны со своим западным соседом, на которую она не смотрит

14 Чиновник австро-венгерского министерства иностранных дел, привезший в Берлин письмо имп. Франца Иосифа, ближайший сотрудник Берхтольда.

15 Сборник австро-венгерских дипломатических документов 1919 года, № 15, стр.48–50.

более, как на возможную в будущем, но которой она отвела место в своих политических расчетах, однако только будущих, так что она, не теряя войны из виду, к ней всеми силами готовится, но в настоящее время еще не собирается начать ее или, вернее сказать, к ней еще недостаточно подготовлена». К этому, по мнению того же Сегени, присоединяется у немцев еще и то соображение, что у Германии «имеются верные указания, что Англия не примет в настоящее время участия в войне, которая разразилась бы из-за балканского вопроса, даже и в том случае, если бы она привела к военному столкновению с Россией или даже с Францией. И не потому, — прибавляет посол, — что отношения Англии к Германии улучшились настолько, чтобы Германии не приходилось опасаться более враждебности Англии, но оттого, что Англия ныне совершенно не желает войны и вовсе не расположена вытаскивать из огня каштаны для Сербии или, в конечном результате, — для России. Таким образом, — заключает он, — из вышесказанного вытекает, что для нас (Австро-Венгрии) общее политическое положение (Konstellation) в настоящую минуту как нельзя более благоприятно».

Относясь строго объективно к сведениям старого дипломата, который долгие годы представлял Австро-Венгрию в Берлине и который заслужил полное доверие и уважение не только германских правительственных кругов, но и самого императора Вильгельма, можно высказать предположение, что он с полной точностью передавал истинное настроение императора и его правительства. Когда партия была проиграна и революционные германские власти приступили к обнародованию секретной дипломатической переписки бывшего правительства, многие лица, утверждавшие свою невиновность в войне, почувствовали себя задетыми этими разоблачениями и стали объяснять сведения, заключающиеся в сообщениях Сегени, старческим ослаблением его умственных способно-

стей¹⁶. Я не знал Сегени лично и не могу судить о состоянии его способностей иначе, как по его напечатанным донесениям, но лица, близко его знавшие именно в эту пору его деятельности в Берлине, говорили мне, что он находился в здравом уме и твердой памяти и не подавал признаков умственного одряхления. Я считаю долгом прибавить, что всегда слышал о нем и о его константинопольском товарище Паллавичини как о двух наиболее даровитых представителях австро-венгерской дипломатии.

Но не в этом дело. Каково бы ни было состояние здоровья Сегени, сообщавшиеся им в Вену сведения находят себе полное подтверждение в упомянутом мной сборнике германских официальных документов Каутского, изданном, как сказано выше, одновременно с австрийской красной книгой, из которой я делал мои заимствования.

Чтобы не быть голословным, я приведу несколько выдержек из первого из этих сборников, проливающих яркий свет на отношение высших германских правительственных кругов к задуманному Берхтольдом и его сообщниками нападению на Сербию.

Император Вильгельм имел привычку испещрять поля подносимых ему для чтения донесений большим числом весьма характерных по своеобразному ходу мыслей и способу выражения собственноручных заметок, из которых многие воспроизведены Каутским целиком. Из его сборника я извлекаю следующую, не оставляющую никакого сомнения по своей краткости и выразительности:

16 Подобное истолкование неприятных раскрытий применялось в Германии и в других случаях. Так, вице-канцлер Пайер объяснял разоблачения известного д-ра Мюлона его патологическим состоянием.

«Теперь или никогда». Эта пометка сделана императором на донесении германского посла в Вене Чиршкого против того места, где он говорит об общем желании австрийцев когда-нибудь «основательно рассчитаться с сербами»¹⁷. На том же донесении, несколькими строками ниже император отмечает по поводу вполне основательного мнения, высказанного его послом в Вене, о необходимости предостеречь австрийцев от скороспелых решений: «Кто его на это уполномочил? Это очень глупо; совсем не его дело» — и т. д., кончая так «Чиршский должен оставить эти глупости. С сербами надо рассчитаться и притом поскорее». Вот как был встречен с высоты престола первый благоразумный совет, данный германским дипломатом венскому кабинету. Не приходится удивляться после этого, что этот совет оказался и последним. Что касается самого Чиршкого, то для него этот урок не пропал даром, и с этого дня, покончив с неблагодарной ролью осторожного советника, он превратился сразу в одного из наиболее откровенных подстрекателей.

Чтобы покончить с цитатами императорских пометок, приведу еще две, сделанные одна на донесении того же Чиршкого, где последний пишет, что передача австрийского ультиматума Сербии была отложена до отъезда из России президента Французской Республики. Против этого места император отмечает: «Как жаль!»¹⁸. Другая отметка, пожалуй, еще более типичная, украшает поля донесения германского посла в Лондоне, князя Лихновского, в котором этот спокойный и рассудительный дипломат, не без тревоги смотревший на горячее настроение, охватившее его правительство, переда-

17 Сборник Каутского (1), № 7, стр. 11.

18 Сборник Каутского, № 49, стр. 74.

ет своему министерству иностранных дел опасение сэра Эдуарда Грея, что краткий срок австрийского ультиматума делает войну почти неизбежной.

Английский министр заявил при этом Лихновскому о своей готовности сделать совместно с Германией представления о продлении срока ультиматума, так как этим путем, он полагал, может быть, было бы возможным найти желанный исход из затруднения. Против этого места рукой Вильгельма II написано: «Бесполезно»¹⁹.

Я думаю, что эти выдержки в достаточной мере очерчивают душевное состояние императора Вильгельма, граничившее иногда с потерей всякого самообладания и равновесия. Их можно было бы приумножить до бесконечности, приведя немало других, имеющих характер явно оскорбительный для лиц, неугодивших кайзеру. Но и этого более чем достаточно.

Для характеристики взглядов германского статс-секретаря по иностранным делам г-на фон Яго я приведу весьма краткий документ, телеграмму его германскому послу в Вене следующего содержания: «В «Норддейче Цейтунг» появится по поводу австро-сербской распри заметка, умышленно смягченная ради европейской дипломатии. Высокоофициозное издание не должно преждевременно бить тревогу. Прошу Вас озаботиться тем, чтобы это не было ложно истолковано, как уклонение с нашей стороны от проявляемой в Вене решительности».

* * *

Кроме усилий Государя и русского правительства добиться примирительного посредничества берлинского кабинета в Вене, к которым мне придется еще вернуться, таковые были сделаны и королем Карлом Румынским, мнения которого

19 Сборник Каутского, № 157, стр. 171.

всегда пользовались особенным весом у императора Вильгельма и у германского правительства. Мудрейший из Гогенцоллернов в разговоре с представителем своего германского сородича высказал несколько мыслей, которые должны были бы навести на раздумье императора и берлинских дипломатов, но которые на этот раз скользнули по ним, не оставив следов. Австрийцы успели убедить германское правительство в том, что Россия замышляла создание нового Балканского союза, направленного против Австро-Венгрии, и этим, до известной степени, могла быть объяснена та решительная поддержка, которую нашел в Берлине их безумный план уничтожения Сербии. Когда германский представитель обрисовывал ему картину опасностей, проистекавших из русских замыслов, для Австро-Венгрии и самой Германии, король Румынский прервал его замечанием, что о подобном плане ему ничего не известно. Замечание короля заслуживало тем большего внимания, что описываемый разговор происходил через месяц с небольшим после свидания в Констанце, где как Государь, так и я вполне откровенно говорили королю Карлу и его министрам о наших взглядах на балканские вопросы, как они нам представлялись после обеих балканских войн и Бухарестского мира. В то время Балканский союз 1912 года уже сделал свое дело, и для замены его новым после предательской измены ему со стороны Фердинанда Кобургского и Родославова не было налицо нужных элементов. Что касается вопроса об участии Сербии в убийстве эрцгерцога Франца Фердинанда, воспринятого в Берлине со слов Берхтольда как Евангельская истина, король Карл заявил, что он не думает, чтобы это преступление могло быть приведено в какую-нибудь связь с сербским правительством и что он об этом уже говорил с австро-венгерским посланником Черниным, спросив его, имеются ли этому в Вене какие-либо верные доказательства. Король прибавил, что политическое положение ему представляется серьезным, но не безнадежным. В Вене, по

его мнению, потеряли голову. Было бы полезно, если бы из Берлина подействовали на австро-венгерское правительство, чтобы успокоить его воинственное настроение. При этом король высказал несколько неодобрительных слов по поводу положения Боснии в административном отношении. О дарованиях графа Берхтольда он отозвался нелестным образом. Говоря о вредной агитационной деятельности печати в Сербии, король сказал, что следовало бы приостановить ее, так как неразборчивая газетная травля несет главную ответственность за постоянное возбуждение общественного настроения. В Австрии также надо было бы повлиять на печать, чтобы она прекратила свои нападки на Сербию. Он прибавил, что я, будучи в Констанце, говорил ему, что Россия не помышляла вести войну по соображениям внутреннего спокойствия²⁰, но что нападения Австрии на Сербию она потерпеть бы не могла. «В таком случае, — прибавил король, — на Румынию не пало бы никаких обязательств»²¹.

Из этого разговора, который я привожу в сокращенном виде, в Берлине могли бы извлечь немало пользы. Мнения Карла Гогенцоллернского, в горячем германском патриотизме которого никто не мог сомневаться, должны были бы поддѣствовать отрезвляющим образом на императора и на германское правительство. К несчастью для всех, обвинения Сербии Берхтольдом и его единомышленниками в участии в убийстве наследника австро-венгерского престола, поддерживаемое вопреки собственным официальным сведениям, по соображе-

20 Королю тут изменила память. У России не было вообще ни намерения, ни основания вести войну с кем бы то ни было, пока ее жизненные интересы не были затронуты. В этом смысле я и говорил с королем Карлом.

21 Сборник Каутского, №41, стр. 61.

ниям уже тогда довольно прозрачным, а в настоящее время, после обнародования секретных документов, не представляющим и тени сомнения, нашли в Германии настолько благоприятную почву и так быстро укоренились, что говорить с немцами об их полной голословности стало уже невозможно. Вина виновность Сербии, не только ничем не подтвержденная, но даже опровергнутая расследованием на месте австро-венгерского лица, обратилась тем не менее в непреложную истину и как таковая стала исходной точкой для всех рассуждений об австро-сербском споре. Я помню, как глубоко меня возмущала эта предвзятость, когда я наткнулся на нее в моих мучительных разговорах с германским послом, графом Пурталесом, по этому поводу. В этом, как и в других отношениях, он был ярким представителем того типа немцев, которые отстаивали правоту германской точки зрения даже тогда, когда ее трудно бывало примирить с очевидностью. Приходилось поневоле верить в справедливость замечания, слышанного мной уже давно от покойного Миловановича, одного из наиболее выдающихся сербских государственных деятелей, утверждавшего, что большинство немцев органически неспособны относиться беспристрастно ни к французу, ни в особенности к славянину. Созданных таким образом людей было много в Берлине в 1914 году, и к ним принадлежал, к несчастью, Вильгельм II, у которого такое отсутствие беспристрастия объяснялось, как я узнал гораздо позже, его прирожденной ненавистью к славянам. В попавшихся недавно мне под руку воспоминаниях австрийского генерала, графа Штюргга, прикомандированного во время войны к главной квартире кайзера, я нашел следующую, типичную, фразу, слышанную автором от него самого: «Я нена-

вижу славян. Я знаю, что это грешно. Никого не следует ненавидеть, но я ничего не могу поделать: я ненавижу их»²².

Позволительно думать, что эти добрые чувства императора разделялись многими его ближайшими сотрудниками. Воля этих лиц несомненно имела решающее влияние на ход событий в эпоху мировой войны.

По мере того, что я возобновляю в своей памяти события, предшествовавшие войне 1914 года, передо мной все яснее раскрывается психология тех людей в Германии, которые были непосредственно политически или экономически заинтересованы во включении в германскую орбиту всей Восточной Европы и которые вполне правильно, со своей точки зрения, рассуждали, что им было невыгодно для своих целей дожидаться того времени, когда оборона России, над которой стали работать серьезно лишь через пять или шесть лет после окончания японской войны, была бы доведена до такого состояния, что осуществление Германией своего плана сделалось бы несбыточным или, по крайней мере, трудно выполнимым. Тем не менее я должен признать, что почин европейской войны принадлежит не Германии, а несомненно Австро-Венгрии, совершенно к ней неподготовленной, но решившейся на нее, во что бы то ни стало, по причинам, изложенным выше, и в непоколебимой уверенности если не в своей собственной, то в германской непобедимости. Германия, взявшая на себя тяжкую ответственность за попустительство преступного легкомыслия своей союзницы, ринулась в войну в той же уверенности в своей непобедимой силе с завязанными глазами, сознавая себя вполне подготовленной, с военной точки зрения, к войне на два

22 Graf Joseph Stürgkh. Politische und militärische Erinnerungen aus meinem Leben. S. 232.

фронта, политически же совершенно к ней не готовая. Это настолько верно, что в Берлине не имели никакого представления о тех размерах, которые она неизбежно должна была принять, и о тех задачах, превышающих германские силы, которые эта война должна была поставить. Становясь на эту точку зрения, Вильгельм II мог не кривя душой объявить своим войскам, что он ее не желал, а германские государственные люди провозглашать во все концы вселенной, что они не искали войны со всем светом. Как сказано, в 1914 году Германия действительно не изыскивала повода к войне, но раз он был для нее найден Австро-Венгрией, она решилась воспользоваться случаем свести счета с восточным и западным соседями, сломить раз и навсегда их силу и затем спокойно приступить к осуществлению своего плана пересоздания Средней Европы на новых началах, которые превратили бы ее для нужд и потребностей Германии в преддверие Ближнего Востока.

Для выполнения подобной задачи надо было, уничтожив Сербию, вытеснить Россию с Балканского полуострова и заменить ее влияние австро-венгерским, в чем кайзер с полной откровенностью признался, отмечая, согласно своей привычке, на полях донесения Чиршкого от 24 июля 1914 года, что «Австрия должна первенствовать над мелкими государствами на Балканах за счет России, а то не будет покоя»²³. Было ясно, что пока существует жизнеспособная Сербия, Австрия не сможет спокойно владеть пятью миллионами сербов, присоединенных Эренталем вместе с Боснией и Герцеговиной, ни тем более осуществить старую мечту о захвате Салоник, а Германии, не забрав в свои руки Константинополя²⁴, извлечь из великого

23 Сборник Каутского, № 155, стр. 168.

24 Этот план уже начал осуществляться в военной миссии генерала Лимана фон Сандерса.

пути, предназначенного связать Гамбург с Багдадом, всю пользу, которую от него ожидали его строители.

Всему этому мешала Россия, не отдававшая без борьбы Балкан, освобожденных ею для блага и независимости балканских народов и ради ее собственной безопасности, и не соглашавшаяся признать вместо султана императора Германии привратником проливов. Поэтому Германия, преследуя на Балканах с момента вступления своего на путь «мировой политики» новые политические цели, могла не считаться более с мнением, высказанным Бисмарком в 1890 году, что «поддержание честолюбивых планов Австрии на Балканах является менее всего делом Германии»²⁵.

Минута хотя и была выбрана не ею, тем не менее казалась ей подходящей. В решимости России воевать из-за сохранения своего положения на Балканах, значительно окрепшего после обеих балканских войн, в Берлине не были твердо убеждены. К тому же ее не считали способной вести войну. О боевой готовности Франции были тоже невысокого мнения, а возможность увидеть Англию в лагере своих врагов не приходила решительно никому в голову, несмотря на предостережения германского посла в Лондоне, князя Лихновского, над которым в берлинском министерстве иностранных дел подшучивали, называя его снисходительно «добрым Лихновским».

Основываясь на такой оценке общего политического положения, было решено не только оказать Австро-Венгрии энергичную поддержку, но и всячески поощрять ее в ее крестовом походе против «белградских цареубийц». Если же Россия решилась бы тем не менее вступить за сербов и не согласилась бы отдать их в жертву австрийским замыслам, то

25 О. Наттан. Der neue Kurs.

пришлось бы воевать и с Россией, что в данную минуту было бы, вероятно, даже легче, чем в другое время, хотя не будь австрийского почина, ее, вероятно, оставили бы до поры до времени в покое.

Вместе с тем, толкая, как мы видели, Австро-Венгрию на путь войны с Сербией, в Берлине требовали прежде всего ее «локализации», не отдавая себя отчета, что это требование было совершенно невыполнимо вследствие того, что при существовавшей политической группировке держав война между двумя из них должна была неминуемо привести к европейской войне.

Неудовлетворительность дипломатического осведомления берлинского кабинета была поразительна. Когда не бывало никакой серьезной опасности международных осложнений, германские дипломаты сплошь и рядом ее создавали, раздувая совершенно незначительные случаи до размеров политических событий. Когда же предусмотрительным германским представителям случалось произнести слово предостережения, имея для того вполне достаточное основание, им не внимали, приписывая их пессимизм чрезмерной впечатлительности или наивности, как это случилось с князем Лихновским. Ввиду этого у немногих хватало мужества продолжать писать своему правительству то, что они видели и слышали, зная, что оно не всегда совпадало с берлинскими настроениями. Большинство же германских дипломатов, как, например, граф Пурталес, совершенно искренно исходило из убеждения в непогрешимости своего начальства. Это были те, на донесениях которых делались наиболее любезные пометки. Другие же, как фон Чиршкий, заметив, что попали не в тон, быстро его меняли и настраивались по берлинскому камертону.

Надо отдать справедливость австро-венгерской дипломатии, что хотя она и оперировала сомнительными данными и

исходила из неверных отправных точек, она тем не менее проводила свою политику с большей логикой и последовательностью, чем ее могущественная союзница. Берхтольд знал, чего он хотел, и выполнял план, им самим задуманный, хотя для выполнения его ему приходилось рассчитывать на чужие силы, тогда как Вильгельм II и его советники впряглись в неуклюжий австрийский рыдван, давно плотно увязший в болоте, из которого и при германской помощи было трудно его вытащить. Австро-Венгрии не оставалось более ничего делать для достижения своих целей, как добиваться правдой и неправдой подмоги со стороны Германии, причем никакой риск уже не мог казаться ей опасным. Для Германии же, как бы в конечном итоге ни была однородна ее политическая программа с программой ее союзницы, отказ от свободного почина и принятые на себя с необыкновенным легкомыслием обязательства, был благодаря невыясненности общего политического положения сопряжен с громадным риском. Пятое июля²⁶ оказалось для Германской империи и для германского народа роковым днем. В этот день Германия отказалась от роли руководительницы судьбами Тройственного союза и отдала себя в кабалу своей беспомощной союзнице, связав себя по рукам и ногам ради служения безнадежному делу.

Почитатели Бисмарка, объясняя историю возникновения в 1879 году Австро-Германского союза, говорят, что он не имел в виду навеки связать этим соглашением судьбу Германии с Австро-Венгрией, что оно отвечало лишь временной нужде, по миновании которой он, несомненно, нашел бы иное политическое сочетание, которое бы предоставляло Германии те же

26 5 июля в Потсдаме состоялся совет, на котором было решено оказать Австро-Венгрии поддержку.

выгоды, не неся с собою неудобств и рисков, происходящих из союза с государством, быстро и неудержимо клонившимся к упадку. Еще менее имел он в виду выпустить из своих рук руководство союзом, предоставив Австро- Венгрии вести себя с завязанными глазами туда, куда ее влекли ее мелкие интересы и недалководидные расчеты и где Германия могла мало выиграть, а потерять чрезвычайно много. Поклонники Бисмарка, вероятно, правильно судили о его политике. На самом деле трудно, даже и в наши дни, когда обаяние имени Бисмарка, бывшее необычайным при его жизни и в первые годы после его кончины, уже значительно померкло, представить себе Германию, при его жизни ведомую в поводу Австро-Венгрией. В его глазах союз с ней, давая ей нужные для ее существования гарантии, отводил ей, в сущности, только служебную роль. В этой роли она была для Германии не только полезна, но и необходима, защищая ее южную границу и давая ей благодаря этому возможность вести войну на два фронта. Для этой цели, по всей вероятности, и был создан союз центральных империй, как привлечение к нему затем Италии имело в виду помешать ее сближению с Францией, поддерживая искусственно между ними соревнование. На долю Италии выпадала еще и другая задача — парализовать опасный для Австрии итальянский ирредентизм. Бисмарк надеялся достичь этой цели, впрягши их обеих в одно ярмо. Если эта политика и могла казаться в то время глубокой и мудрой, то вскоре после смерти ее творца ее тщета обнаружилась с полной ясностью, и сама Германия была вынуждена признать, что Тройственный союз не выполнил возлагавшихся на него надежд. Союз с Румынией, служившей дополнением к Тройственному союзу, также принес одни разочарования, и королю Карлу еще до войны пришлось самому признать себя ненадежным союзником. Оставалась одна Австро-Венгрия, на которую, как она ни была ветха и дрябла, устремились все германские упования. В Берлине рассчитыва-

ли также, до известной степени, на Болгарию и Турцию, но эти перспективы рисовались еще только в значительном отдалении.

Попытки договориться до какого-нибудь соглашения с Англией, о котором поочередно, начиная с Бисмарка, предложившего, правда, безуспешно, лорду Солсбери в 1887 году союз против России, и кончая Бетманом-Гольвегом, мечтали всю жизнь германские государственные люди, которые все питали к Англии несчастную любовь, не привели ни к чему, хотя англичане относились с некоторой симпатией к центральным государствам и не отвергали возможности сближения с Германией, которое положило бы конец их взаимному соревнованию в области военного судостроения. В Германии оказывались очень требовательными, англичане, со своей стороны, были несговорчивы и осторожны, пока наконец не было достигнуто соглашение, которым ни та, ни другая сторона не осталась вполне довольной.

Отношения с Францией были безнадежны. Годы оказались бессильными залечить рану, оставленную на теле Франции отторжением от нее Эльзаса и Лотарингии. Германцы, совершив роковую ошибку насильственного присоединения этих крепко сросшихся с французским национальным организмом провинций, ожидали от французов не только беспрекословного признания этого невыносимого для их самолюбия отторжения, но и его забвения. Каждое о нем воспоминание во Франции истолковывалось в Берлине как вызов Германии или как проявление непримиримого шовинизма.

Об отношениях между Россией и Германией мне уже приходилось упоминать неоднократно на этих страницах. С нами мало считались в Берлине, и мои добросовестные усилия поставить на прочную и разумную основу наши отношения остались безуспешными. Наша бессмысленная война с Япони-

ей и вышедшие из нее первые революционные вспышки убедили немцев в том, что с нами не нужно было особенно церемониться, хотя иногда, в минуты просветления, как будто признавали за нами большие, хотя и сокрытые силы, и благодаря этому право на будущность. Но это бывало мимолетно, и чаще всего склонялись поставить нас как политическую силу на одну доску с Австро- Венгрией и, по возможности, мало принимали в соображение наши самые законные права и требования.

Из этого беглого обзора можно вывести заключение, что международное положение Германии было в 1914 году незавидным и приближалось к состоянию изолированности. Если когда-либо в ее истории была минута, требовавшая от ее государственных людей особенной бдительности и осторожности, то это была именно пора, предшествовавшая великой войне. Между тем можно сказать, не боясь ошибиться, что никогда уровень дарований и политического творчества не падал в Германии ниже, чем в эту эпоху.

Величественное здание Германской империи, сложенное сильными руками Бисмарка, простояло незыблемо сорок четыре года без переделок и починки, в то время, когда вокруг него весь мир обновлялся и перестраивался и сама жизнь Германии со стремительной быстротой пробивалась в новые русла мирового экономического развития. Строение германской государственности оставалось незатронутым ходом исторических событий и быстро изменявшимися условиями политической и экономической жизни всей Европы. На вид оно было все так же крепко и внушительно, как и прежде, и вера в его несокрушимость ни в ком не ослабевала. Даже для германских социалистов она обратилась в нечто похожее на догмат, и критика их не выходила из рамок профессионального долга. Лишь изредка раздавался, обыкновенно под прикрытием

анонимности, голос предостережения, предвещавший Германии грядущие беды, но этот голос, прозвучав одиноко, быстро замирал, никем не услышанный. А между тем несокрушимая на вид твердыня Бисмарка кое-где обнаруживала трещины и нуждалась в приспособлении к потребностям вечно меняющегося времени. Молодой император, нетерпеливо сносивший превосходство дарований и политического опыта Бисмарка, удалил его на непрощенный и ненавистный ему покой, заменив его способным и добросовестным военным администратором, совершенно неподготовленным к роли руководителя внешней политикой Германии. Будучи помешан на неизбежности войны с Россией, он ознаменовал свое четырехлетнее пребывание у власти тем, что окончательно порвал последнюю связь между Германией и нами. За ним последовал умный и опытный в государственных делах старый барин, наиболее из всех преемников Бисмарка пригодный, по личным своим качествам, для поста государственного канцлера, но уже отживший свой век и дряхлый. Его сменил у власти гибкий и ловкий дипломат, талантливый и остроумный оратор, без крепких устоев и внутреннего балласта, человек того типа людей, которые делают блестящую карьеру в периоды международного благополучия. За время его управления внешней политикой Германия в первый раз открыто отождествила свою восточную политику с австро-венгерской, поддержав свою союзницу всей силой германского веса в самом недобросовестном и близоруким начинании венской дипломатии за последнюю четверть века. Эта союзническая услуга не была оценена в Австрии по достоинству и, как ни странно сказать, повела даже к временному охлаждению между Веной и Берлином. О впечатлении, оставленном в России этим выступлением, было говорено выше. Зато в Германии оно было прославлено на все лады, как акт «Нибелунговой верности».

Однако не может быть сомнения, что без этой дружеской услуги неблагоприятная проделка австрийской дипломатии 1908 года не увенчалась бы успехом и Австро-Венгрия не стала бы, вероятно, так опрометчиво на наклонную плоскость антисербской политики, по которой она девять лет спустя докатилась до дна пропасти, увлекая за собой друзей и недругов. На этот же путь

«Ниbelунговой верности» вступил и следующий государственный канцлер, хотя и не сразу, так как в двух случаях²⁷, когда катастрофа казалась уже неизбежной, он своевременным вмешательством остановил зарывавшуюся союзницу и тем отсрочил день судный на некоторое время. Была ли это заслуга императора Вильгельма или его канцлера, я не берусь сказать, но ее нельзя не признать, хотя она и была только временного характера. Когда же настало время, что руководящая Германией воля отреклась от своей свободы и подчинила себя добровольно своей союзнице, «Ниbelунгова верность» стала проявляться с такой силой и с таким упорством, что против нее оказались бессильными все доводы разума и справедливости, и судьба Европы свершилась.

Понятно после того, что было сказано о тех, на долю кого выпало управлять наследием Бисмарка и соблюдать в должной исправности здание Германской империи, что эта задача оказалась им не под силу. Поэтому наследники Бисмарковой власти, сознавая в глубине души свою немощь, и не принимались за эту задачу в надежде, что гениальность творца германского единства обеспечит зданию империи долгие годы спокойного и прочного существования. Дело Бисмарка не подвергалось в Германии критике, а принималось с закрытыми глаза-

27 В 1912 году и, вторично, — в 1913 году.

ми на веру с чувством подобострастного восхищения. Здание империи продолжало стоять в том же виде, в каком его оставил его творец, пребывая, по внешности, таким же несокрушимым и величественным, вопреки общему закону о недолговечности дел рук человеческих, требующих для продления своего существования постоянных исправлений. Бисмарк построил его отвечающим нуждам своего времени и соответственно особенностям склада своего ума, характера и дарований, не считаясь с неизбежным фактом перехода его политического наследства в руки эпигонов. В эту ошибку впадали все великие люди, создатели империй, духовные и политические реформаторы, основатели новых социальных систем и др., творя на свою мерку и забывая, что рано или поздно им придется оставить работу всей своей жизни неоконченной на руки людям общечеловеческого калибра. Помимо того, дело Бисмарка, как и всякого другого созидающего историю человека, каким бы он не обладал предвидением, было рассчитано прежде всего на его собственное время, на удовлетворение потребностей его века, и поэтому не могло считаться раз и навсегда завершенным, а нуждалось в приспособлении к постоянно изменяющимся обстоятельствам, в которых те «невесомые», которым он отводил широкое место в человеческих делах, играют иногда решающую роль. Если бы Бисмарк мог прожить вместо одной две человеческих жизни, то он, может быть, нашел бы в себе потребную гибкость, чтобы не дать окоченеть своему творению, и произвел бы работу, которая была бы нужна для его приспособления к духу и требованиям нового времени, и прежде всего внес бы изменения в ту систему союзов, которую он положил в основание внешней политики Германии и шаткость которой он не мог не сознавать. Вот этой-то работы не могли произвести эпигоны. Они продолжали жить на политический капитал, оставленный им Бисмарком, как будто этот капитал был неистощим. Заметив наконец, что вследствие

быстрого процесса австро-венгерского разложения политический кредит Германии начинал терпеть ущерб, они стали искать спасения в мертворожденных комбинациях, вроде Германо-Русско-Французского союза, на который им удалось вырвать в Бьерке условное согласие императора Николая. Как я уже говорил, были и попытки прочного сближения с Англией, любимой мечты всех германских государственных людей, но хотели купить это сближение чересчур дешевой ценой.

А между тем развитие программы мировой политики, для которой сил одной Германии, как бы велики они ни были, не могло хватить, а нужны были более надежные союзники, чем двуединая монархия Габсбургов, шло прежним шагом, продолжая вселять в государства Тройственного союза чувство постоянной тревоги и побуждая их принимать чрезвычайные меры, чтобы не быть в боевом отношении безнадежно опереженными Германией. Задача России в этом отношении была особенно сложна и тяжела и более всего, как я уже имел случай заметить, с точки зрения стратегических железных дорог, которые на нашей западной границе находились в почти зачаточном состоянии и к приведению которых в некоторое соответствие с нуждами оборонительной войны у нас начали приступать в сколько-нибудь серьезных размерах только за год до европейской войны, т. е. когда было уже слишком поздно. Это, однако, не мешало германскому правительству утверждать, что русское железнодорожное строительство последних перед войной лет велось с наступательными целями, когда вполне достаточно бросить беглый взгляд на карты России и ее западных соседей, чтобы убедиться, что нам было нужно не одно десятилетие упорного труда и громадных затрат, чтобы сравняться с ними в этом отношении.

Наряду с военными приготовлениями ко всяким случайностям державы Тройственного соглашения готовились и в поли-

тическом отношении к борьбе с центральными державами, становившейся с каждым годом более вероятной благодаря австро-венгерской политике на Балканах, то, как в 1909 году, открыто поддержанной Германией, то до поры до времени ею обуздываемой, как во время балканских войн. Предсказать что-либо на следующий день было совершенно невозможно. Неуклонно направленная к уничтожению Сербии воля Австро-Венгрии была всем хорошо известна, но решающий фактор в вопросе войны и мира, т.е. воинственное или миролюбивое настроение Германии, не поддавался, в каждую данную минуту, никакому учету.

С осени 1913 года в общем положении Европы последовало заметное ухудшение. Отправление в Константинополь военной миссии генерала Лимана фон Сандерса явно указывало на возраставший интерес Германии к балканским делам и при наличии постоянных вожделений венского кабинета в этом направлении должно было быть рассматриваемо, как неблагоприятный для мира симптом.

Одним из последствий этого шага Германии, явно указывавшего на ее желание занять господствующее положение на Босфоре, было автоматическое сближение между державами Тройственного соглашения и некоторое уточнение их взаимных отношений на случай неблагоприятного для европейского мира развития событий. Теперь, когда все принятые в этом отношении меры сделались общим достоянием, каждому беспристрастному человеку нетрудно убедиться из первоисточников, насколько они имели строго предохранительный характер и как несправедливы были обвинения центральных держав, направленные против Соглашения, в каких бы то ни было завоевательных замыслах.

Я не помню или, вернее, не знаю, кому принадлежит честь открытия так называемой «политики окружения» Германии,

императору ли Вильгельму, князю Бюлову или еще кому-нибудь другому, но, начиная с самого императора и его ближайших сотрудников, в нее уверовала решительно вся Германия. Нет сомнения, что с того дня, когда король Эдуард VII и Делькассе, основатели Тройственного соглашения, пришли к сознанию необходимости найти, в интересах европейского мира, противовес созданному Бисмарком двадцатью пятью годами раньше Австро-Германскому союзу, дополненному затем в 1882 году включением в него Италии, в Германии не переставали говорить о грозившей ей от Соглашения опасности окружения. В Берлине не хотели признать, что благодаря существованию Тройственного союза политическое равновесие в Европе было нарушено в пользу центральных держав, и не предвидели, что рано или поздно, но неизбежно, остальные великие державы, поставленные благодаря существованию этого союза в невыгодное и даже опасное положение, додумаются до создания такой политической группировки, которая восстановила бы нарушенное европейское равновесие. Однако то, что должно было случиться, случилось.

Через одиннадцать лет после заключения Тройственного союза был заключен Франко-Русский союз, а еще через столько же времени появилось на свет так называемое «сердечное соглашение», за которым вскоре последовало русско-английское соглашение 1907 года, положившее начало Тройственному соглашению, которое, хотя существовало без каких бы то ни было договорных актов, оказалось в минуту опасности вполне жизнеспособным.

В Германии, вероятно, до сей минуты немало людей, которые не могут освоиться с мыслью, что Франко-Русский союз, а затем и Тройственное соглашение — законные чада Тройственного союза. Этим обстоятельством объясняется тот невероятный успех, который имело открытие или, вернее, изобретение

знаменитой теории «германского окружения» и те макиавеллические замыслы, приписываемые до сегодняшнего дня королю Эдуарду и Делькассе.

Лично зная обоих, а последнего — очень близко, я могу безошибочно утверждать, что как тот, так и другой, несмотря на различие их государственного положения, политических функций и личного склада ума и темперамента, были убежденными сторонниками сохранения мира, вероятно, потому, что оба в одинаковой степени предвидели невыразимые бедствия, которыми европейская война угрожала человечеству. Тройственное согласие не преследовало никаких наступательных целей и стремилось только предупредить установление германской гегемонии в Европе, в чем оно усматривало опасность для своих жизненных интересов. Справедливость этой точки зрения едва ли можно оспаривать, и законность поставленной себе Согласием цели, я думаю, тоже не подлежит сомнению.

Для достижения означенной цели не требовалось никакого «окружения» Германии, которое, как на то указывает стратегическое происхождение этого слова, заключает в себе понятие нападения, бывшее одинаково чуждо стремлениям всех членов Согласия. Я постоянно наткнулся в немецкой политической литературе и повременной печати, а также и в разговорах с германскими дипломатами, которых мне приходилось встречать в различных местах моей службы, на обвинение правительств Согласия в намерении произвести на пагубу Германии эту знаменитую *Einkreisung*. При этом наиболее злостные замыслы приписывались чаще всего Англии, а вслед за ней Франции, в лице сначала Делькассе, а позже и Пуанкаре. На Россию в этом отношении падало меньше тяжких подозрений, и нас главным образом обвиняли в сочувствии, а иногда и содействии коварным деяниям наших друзей, причем больше всего обрушивалось обвинение на А.П.Извольского. Тем не

менее, сколько я ни старался добиться какого-нибудь определенного указания на попытку Согласия погубить Германию, я могу сказать по совести, что не получил ни разу в ответ ничего, кроме туманных намеков на какие-то коварные намерения Англии или Франции или же истолкований, решительно не отвечавших истинному характеру и значению хорошо мне известных фактов. Никакие возражения с моей стороны не помогали, и мне никогда не удавалось поколебать моих собеседников в их упорном заблуждении. Всегда неприятно видеть людей, упрямо идущих по ложному следу и не внимающих никаким увещаниям, но в данном случае подобные заблуждения были и опасны, потому что благодаря им стучалась еще более атмосфера недоброжелательства и взаимных подозрений, в которой Европа жила много лет до того, как над ней разразилась страшная буря 1914 года.

Я уже говорил выше, что план австро-венгерской дипломатии, составленный еще ранее убийства эрцгерцога Франца Фердинанда, для приведения в исполнение которого она добилась 5 июля 1914 года обещания поддержки и деятельной помощи императора Вильгельма и Бетмана-Гольвега, был до крайности прост. Он весь вмещался в нескольких словах: сломить Сербию, не считаясь с Россией (*ohne Rücksicht auf Russland*). Этой краткой формулой определялась громадная политическая задача. Над трудностью ее серьезно призадумался бы всякий разумный и опытный государственный человек. В Вене она была разрешена с чрезвычайной быстротой, в одно заседание совета министров, причем план Берхтольда встретил противоречие только со стороны одного из его членов, председателя совета министров Венгрии графа Тиссы, который, однако, узнав, что император Франц Иосиф заручился полным согласием кайзера, отказался от разногласия и присоединился к большинству, чем было достигнуто полное единодушие совета.

Таким образом, в Вене все было решено и подготовлено к нападению на Сербию. Австро- Венгрия с нетерпением ожидала дня, когда ей можно будет, под прикрытием германского щита, обрушиться на маленького соседа, слабость которого она, в своей горячности, переоценивала. Об остальном, как, например, о неизбежном столкновении с Россией и о дальнейших ожидавших ее международных осложнениях, она мало заботилась. На то у нее была непобедимая союзница, Германия, обещавшая ей свою помощь и торопившая ее начать выступление. Чтобы избежать возможности какой-нибудь осечки и бить наверняка, текст ультиматума был составлен так, чтобы совершенно исключить какую-либо возможность его принятия Сербией. В этом отношении чрезвычайно поучительным является донесение советника германского посольства в Вене князя Штольберга на имя статс-секретаря фон Яго от 18 июля²⁸, из которого я извлекаю следующие места:

1) «На мой вопрос, что было бы, если бы дело опять ничем не кончилось (т. е. если бы Сербия приняла австро-венгерский ультиматум), граф Берхтольд выразил мнение, что тогда пришлось бы, при фактическом выполнении отдельных требований ультиматума, прибегать к придирчивому вмешательству (*weitgehende Ingerenz*)»; 2) «Хойс (директор канцелярии Берхтольда) сказал мне только, что требования все же таковы, что государство, обладающее хотя бы некоторым самолюбием и чувством собственного достоинства, никак принять их не может».

Таким образом, все было предусмотрено. Если бы Сербия отвергла, как они того заслуживали, требования венского кабинета, она подверглась бы немедленному нападению. Если бы

она решилась принять их, то она должна была подвергнуться невыносимым придиркам, которые все равно привели бы к австрийскому вторжению. Гибель Сербии была решена. На что бы она ни решилась, она не могла ее избежать.

Когда я 24 июля ознакомился, через австро-венгерского посла, с содержанием венского ультиматума, я, само собой разумеется, не знал дипломатических документов, из которых я привожу выдержки при составлении этих воспоминаний. Тем не менее из одного чтения его текста мне стало совершенно ясно, что дело именно так и обстояло. Злая воля неумолимо сквозила из каждой строки этого единственного в своем роде документа. У меня не было основания скрыть от графа Сапари мое впечатление, и я сказал ему, что я не сомневался, что Австро-Венгрия искала войны с Сербией и что для этого она сжигала за собой все мосты, предъявляя неприемлемые требования. Я прибавил, что своим образом действий она вызывала европейский пожар.

В тот же день и в той же обстановке сэр Эдуард Грей заявил австро-венгерскому послу в Лондоне, графу Менсдорфу, что он «крайне беспокоится за сохранение мира между великими державами», а его германскому товарищу, князю Лихновскому, он сказал, что «опасность европейской войны сделалась бы непосредственной в случае вторжения Австрии в сербскую территорию». При этом сам Лихновский называл впечатление, произведенное в Англии ультиматумом, «ошеломляющим». То же самое пришлось услышать австро-венгерским представителям в Париже и Риме. Таким образом, в предостережениях недостатка не было, но император Франц Иосиф, граф Берхтольд и генерал Конрад фон Гетцендорф были к ним подготовлены и не дали себя свести с того пути, на который они стали при поощрении Германии и который дол-

жен был привести, по их ожиданиям, Австро-Венгрию к прежней славе и могуществу.

Я уже упоминал, что первым моим шагом была попытка выиграть время, и что я обратился в Вену с просьбой продлить 48-часовой срок ультиматума как чересчур краткий, в чем мне было отказано без пояснений причин. В Берлине моя просьба тоже не получила поддержки. При первом обмене мнениями с сербским посланником в Петрограде после передачи в Белград ультиматума я сказал ему, что не вижу возможности дать его правительству лучшего, в практическом отношении, совета, чем принять австрийские требования, за исключением тех, которые касались суверенных прав Сербии, каковыми, очевидно, ни одно правительство, не желающее променять свою независимость на положение вассального государства, не могло поступиться. Тот же совет я передал по телеграфу в Белград, где у власти тогда находился государственный человек, на твердость и мудрость которого я мог твердо рассчитывать для проведения меры, которой никакой другой министр, не имеющий в Европе положения Пашича и не пользующийся его авторитетом в своей стране, никогда не мог бы провести. Пашич оказался на высоте страшного по своей ответственности положения, в которое его поставили события, и нашел в себе мужество принести жертву, которая одна, как мы тогда думали, могла спасти его родину от скорой и дикой расправы.

Сербия приняла все требования австрийского ультиматума за исключением одного, которое касалось участия австро-венгерских чиновников в расследовании вопроса о соучастии сербских правительственных кругов в сараевском преступлении, причем этот отказ распространялся только на случай, если бы способ означенного участия не соответствовал нормам международного права. Вместе с тем Пашич выразил готовность отдать дело Сербии на решение Гаагского международ-

ного суда в случае, если бы венское правительство предъявило еще какие-нибудь дополнительные требования. Горькая чаша была испита до дна, и казалось, что Сербии дальше идти было некуда по пути подчинения тираническим требованиям более сильного соседа.

В эти тяжелые дни наследный королевич Александр обратился к Государю, от которого одного он мог надеяться получить действительную помощь. В этом обращении к России заключалось признание невозможности самозащиты и просьба о быстром содействии. В ответе императора Николая, указывающем на его искренние симпатии к сербскому народу и к наследнику престола, говорится об усиленных стараниях русского правительства преодолеть трудности момента и выражается уверенность в желании Сербии найти из них выход и избежать ужасов новой войны, предохранив вместе с тем свое достоинство. «Пока остается хоть малейшая надежда на избежание кровопролития, — говорится в заключении ответной телеграммы Государя, — все мои усилия будут направлены к этой цели. Если, несмотря на наше самое искреннее желание, мы ее не достигнем, Ваше Высочество может быть уверено, что Россия ни в каком случае не останется равнодушной к участи Сербии».

В этом ответе заключалось все, чего можно было ожидать от русского Государя в эту трагическую минуту. В нем ярко выступает глубокое миролюбие императора Николая и вместе с тем твердое намерение, которое разделяла и вся Россия, громко о нем заявившая с первой же минуты, не допустить того, чтобы Сербия стала первой жертвой завоевательной политики Австро-Венгрии на Балканах. Так как вопрос австро-сербских отношений был поставлен Берхтольдом в 1914 году, он далеко выходил за рамки чисто балканской политики. Венский ультиматум, хотя и был принят Сербией, невзирая на

содержавшиеся в нем невероятные требования, потому что указанная выше оговорка Сербии никак не могла быть истолкована как их отвержение, был, несомненно, только первым шагом по направлению к полному политическому порабощению Сербии. Это было ясно видно из его текста, а еще более из того, с какой стремительной быстротой австро-венгерская миссия поторопилась покинуть Белград после вручения ей сербского ответа, чем она давала явное доказательство своего полного равнодушия к его содержанию. Разрыв был предрешен. Тогда мы об этом догадывались; теперь же официальные сборники австрийских и германских дипломатических документов дают нам тому неоспоримые доказательства. Нелепое обвинение сербского правительства в участии в убийстве единственного члена дома Габсбургов, относившегося с некоторой симпатией к сербскому народу, могло быть, очевидно, только предлогом для замышлявшегося давно уничтожения сербского государства, через развалины которого Австро-Венгрия имела намерение подать руку своему единомышленнику и ставленнику Фердинанду Кобургскому.

Известная нам ныне из официальных источников и нашедшая сочувствие в Берлине мечта венского кабинета о создании нового Балканского союза под главенством центральных империй отдавала славянский восток связанным по рукам и по ногам во власть Австро-Германии, вытесняя раз и навсегда из Балкан русское влияние — наследия полуторастолетних упорных усилий и тяжелых жертв, и открывая беспрепятственный доступ австрийцам в Салоники, а немцам — в вожделенный Константинополь. Окончательное водворение Германии на Босфоре и Дарданеллах было бы равносильно смертному приговору России, точно так же как водворение ее в Кале и в Антверпене было бы гибельным для Франции и Великобритании.

В Вене, совершенно очевидно, предугадывали впечатление, которое разрыв с Сербией должен был произвести на русское правительство и на русское общественное мнение. Поэтому австро-венгерскому послу было поручено, для очищения совести, дать мне в момент передачи текста ультиматума уверения в отсутствии каких бы то ни было намерений его правительства присоединить части сербской территории или посягнуть на суверенные права Сербии. Эти уверения звучали тем более странно, что весь ультиматум был возмутительным посягательством на политическую независимость Сербии, и поэтому австрийские обещания не заслуживали никакого внимания. Тем не менее любопытно сопоставить с этими лживыми заявлениями то, что говорилось на австро-венгерском совете министров 7 июля 1914 года относительно территориальной неприкосновенности Сербии и ее независимости, как их понимали в Вене. Я заимствую следующее место из официального протокола этого заседания, напечатанного в упомянутом мной уже не раз сборнике австро-венгерских дипломатических актов издания 1919 года: «Затем началось обсуждение целей военного выступления против Сербии, причем было принято мнение венгерского председателя совета министров (гр. Тиссы), что Сербия, хотя и уменьшенная территориально, все же, из уважения к России, не должна быть окончательно уничтожена». Австро-венгерский председатель совета министров (гр. Штюркг) отмечает, что было бы также желательно, чтобы династия Кара-Георгиевичей была удалена и сербская корона отдана европейскому государю²⁹ и, равным образом, была установлена некоторая зависимость уменьшенной Сербии, в военном отношении, от двуединой монархии³⁰.

29 Читай — немецкому.

30 30 Австро-венгерский сборник дипл. док. 1919 года, №8, стр. 33.

Вот как в Вене понимали уважение независимости Сербии и ее территориальную неприкосновенность!

Объявление войны Сербии, последовавшее через сорок восемь часов после вручения в Белграде ультиматума, делало продолжение каких-либо переговоров чрезвычайно затруднительным. Краткость назначенного в Вене срока имела в виду именно эту цель. Тем не менее я продолжал употреблять все усилия, чтобы не дать им порваться. В этом направлении мне оказывали энергичную поддержку наши союзники и друзья. На помощь французского правительства я мог вполне рассчитывать, зная миролюбивые течения, которые бессменно преобладали в Париже с самого начала балканских войн. Но мне было еще важнее добиться, без всякого промедления, открытого заявления правительства Великобритании о его солидарности с Россией и Францией в австро-сербском столкновении. С первой же минуты мне было ясно, что хотя удар и был направлен из Вены, надо было действовать на Берлин, чтобы предотвратить страшную опасность, угрожавшую миру Европы. Я был убежден, что лучшим, а может быть, и единственным средством для этого было вызвать такое заявление со стороны английского правительства. У меня было еще свежо в памяти впечатление, произведенное всюду и прежде всего в Германии речью г-на Ллойда Джорджа в 1911 году, когда вследствие агадирского инцидента Европа, как казалось, была накануне всеобщей войны. Одного решительного заявления о солидарности британского правительства с Францией было тогда достаточно, чтобы разогнать густо собиравшиеся грозовые тучи.

Я был глубоко убежден, и сохраняю это убеждение и по сей час, что если бы подобное заявление о солидарности держав Тройственного согласия в вопросе об австро-сербском споре было своевременно сделано от лица правительства

Великобритании, из Берлина вместо слов поощрения раздались бы советы умеренности и осторожности, и что если, может быть, и не навсегда, то, по крайней мере, на целые годы был бы отсрочен час расчета между двумя противными лагерями, на которые была разделена Европа. На основании этого убеждения я посвятил первое же мое свидание с английским послом, сэром Джорджем Бьюкененом, в промежутке времени между вручением австрийского ультиматума 23 июля и получением, 25-го, сербского ответа, на то, чтобы убедить его в необходимости разъяснить в Лондоне нашу точку зрения и получить согласие его правительства на просимый решительный шаг. Имея под рукой английскую Синюю книгу 1914 года, я по ней проверяю мои воспоминания о первых переговорах моих с английским послом, происходивших в присутствии его французского товарища г-на Палеолога, энергично поддерживавшего мои доводы. Начались они с того, что я, приглашая посла на свидание по телефону, сказал ему, по первому впечатлению, что предпринятый в Вене шаг предвещал войну. Затем, в течение свидания, я высказал уверенность, что Австро-Венгрия не действовала бы таким вызывающим образом, если бы не спросила предварительно согласия Германии, и тут же прибавил, что я надеялся, что королевское правительство не замедлит заявить о своей солидарности с Россией и Францией. На ответ сэра Дж. Бьюкенена, что интересы Англии в Сербии ничтожны и что война из-за этой страны никогда бы не была допущена английским общественным мнением, я возразил ему, что Англия не должна забывать, что дело шло об общеевропейском интересе, так как сербский вопрос являлся не только вопросом балканским, но и европейским, и что Великобритания не имела права отстраняться от разрешения задач, выдвигаемых в связи с ним на очередь Австрией. Донося в Лондон об этом разговоре, посол писал, что г-н Палеолог и я настаивали на том, чтобы лондонский кабинет сделал заявление о своей

полной солидарности с нами, на что сэр Дж. Бьюкенен выразил мне надежду, что его правительство, может быть, согласится заявить в Берлине и Вене, что выступление Австрии против Сербии, вероятно, вызвало бы вмешательство России и таким образом вовлекло бы в борьбу Германию и Францию, и что тогда Англии было бы трудно оставаться в стороне, так как война сделалась бы всеобщей. Я возражал ему на это, что если война разразится, англичане рано или поздно все равно будут в нее вовлечены и что не становясь сразу же на сторону России и Франции, они сделают войну лишь более вероятной. Вместе с тем я выразил надежду, что, по меньшей мере, королевское правительство произнесет резкое порицание решению, принятому Австро-Венгрией³¹. На другой день после этого первого свидания я возобновил мои увещания ввиду истечения, в тот же вечер, срока ультиматума и крайней опасности всякой проволочки и сообщил английскому послу, что слышал от сербского посланника, что Сербия собиралась обратиться к державам за поддержкой. Мне казалось, что такое обращение было бы полезно. Я думал, что надо было употребить все усилия для того, чтобы перенести спор на международную почву, что было бы тем более правильно, что обязательства, принятые на себя Сербией в 1908 году относительно соблюдения добрососедских отношений с Австро-Венгрией и о которых было упомянуто в ультиматуме 23 июля, были приняты перед державами, а не перед одною Австрией. Если бы Сербия обратилась к державам, Россия готова была бы остаться в стороне, передав вопрос в руки Англии, Франции, Германии и Италии. Может быть, оказалось бы также возможным, что помимо этого обращения к державам Сербия предложила бы

31 Синяя книга. Франц. издание. Ч. I, № 4, стр. 14, 15, 17.

подвергнуть свой спор третьейскому суду. Я подтвердил послу, что Россия не имела никаких воинственных намерений и что она никогда не предпримет ничего, пока ее к этому не принудят. Действия Австро-Венгрии были направлены, в сущности, столько же против России, сколько против Сербии и имели в виду, уничтожив нынешний статус-кво на Балканах, установить там свою гегемонию. Если бы Англия теперь же заняла твердую позицию рядом с Россией и Францией, войны бы не было, и наоборот, если бы Англия нас в эту минуту не поддерживала, полились бы потоки крови, и в конце концов она все же была бы вовлечена в войну. Несчастье заключалось в том, что Германия была убеждена, что она могла рассчитывать на нейтралитет Англии. В заключение я сказал послу, что Россия не может позволить Австро-Венгрии раздавить Сербию и стать первенствующей державой на Балканах, и что если Франция окажет нам свою поддержку, мы не отступим перед риском войны. Я вновь повторил послу, что мы не хотим вызвать столкновения, но если Германия не удержит Австрии, положение делается безнадежным³².

Оно представлялось мне таковым с первой же минуты, так как вытекало с неотразимой логикой из последовательного хода событий двух предыдущих лет. Говоря с сэром Дж. Бьюкененом, я не подозревал, что мне когда-либо придется найти в австрийских и германских первоисточниках буквальное подтверждение моих тогдашних предположений.

Как я уже сказал, я и теперь сохраняю убеждение, что своевременное заявление Англии о ее солидарности с Россией и Францией побудило бы Германию повлиять на австро-венгерское правительство в смысле умерения его требований,

32 Синяя книга. Ч. I, № 9, стр. 29, 30 и 31.

благодаря чему явилась бы возможность найти выход из созданного им опасного положения. В появившихся в настоящее время в печати воспоминаниях г-на Асквита, бывшего в то время английским первым министром, о происхождении европейской войны, он останавливается на этом моменте моих переговоров с сэром Дж. Бьюкененом и, объясняя положение, занятое его правительством, говорит, что «до сих пор еще не было дано серьезного доказательства, что угрожающее или хотя бы только непримиримое со стороны Великобритании положение привело бы к тому, что Германия и Австро-Венгрия сошли бы с пути, на который они стали». Не знаю, верно ли передана в этих словах мысль г-на Асквита, так как я не видел английского текста его воспоминаний и привожу эту выдержку по переводу, появившемуся во французской печати³³. Как бы то ни было, мне кажется, что г-н Асквит забыл, утверждая это, упомянутое мной вмешательство английского правительства в спор между Германией и Францией в 1911 году, по характеру своему не менее опасный для европейского мира, чем австро-сербское столкновение в 1914 году. В том, что это вмешательство имело самые счастливые результаты, сомневаться, кажется, не приходится, так как даже такие, не чуждые некоторому шовинизму, германские государственные деятели, как адмирал Тирпиц, признают, что английское вмешательство привело Германию к дипломатическому поражению, хотя он вместе с тем отрицает воинственные намерения своего правительства. Можно было ожидать, что такой удачный прецедент должен был бы иметь больший вес в глазах г-на Асквита в силу того значения, которое англичане привыкли придавать прецедентам во всех областях политической жизни своей страны. К тому же

вряд ли возможно еще предполагать, что г-н Бетман-Гольвег предвидел вступление Англии в борьбу с Германией после обнародования донесения английского посла в Берлине, сэра Эдуарда Гошена, в котором он дает отчет, при каких обстоятельствах состоялось объявление войны Англией Германии вслед за нарушением ею бельгийского нейтралитета. Из этого, отныне знаменитого, донесения видно с неоспоримой ясностью, что объявление войны Англией было для германского канцлера страшной неожиданностью. Поэтому позволительно думать, что своевременное предупреждение со стороны английского кабинета произвело бы на Германию отрезвляющее действие. Нельзя, очевидно, доказать, что не случившееся событие имело бы те или иные последствия. Но в данном случае имеется, однако, сильная презумпция в пользу того взгляда, который без предварительного сговора я настойчиво отстаивал в Петрограде и который г-н Пуанкаре защищал в Париже³⁴. Воздержание английского правительства от решительного выступления в эту полную тревоги минуту было тем более прискорбно и непонятно, что ни в России, ни во Франции никто не мог допустить сомнения, что Англия так же искренно прилагала все усилия, чтобы предупредить возникновение европейской войны. Этому служило порукой бывшего тогда у власти либерального кабинета г-на Асквита, следовавшего в этом отношении преданиям своей партии, и в не меньшей степени — нравственные качества министра иностранных дел, сэра Эдуарда Грея, не без основания всю жизнь слывшего убежденным пацифистом.

Я был вынужден признать, с глубоким беспокойством, что первые шаги русского правительства на пути мирного улажи-

вания австро-сербского столкновения не дали желанных результатов несмотря на то, что Сербия сделала не только все, что мы от нее ожидали, но пошла гораздо дальше в этом направлении, чем мы могли надеяться. Англия уклонилась от заявления, о котором мы ее просили и которое сразу внесло бы желательную определенность и ясность в крайне смутное и опасное положение, созданное центральными державами, а из Берлина мы ни о чем другом не слышали, как только о необходимости локализации австро-сербского столкновения и вместе с тем о намерении Германии оказать всякую поддержку своей союзнице, т. е. именно того, что больше всего остального должно было обострить положение, поощряя австрийцев в их непримиримости. Яго уверял нашего поверенного в делах в Берлине 23 июля, что ему неизвестно содержание австрийского ультиматума, хотя мы теперь знаем, что Чиршкий сообщил ему его полный текст еще 21 июля³⁵. То же самое Яго телеграфировал и Лихновскому³⁶. Нелегко понять, почему надо было вводить в заблуждение не только противника, но и своих собственных представителей. В Париже на первых же порах дали себе ясный отчет в общеевропейском характере зачинавшегося спора и не давали себя сбить с толку его балканским происхождением.

Нам не оставалось ничего другого, как продолжать с той же энергией наши усилия парализовать злую волю Австро-Венгрии и добиться пересмотра недопустимых требований венского кабинета путем посредничества держав даже и после последовавшего 25 июля разрыва сношений между Австро-Венгрией и Сербией. Как ни трудно было ввиду этого факта,

35 Австро-венгерский сборник дипл. док. 1919 года, №47, стр. 119.

36 Сборник Каутского, № 126, стр. 146 и 147.

продолжать переговоры, я решился отстаивать их необходимость на совете министров под председательством Государя, который был назначен на 26 июля (по новому стилю), и заявил об этом накануне французскому послу.

Будучи уверен, что итальянское правительство не одобряло образа действия Австро-Венгрии, я поручил нашему послу в Риме Крупенскому просить маркиза Сан-Джулиано откровенно высказать в Вене свое несочувствие австрийским решениям и разъяснить Берхтольду невозможность локализации конфликта, а также и неизбежность русской поддержки Сербии.

Как я узнал вслед за этим, в Италии с возникновения австро-сербского столкновения установилось определенно отрицательное отношение к положению, занятому венским кабинетом в этом вопросе. Тщательно скрывавшееся от Италии намерение венского кабинета поставить Сербию в безысходное положение стало известно в Риме и возбудило там сильное неудовольствие и тревогу. Еще за несколько дней до моего обращения к маркизу Джулиано он сообщил германскому послу, что ему кажется невозможным какое бы то ни было представление сербскому правительству со стороны Австро-Венгрии по поводу убийства наследного эрцгерцога ввиду того, что оно было совершено австрийским подданным. Лица, близко стоявшие к министру, заявляли открыто, что Австро-Венгрия, предъявив неумеренные требования, поставила бы себя в невыгодное положение и не могла бы рассчитывать на поддержку Италии. Сан-Джулиано избегал прямого обмена мыслями с австрийским послом в Риме, но не скрывал своих взглядов от германского посла фон Флото, которому он сообщил, что Италия ни в каком случае не примет участия в политике подавления национальностей. Флото добросовестно сообщал в Берлин, что итальянское правительство едва ли захочет поддерживать австрийские требования, чтобы не

поставить себя в противоречие с глубоко укоренившимися чувствами итальянского народа.

Эти сообщения фон Флото беспокоили германское министерство иностранных дел, но ни на волос не изменили его сочувственного и поощрительного отношения к занятому венским кабинетом положению.

Одновременно с этим обращением в Риме я предложил гр. Берхтольдту разрешить австро-венгерскому послу в Петербурге рассмотреть со мной частным образом текст ультиматума для того, чтобы по взаимному соглашению изменить в нем некоторые места, которые казались мне неприемлемыми.

После 48 часов ожидания я получил ответ Берхтольда, в котором он через нашего посла в Вене сообщал мне, что не может ничего взять обратно, ни входить в обсуждение условий австрийского ультиматума. Помимо этого, он поручил графу Сапари передать мне, что он подчеркнул в своем разговоре с Н.Н.Шебеко невозможность принятия подобного рода предложений.

Из Берлина вести были не лучше. Яго заявил нашему поверенному в делах Броневскому, что он разделяет мнение Пурталеса, что раз между мной и австрийским послом уже начались переговоры, ничто не мешало нам их продолжать, но на просьбу Броневского повлиять в Вене в примирительном смысле он ответил, что не может советовать Австрии уступчивости³⁷.

Предложение мое скрестилось с предложением сэра Эдуарда Грея о посредничестве четырех незаинтересованных держав. Это предложение исходило из заявления, сделанного мной Бьюкенену о готовности русского правительства, остав-

37 Оранжевая книга. Франц. изд. № 38, стр. 54.

шись в стороне, передать дело посредничества между Австро-Венгрией и Сербией в руки четырех незаинтересованных великих держав и преследовало двоякую цель: 1) собрать их под председательством Грея в Лондоне для изыскания способа разрешения спора и 2) приостановку Австро-Венгрией и Сербией всяких военных приготовлений до окончания совещания посредников.

Предложение сэра Эд. Грея, внушенное искренним желанием русского и английского правительств, к которым тотчас же присоединилось и французское, имело еще и то преимущество, что державы, в руки которых было бы передано посредничество между спорившими сторонами, состояли бы поровну из представителей Тройственного согласия и Тройственного союза, чем бы наперед была предотвращена всякая возможность пристрастного решения. Тем не менее и этому предложению в Берлине был оказан не лучший прием, чем моим двум предыдущим. Французский посол в Берлине г-н Жюль Камбон предложил, по поручению своего правительства, следующую формулу, намеренно неопределенную и смягченную для сообщения ее в Петроград и Вену: воздерживаться от всякого действия, которое могло бы обострить настоящее положение³⁸.

Как предложение Грея, так и формула Ж. Камбона были категорически отвергнуты Бетманом- Гольвегом и фон Яго. Отрицательный ответ Германии вызвал, в виде ответной меры, отсрочку роспуска британского флота, собранного для маневров в Немецком море. Принимая эту меру, сэр Эдуард Грей заявил австро-венгерскому послу, что Англия не имела в виду созывать резервистов и что в мере, принятой по отношению к флоту, не заключалось угрозы, но что ввиду возможности

европейской войны английское правительство не сочло возможным разбрасывать свои силы³⁹. Если по словам английского министра иностранных дел, не следовало видеть угрозы в военной мере, принятой Англией, то в словах его к графу Менсдорфу трудно было не усмотреть серьезного предостережения. В Берлине и Вене к ним отнеслись, однако, как к попытке запугивания.

В тот же день, когда Берхтольд ответил отказом на мое предложение продолжать переговоры с австро-венгерским посланцем в Петрограде, т. е. 28 июля (по новому стилю), Австрия объявила войну Сербии и совершила нападение на сербскую флотилию на Дунае. В Петрограде ожидали с часа на час объявления австрийской мобилизации. Уже 26 июля управляющий нашим консульством в Праге известил меня о состоявшемся, но еще не объявленном официально приказе о мобилизации, за которым должен был очевидно последовать приказ об общей мобилизации, который и был подписан 28-го, т. е. в день объявления войны Сербии.

Того же числа, под впечатлением все ухудшавшегося политического положения, я послал следующую телеграмму графу Бенкендорфу в Лондон: «Мои беседы с германским посланцем укрепляют во мне предположение, что Германия поддерживает неуступчивость Австрии. Берлинский кабинет, который мог бы остановить развитие кризиса, по-видимому, совершенно не влияет на своих союзников. Германия находит ответ Сербии неудовлетворительным. Мне кажется, что Англия, более чем всякая иная держава, могла бы еще попытаться воздействовать на Берлин, чтобы побудить германское прави-

тельство к нужным шагам. Ключ положения находится, несомненно, в Берлине»⁴⁰.

Того же 28 июля я получил от нашего генерального консула в Фиуме телеграмму, в которой он извещал меня об объявлении осадного положения в Словении, Хорватии и в Фиуме и о созыве резервистов всех разрядов.

В Петрограде, где убеждение неизбежности вооруженного столкновения с Австро-Венгрией вследствие объявления ею войны Сербии в то самое время, когда императорское правительство прилагало все усилия, чтобы путем мирных переговоров и дружелюбного посредничества держав предотвратить войну, проникало все глубже в сознание правительства и общественного мнения всей России, пришли той порой к заключению о необходимости принятия соответственных мер предосторожности, чтобы избежать опасности быть застигнутыми врасплох австрийскими приготовлениями. Совет министров, под председательством Государя, постановил приступить к немедленной мобилизации четырех военных округов, в общей сложности 13 армейских корпусов, предназначенных действовать против Австро-Венгрии, и утром 29 июля указ об их мобилизации был обнародован в обычном порядке.

Накануне издания этого указа я телеграфировал в Берлин, поручая Броневскому сообщить германскому правительству о принятых нами вследствие объявления войны Австро-Венгрией военных мерах, из которых «ни одна не была направлена против Германии». Подобное сообщение было сделано мной устно германскому послу, который заявил мне, от имени канцлера, что его правительство не переставало влиять умеряющим образом в Вене и намеревается продолжать это воздей-

40 Оранжевая книга, № 43, стр. 60 и 61.

ствии даже и после объявления войны. Поблагодарив графа Пурталеса за это сообщение, я сказал ему, что указом о мобилизации наших четырех южных округов не предreshались наступательные меры против Австро-Венгрии, а что наша мобилизация объяснялась мобилизацией большей части австро-венгерской армии. При этом я выразил послу мнение, что для использования всех средств к мирному разрешению кризиса было бы целесообразно прибегнуть к посредничеству четырех незаинтересованных держав и, параллельно с этим, — к непосредственным переговорам между Россией и Австро-Венгрией. Я прибавил, что после уступчивости, обнаруженной Сербией, не трудно было бы найти почву для компромисса, при условии, конечно, некоторой доброй воли со стороны Австрии и содействия в этом смысле всех остальных держав. Во время этого разговора с германским послом я не знал еще, что Берхтольд уже ответил решительным отказом на продолжение прямых переговоров с Петроградом. Не знал я также, что Германия ответит отказом, по формальным причинам, на предложение о посредничестве четырех держав. Как я, так и министры иностранных дел Англии и Франции не переставали получать, даже и после этого отказа, уверения от германского правительства в том, что оно не переставало употреблять свое влияние в Вене в смысле миролюбия. В чем выражались эти старания мы, конечно, не знали. С тех пор, благодаря обнародованию германских секретных документов, нам стало известно, что крайне примирительный ответ Сербии на австрийский ультиматум вызвал в императоре Вильгельме, как кажется, вполне искреннее желание образумить венский кабинет и убедить его удовольствоваться достигнутым им дипломатическим успехом. По крайней мере, в письме своем к г-ну фон Яго Вильгельм II, не обинуясь, говорит, что «с капитуляцией Сербии отпадает всякое основание к войне». Но ввиду своего недоверия к искренности сербов он предлагает Австрии «зару-

читься залогом в виде захвата Белграда» или иного временного занятия какой-нибудь части сербской территории, «подобно тому, как мы (Германия) оставили войска во Франции до выплаты миллиардов». На таких основаниях, писал император, он был бы готов предложить Австрии свое мирное посредничество.

Было ли это настроение глубоко и прочно, я не знаю. Можно в этом усомниться. У людей впечатлительных и поверхностных, как Вильгельм II, настроения нередко переживают тот момент, под влиянием которого они зарождаются. По крайней мере мы больше ничего не слышали о каких-либо серьезных попытках кайзера употребить свое личное влияние в Австрии на пользу мира. Те старания, о которых он упоминал в своих телеграммах к Государю, были лишены всякого значения, и на них надо смотреть просто как на риторический прием. Иначе он, вероятно, не называл бы «бессмыслицей»⁴¹ мысль, выражавшуюся Государем о передаче австро-сербского спора в Гаагский международный суд.

Во всяком случае, эти мимолетные вспышки добрых чувств не нашли поддержки у руководителей германской внешней политики. Таким образом, главной заботой Бетмана-Гольвега в критические июльские дни являлось, как это видно из его переписки с Чиршким, не сохранение мира, а скорее представление событий в таком виде, чтобы Германия казалась вынужденной к войне. После необыкновенной поспешности, с которой подготовлялось в Вене нападение на Сербию, после того, что разрыв дипломатических сношений произошел ровно через сорок восемь часов по передаче ультиматума, что затем через три дня последовало объявление войны, а вслед за ним,

41 Сборник Каутского. Ч. II, № 337, стр. 54.

еще через сутки, — и бомбардирование Белграда, с видимой целью отрезать себе все пути отступления, можно было предположить, что военные приготовления Дунайской монархии были вполне закончены и что она не могла дожидаться минуты вторгнуться во вражеские пределы. Между тем в Берлине неожиданно узнали, что Австро-Венгрия может начать активные действия только через две недели, т. е. не ранее 12 августа. Такое непредвиденное запоздание поставило, как мы узнаем из письма канцлера Бетмана-Гольвега от 28 июля к германскому послу в Вене, Германию в крайне затруднительное положение, в котором было бы нетрудно найти элемент комизма, если бы общее положение не было бы так глубоко трагично. Канцлер горько жалуется Чиршкому на это промедление, говоря, что германское правительство рискует сделаться в этот долгий промежуток времени со стороны других держав предметом настойчивых предложений посредничества или международной конференции. В случае же, если бы Германия продолжала соблюдать свое отрицательное отношение к подобным предложениям, тяжкий упрек в возбуждении мировой войны пал бы на нее даже со стороны ее собственного общественного мнения. В таких условиях нельзя было вести победоносную войну на трех фронтах. «Поэтому, — прибавляет канцлер,

— надо — и это является для нас повелительным долгом, — чтобы ответственность за участие в борьбе государств, не заинтересованных непосредственно в споре, пала, во всяком случае (*unter alien Umstfnden*), на Россию».

В конце письма канцлер поручает послу настоять на том, чтобы Берхтольд повторял русскому правительству уверения в нежелании Австро-Венгрии посягнуть на сербскую территорию, не создавая вместе с тем впечатления, что Германия имела желание остановить Австро-Венгрию. Все дело должно было свестись к тому, чтобы найти способ осуществить цель

венской политики подрезать жизненный нерв велико-сербской пропаганды без того, чтобы разразилась война, и в случае, если бы она оказалась неизбежной, изыскать для ее ведения возможно благоприятные условия⁴².

Как охарактеризовать подобные инструкции? Прежде всего они являлись ярким отражением всей политики Бетмана-Гольвега, неопределенной и шаткой, не основанной на стремлении к ясно опознанной цели и не опирающейся на точном знании политического положения Европы. Можно, говоря об этой политике, пойти дальше и сказать, что едва ли был когда-нибудь государственный человек, на долю которого выпало управление внешними сношениями великой империи в пору тяжелых международных осложнений, который обнаружил бы такую неспособность правильной оценки не только положения данной минуты, но и международных отношений, созданных событиями последнего 50-летия европейской истории. Искать разгадку его бесчисленных ошибок в прирожденной воинственности или болезненно-повышенном национальном самосознании, какое мы видим у многих германских государственных и общественных деятелей и даже у ученых, совершенно невозможно. Бетман-Гольвег был человек по природе миролюбивый и даже свободный от шовинизма и тщеславия. Он не искал предлогов к войне и, вероятно, даже не желал ее, но когда безумием его союзников он был поставлен к ней лицом к лицу, он не сделал не только ничего, чтобы спугнуть ее грозный призыв, но как безвольное существо покорно пошел по пути, на который его поставили эти союзники, неясно отдавая себе отчет, куда его ведут, но вместе с тем тая надежду извлечь пользу из чужого греха, ответственность за который он, одна-

ко, боялся взять на себя, а старался всеми силами свалить на другого.

Корень ошибок германских государственных людей заключался в том, что мечтая достичь необъятных целей, поставленных германскому народу создателями «мировой политики», они забыли мудрое правило Бисмарка не искать недостижимого. Им представлялось, что такая задача, как создание пресловутой «Mitteleuropa», т. е. установление германского владычества над континентом Европы, а тем более создание фантастической империи, простиравшейся от берегов Рейна до устьев Тигра и Евфрата, которое я в одной из моих думских речей назвал Берлинским халифатом, была достижима теми средствами, которыми располагала Германия и ее умиравшая от беспощадного внутреннего недуга союзница. Иными словами, в Берлине было утрачено чувство соотношения между целью и средствами. Ни Вильгельму II, ни его канцлеру не приходило в голову, несмотря на манию преследования, которой они страдали и которая выражалась в том, что они верили в какую-то политику вражеского окружения, жертвой которой должна была стать Германия, что опасение попыток со стороны Германии осуществления этой мировой политики возникало у держав Тройственного соглашения и многих иных при всяком международном осложнении, в котором были замешаны интересы Германии или Австро-Венгрии, каковых, как известно, в XX веке было несколько. Трудно найти ответ на вопрос, каким образом Германия могла допустить мысль, что угрожающая существованию и независимости нескольких европейских государств политическая программа, открыто провозглашаемая в течение долгих лет германской печатью и многими лицами, близко стоявшими к правительству, и находящая нередко сочувственный отголосок в официальных заявлениях не только правительства, но и самого императора, в конце концов не приведет к тому, что коалиции, которых Бисмарк так боялся

для молодой Германии, возникнут сами собой и сделают осуществление германского политического идеала невозможным. При таком легко объяснимом настроении своих противников Германии было достаточно одного неосторожного слова или жеста, чтобы укрепить их в убеждении, что она считала любое из вышеозначенных международных осложнений удобным для приведения в исполнение своей программы мирового владычества. Поведение берлинского кабинета при возникновении австро-сербского столкновения было именно таково, что давало обильную пищу опасениям и подозрениям держав Тройственного согласия. Если, как уверяют нас главные действующие лица трагедии 1914 года, они не желали войны, то хочется спросить их, как бы поступили они, если бы они ее желали.

Говоря о примирительных предложениях императорского правительства и министра иностранных дел Великобритании, я упомянул о том, что две мои попытки, так же как и попытка, сделанная сэром Эд.Греем, не увенчались успехом. 28 июля император Вильгельм вернулся из своего обычного морского путешествия в норвежских фьордах. Государь, узнав об этом, обратился к нему с телеграммой, в которой он выразил кайзеру просьбу оказать ему свое содействие в тягостную минуту объявления Австро-Венгрией «подлой» (ignoble) войны слабому соседу. Негодование в России, вполне разделяемое Государем, было огромное, и он предвидел минуту, когда под давлением общественного мнения ему придется прибегнуть к мерам, могущим привести к войне. Государь просил Вильгельма II именем их старой дружбы сделать все от него зависевшее, чтобы избежать бедствий европейской войны, помешав его союзникам зайти слишком далеко.

На этой искренней по содержанию и дружественной по форме телеграмме Вильгельм II сделал, по своей привычке,

пространные замечания, в которых было решительно все, начиная с подозрения, что Государь имел в виду свалить на кайзера ответственность за происходившее, затем следовали: упрек в скрытой угрозе, истолкование выражения «подлой» войны как проявление панславистских взглядов, совет непосредственного обращения к императору Францу Иосифу для прямых переговоров с ним и еще многое другое, кроме просимого Государем, в интересах мира, воздействия на воинственное настроение венского кабинета⁴³.

Таким образом, личное обращение Государя к кайзеру с просьбой о его своевременном вмешательстве в австро-сербский спор имело не больше успеха, чем примирительные попытки сэра Эд. Грея и мои. Тем не менее британский министр иностранных дел, по моей просьбе, предпринял в Берлине новые шаги, целью которых было просить германское правительство самому указать средство, которое, по его мнению, могло бы сделать возможным посредничество четырех незаинтересованных держав для избежания столкновения между Россией и Австро-Венгрией. При этом сэр Эд. Грей в своей уступчивости венскому кабинету зашел за пределы первоначальной мысли русского правительства, стоявшего на точке зрения необходимости одновременного с посредничеством держав прекращения военных действий против Сербии, и предложил Австрии занятие некоторой части сербской территории до тех пор, пока она ни добилась бы удовлетворения своих требований, под условием, однако, отказа от дальнейшего движения вперед в ожидании окончательных результатов посреднических усилий держав.

Россия не возражала и против этого нового предложения, хотя оно и превышало по своей уступчивости все, чего можно было от нее ожидать.

Судя по разговорам, бывшим у меня, между тем с германским послом, я мог надеяться, что на этот раз германское правительство согласится наконец употребить свое влияние в Вене, чтобы убедить Берхтольда в необходимости большей сговорчивости. Утром 29 июля мы еще не получили известий о переходе австрийцами сербской границы, зато в главный штаб постоянно доходили известия о мобилизационных мерах на русской границе в Галиции, о начале которых мы были извещены уже несколько дней перед тем и которые, по нашим сведениям, были почти закончены к этому времени. Германия, по словам графа Пурталеса, продолжала настаивать на непосредственных переговорах между Веной и Петроградом, на которые Австро-Венгрия по-прежнему не соглашалась. Что касалось мысли о посредничестве держав, то германское правительство упорно считало ее не приемлемой для своей союзницы. Выходило нечто похожее на работу Данаид. С какой степенью энергии проявлялось берлинское влияние в Вене, я не знал, да и теперь не берусь решить. Зато можно вполне определенно сказать, что Вена, со своей стороны, с чрезвычайной настойчивостью требовала от Берлина заявления нам о намерении Германии приступить к мобилизации, если мы будем продолжать наши вооружения. Со ставшим ей обычным по отношению к Австро-Венгрии самоотречением Германия добросовестно выполнила это поручение, и 29 июля меня посетил германский посол, чтобы сообщить мне о приня-

том германским правительством, согласно австрийской просьбе⁴⁴, решении.

Сообщение графа Пурталеса было сделано в той весьма внушительной форме, в которой делались обыкновенно германскими представителями все сообщения их правительства и которые нередко весьма близко подходили к требованиям ультимативного характера. Свое сообщение сам Пурталес назвал «дружественным предостережением» (*eine freundliche Mahnung*)⁴⁵.

В тот же день я послал А.П.Извольскому в Париж и нашим представителям при великих державах телеграмму следующего содержания: «Сегодня германский посол сообщил мне принятое его правительством решение о мобилизации, если Россия не прекратит своих военных приготовлений. Мы приступили к таковым только вследствие мобилизации, к которой уже приступила Австро-Венгрия, и ввиду очевидного у нее отсутствия желания согласиться на какой бы то ни было способ мирного разрешения своего столкновения с Сербией. Так как нам невозможно уступить желанию Германии, нам не остается ничего другого, как ускорить наши собственные вооружения и считаться с вероятной неизбежностью войны. Благоволите предупредить об этом французское правительство и выразить ему одновременно нашу благодарность за заявление, сделанное мне французским послом, что мы можем вполне рассчитывать на поддержку союзной Франции. При настоящих обстоятельствах это заявление особенно ценно⁴⁶.

44 Австрийская Красная книга. Франц. изд., № 46.

45 Базельские известия, 21 сентября 1917 года.

46 Оранжевая книга. Франц. изд., № 58.

В день отправления приведенной телеграммы Извольскому Государь с не меньшим, если не большим, чем все члены русского правительства, напряжением следивший за каждым шагом заинтересованных в европейском кризисе правительств и изыскивавший всевозможные средства для спасения Европы от всеобщего пожара, отправил императору Вильгельму телеграмму, из которой я извлекаю следующие заключительные слова: «Было бы справедливо повергнуть австро-сербский спор на решение Гаагского трибунала. Я доверяю твоей мудрости и твоей дружбе»⁴⁷.

Трудно не отдать дани удивления этим простым, полным глубокого миролюбия и благородной доверчивости словам покойного Государя. Они не вызвали никакого отклика, кроме собственноручно написанного Вильгельмом II на полях телеграммы выразительного восклицания, заимствованного из берлинского простонародного жаргона. Нам уже известно, что мысль о каком-нибудь посредничестве считалась в Вене, а поэтому и в Берлине, совершенно недопустимой, так как была большая вероятность, что посредничество разрушило бы все планы австрийской политики и с ними вместе и надежды, возлагавшиеся на них. При этом следует заметить, что по сообщениям, о которых нетрудно догадаться, германская Белая книга, напечатавшая другие телеграммы императора Николая к Вильгельму II, ни одним словом не обмолвилась об этой, и она была обнародована русским «Правительственным вестником» только через шесть месяцев после своего отправления. Я помню изумление всех дружественных и многих нейтральных правительств, когда текст ее стал достоянием гласности. Петроградские представители их спрашивали меня, как могло

47 Сборник Каутского, № 336.

случиться, что документ такой важности оставался никому неизвестным целых полгода. Ответ был очень прост: я сам не знал ничего о его существовании. Государь отправил свою телеграмму в Потсдам под влиянием угнетавшей его заботы о сохранении европейского мира прямо из Петергофа и затем, из-за огромной массы всяких дел, забыл передать ее мне, пока не напал на нее случайно в январе 1915 года.

День 29 июля был многозначительным для переговоров, предшествовавших объявлению нам войны Германией. В этот день мы узнали доподлинно, что военное столкновение между Австро-Германией, Россией и Францией стало неизбежно. Сказать нам это яснее, чем сделал это германский посол во время разговора со мной, было невозможно. Австро-Венгрия мобилизовала свои силы против Сербии, которой она объявила войну, и на другой же день начала бомбардировку Белграда. Против нас ею было мобилизовано восемь армейских корпусов, что вызвало с нашей стороны ответные мобилизационные меры на австрийской границе. Что же касается трех северных военных округов, предназначенных действовать против Германии, то в них не был призван ни один резервист. Об этом ей было официально заявлено военным министром и мной и было хорошо известно ее военным представителям в Петрограде, как это видно из их опубликованных донесений своему начальству. Таким образом, нам за мобилизацию против Австрии, предпринятую в качестве ответной предохранительной меры, угрожали из Берлина мобилизацией германской армии, предупреждая, что это будет означать войну (*dies wurde aber den Krieg bedeuten*)⁴⁸.

Что оставалось России делать, как не начать готовиться ко всеобщей мобилизации, очевидно не ввиду открытия военных действий против Германии, о чем Государь лично заявил кайзеру, а чтобы быть готовыми ко всяким случайностям, которые при медленности нашей мобилизации представляли для нас особенную опасность.

День 30 июля не только не внес никакого прояснения в общее чрезвычайно запутанное положение, но значительно его еще ухудшил. Все переговоры, которые австрийское и германское правительства вели одновременно с дружественными нам кабинетами и о которых мы были постоянно осведомлены ими, увеличивали еще мою тревогу. Поставив себе задачей представить здесь краткий очерк событий, в которых я принимал личное участие и которые могут способствовать правильному пониманию образа действий императорского правительства в эти мрачные дни, я принял за правило упоминать не иначе, как вскользь, даже о тех фактах, которые, из посторонних источников, подкрепляли и оправдывали тогдашние взгляды и образ действия русской дипломатии. Поэтому я ограничусь тем, что скажу, что укрепившееся в нас к 30 июля убеждение о неизбежности европейской войны вследствие занятого центральными империями положения разделялось не только в Париже и Лондоне, но и в Риме. Несмотря на господствовавшее везде миролюбие, всеми правительствами сознавалась необходимость так или иначе готовиться к надвигавшимся на Европу грозным событиям. При этом как мы, так и друзья наши были проникнуты одинаковым намерением не прерывать, пока была на то какая-либо возможность, дипломатических переговоров, прекращение которых привело бы к войне немедленно.

Несмотря на крайне трудное положение, в которое нас ставило упорство венского кабинета, отвергавшего поочередно все мои примирительные предложения, я тем не менее, с

полного одобрения Государя, продолжал мои попытки договориться до возможности установить с центральными державами какую-нибудь общую точку зрения. Об этом я поставил в известность французского и английского послов, с которыми у меня наладилось доверчивое сотрудничество ввиду общности преследуемых нами мирных целей, сказав им, что «я буду продолжать переговоры до последней минуты»⁴⁹.

Того же 30 июля у меня снова было свидание с германским послом, в течение которого он обратился ко мне с вопросом, не могли ли бы мы удовольствоваться обещанием Австро-Венгрии не посягать на территориальную неприкосновенность Сербии, и просил указать, на каких условиях мы согласились бы приостановить наши военные приготовления. Я тут же написал на листке бумаги и передал ему следующее заявление: «Если Австрия, признав, что австро-сербский вопрос принял характер вопроса европейского, изъявит готовность удалить из своего ультиматума пункты, посягающее на суверенные права Сербии, Россия обяжется прекратить свои военные приготовления»⁵⁰.

Едва ли было возможно великой державе дать большее доказательство своего миролюбия, чем то, которое заключалось в предложенной мной графу Пурталесу формуле. Россия соглашалась приостановить свои военные приготовления в ответ на один отказ Австро-Венгрии от посягательства на государственную независимость Сербии, не предъявляя ей со своей стороны требования о немедленном прекращении начатых ею военных действий и демобилизации на русской границе. Это предложение было, с моей стороны, превышением

49 Франц. Желтая книга, № 54.

50 Оранжевая книга. Франц. изд., № 60.

власти, так как я не имел полномочий идти так далеко в моих переговорах с центральными державами. Я мог взять на себя ответственность за него только потому, что знал, что в глазах Государя единственным пределом уступчивости и примирительности служили честь и жизненные интересы России и что совет министров был настроен не менее примирительно, чем император Николай II.

Через несколько часов после вручения означенной формулы германскому послу я получил от нашего посла в Берлине С. Н. Свербеева телеграмму, в которой он сообщал мне, что передал статс-секретарю по иностранным делам мое предложение, сообщенное одновременно и Пурталесом, и что г-н фон Яго объявил ему, что он считает наше предложение неприемлемым для Австрии⁵¹. Между берлинским и венским кабинетами установилось, очевидно, такое полное единодушие, что один мог говорить за другого. С каждым часом последние наши надежды на сохранение мира улетучивались, и необходимость принятия мер самозащиты становилась все настоятельнее.

Этот же день принес мне другую весть из Берлина. Свербеев телеграфировал мне, что декрет о мобилизации германской армии был подписан. Не теряя ни минуты, я сообщил это известие военному министру и начальнику генерального штаба. Я должен признаться, что после моих разговоров с германским послом оно меня не удивило. Около полудня 30 июля в Берлине появился отдельный выпуск германского официоза «Lokal Anzeiger», в котором сообщалось о мобилизации германских армий и флота. Телеграмма Свербеева с этим известием была отправлена незашифрованной в Петроград

51 Оранжевая книга. Франц. изд., № 63.

через несколько минут после появления означенного листка и получена мной часа два спустя. Вскоре после отправления своей телеграммы Свербеев был вызван к телефону и услышал от фон Яго опровержение известия о германской мобилизации. Это сообщение он передал мне также по телеграфу без всякого замедления. Тем не менее на этот раз его телеграмма попала в мои руки со значительным запозданием. История появления известия о германской мобилизации до сих пор не вполне выяснена. Несомненно одно: оно появилось на другой день после заседания в Потсдаме Коронного совета и так или иначе с ним связано. Никто, конечно, не удивится, что к этому известию в России отнеслись весьма серьезно и что декрету о мобилизации армии больше поверили, чем его опровержению. Германские источники относятся к ней различно. Официальные или сочувствующие правительству издания не придают ему никакого значения, оппозиционные же считают его соответствующим истине. Во всяком случае само германское правительство допускает, что оно не осталось без влияния на решение России в вопросе об объявлении всеобщей мобилизации 31 июля. Так, Бетман-Гольвег писал Лихновскому, что он думает, что русскую мобилизацию можно объяснить ложными слухами, хотя и тотчас опровергнутыми, о германской мобилизации, которые ходили 30-го по городу и которые могли быть переданы в Петроград⁵².

Это были не слухи, а определенное сообщение отдельного выпуска официозного органа.

У этой истории есть еще и другая сторона, в одинаковой мере не раскрытая. Это — причина непонятого запоздания второй телеграммы Свербеева, которой он, со слов фон Яго,

52 Сборник Каутского. Ч. III, № 488.

опровергал первую. Ближайшее объяснение этого странного факта, само собой напрашивающееся, то, что замедление передачи этой второй телеграммы было умышленное. Доказательств этому, разумеется, нет и быть не может, но мнения многих лиц, обративших в печати свое внимание на это обстоятельство, сходятся на том, что запоздание телеграммы русского посла было не случайное и произошло по распоряжению германского правительства, имевшего в виду этой мерой ускорить объявление русской мобилизации под первым впечатлением сообщения «Lokal Anzeiger», затем опровергнутого, и таким образом выставить русское правительство в глазах всей Европы и особенно германского общественного мнения виновником войны. Я не имею неопровержимых данных утверждать, что это было так, но ввиду упомянутой выше заботы германского правительства о том, чтобы по соображениям внутренней политики сложить всю вину за возникновение европейского пожара на Россию, означенное толкование заслуживает быть принятым во внимание.

Как бы то ни было, было ли сообщение «Lokal Anzeiger» маневром германского правительства или результатом нескромности какого-нибудь лица, узнавшего о подготовляемой или уже начатой тогда германской мобилизации, в Петрограде в связи с приходившими с границы известиями объявлению Берлинской официальной газеты было придано именно то значение, о котором упоминает германский государственный канцлер в вышеприведенной своей телеграмме к германскому послу в Лондоне.

Около двух часов дня 30 июля начальник генерального штаба генерал Янушкевич телефонировал мне, что ему необходимо было переговорить со мной о последних сведениях, полученных в штабе, что у него в кабинете в эту минуту находился военный министр и что они оба просят меня зайти к ним.

Идя в здание главного штаба, где жил Янушкевич и которое находится в пяти минутах ходьбы от министерства иностранных дел, я предугадывал то, что мне придется услышать. Я застал обоих генералов в состоянии крайней тревоги. С первых же слов я узнал, что они считали сохранение мира более невозможным и видели спасение только в немедленной мобилизации всех сухопутных и морских сил империи. Об Австро-Венгрии они почти не упоминали, вероятно, потому, что оттуда нам уже нельзя было ожидать никаких сюрпризов, так как намерения ее относительно Сербии были вполне ясны, и что ввиду надвигавшейся со стороны Германии опасности австрийская отходила на второй план и представлялась мало-значущей. Генерал Янушкевич сказал мне, что для него не было ни малейшего сомнения, благодаря специальному осведомлению, которым располагал генеральный штаб, что германская мобилизация подвинулась вперед гораздо дальше, чем это предполагалось, и что ввиду той быстроты, с которой она вообще могла быть произведена⁵³, Россия могла оказаться в положении величайшей опасности, если бы мы провели нашу собственную мобилизацию не единовременно, а разбили бы ее на части. Генерал прибавил, что мы могли проиграть войну, ставшую уже неизбежной, раньше, чем успели бы вынуть шашку из ножен. Я был достаточно знаком со степенью германской военной подготовленности и с многочисленными недостатками и пробелами нашей собственной военной организации, чтобы не усомниться в справедливости слов Янушкевича. Я ограничился тем, что спросил, доложено ли об этом Государю. Генералы ответили мне, что Государю в точности известно истинное положение вещей, но что до сих пор им не

53 По выражению Мольтке, германская армия находилась в состоянии постоянной мобилизации.

удалось получить от Его Величества разрешение издать указ об общей мобилизации и что им стоило величайших усилий добиться согласия Государя мобилизовать четыре южных военных округа против Австро-Венгрии даже после объявления ею войны Сербии и бомбардировки Белграда, несмотря на то, что сам Государь заявил кайзеру, что мобилизация у нас не ведет еще неизбежно к открытию военных действий. Ту же разницу между мобилизацией и войной проводили у нас на всех ступенях нашей военной администрации, и это было хорошо известно всем иностранным военным представителям в Петрограде. Генерал Янушкевич во время этого хорошо памятного мне разговора сообщил мне, что наша мобилизация могла быть отложена еще на сутки, как крайний срок, но что затем она оказалась бы бесполезной, так как не могла бы быть проведена в должных условиях, и что ему в этом случае пришлось бы снять с себя ответственность за последствия дальнейших промедлений.

Ввиду чрезвычайной важности минуты начальник генерального штаба и военный министр убедительно просили меня переговорить по телефону с Государем, находившимся в Петергофе, и постараться повлиять на него в смысле разрешения принять нужные меры для начала всеобщей мобилизации.

Мне не приходится говорить о том, с каким чувством я принялся за исполнение этой просьбы, касающейся области мне совершенно чуждой и, по существу своему, нелегко примиримой со складом моего характера и моих убеждений. Я тем не менее взялся выполнить возлагавшееся на меня поручение, усматривая в нем тяжелый долг, от которого я не считал себя вправе уклониться в такую страшную по своей ответственности минуту. Я должен сделать здесь оговорку личного свойства. Я не был другом ни генерала Сухомлинова, ни генерала Янушкевича, и простого их утверждения было бы недостаточ-

но в обычное время, чтобы заставить меня переменить мой взгляд на какой-либо вопрос, которому я придавал серьезное значение. Но в данном случае дело обстояло иначе. Во-первых, я лично был не менее, если не более их, подготовлен услышать от них то, что они мне сказали, так как сведения, которыми я располагал, хотя и были менее точны со стороны технических подробностей, укрепляли меня в том, что взгляд генералов не только на очевидную неизбежность войны, но и на возможность ее неожиданного возникновения в каждую минуту совершенно совпадал с моим собственным осведомлением, почерпавшимся чаще из первоисточников, чем из вторых рук. Во-вторых, я хорошо знал, что ни генерал Сухомлинов, ни генерал Янушкевич не были настроены воинственно, и тем более заражены германофобией, которой болели еще у нас молодые офицеры, и то в значительно меньшей степени, чем это было вскоре после Берлинского конгресса, когда интересы России были преданы Бисмарком интересам наших всегдашних врагов австрийцев и тогдашних врагов — англичан. С тех пор сменилось целое поколение, и наши раны зарубцевались. Чтобы раскрыть их, надо было случиться событиям чрезвычайным, а те, которые с быстротой грозовой тучи на нас надвигались, не успели еще проникнуть в сознание нашей армии. К тому же русские германофобы принадлежали к числу так называемых политических генералов, тип которых стал исчезать после смерти Скобелева или измельчал до полной безвредности. Помимо всего этого, глубокая искренность тона моих собеседников и горячая их патриотическая тревога убедили меня, что мне было невозможно не сделать того, о чем они меня просили, как бы тягостно оно для меня ни было.

Я соединился с телефоном Петергофского дворца. Прошло несколько минут мучительного ожидания, прежде чем я услышал голос, которого я сразу не узнал, человека, очевидно не привыкшего говорить по телефону и спрашивавшего, кто с

ним говорит. Я ответил Государю, что говорю с ним из кабинета начальника генерального штаба. «Что же Вам угодно, Сергей Дмитриевич?» — спросил Государь. Я ответил, что убедительно прошу его принять меня с чрезвычайным докладом еще до обеда. На этот раз мне пришлось ждать ответа еще дольше, чем раньше. Наконец голос раздался снова и сказал: «Я приму вас в три часа». Генералы вздохнули облегченно, а я поспешил домой, чтобы переодеться и еще до половины третьего выехал в Петергоф, куда прибыл к назначенному мне часу.

У Государя никого не было, и меня тотчас же впустили в его кабинет. Входя, я заметил, при первом же взгляде, что Государь устал и озабочен. Когда он здоровался со мной, он спросил меня, не буду ли я иметь чего-либо против того, чтобы на моем докладе присутствовал генерал Татищев, который в тот же вечер или на другой день утром собирался ехать в Берлин, где он уже несколько лет занимал должность состоящего при императоре Вильгельме свитского генерала. Я ответил, что буду очень рад присутствию на докладе генерала, которого я давно знал и с которым был в хороших отношениях, но выразил вместе с тем сомнение, чтобы Татищеву удалось вернуться в Берлин. «Вы думаете, что уже поздно?» — спросил Государь. Я мог ответить только утвердительно.

По звонку Государя через минуту в кабинет вошел генерал Татищев. Это был тот самый Татищев, о котором не только знавшие его лично люди, но и все, кому известна трагическая история его бесстрашной смерти в Екатеринбурге вместе с Государем и всей его семьей, сохраняют благоговейную память, как об одном из благороднейших и преданнейших слуг Царя-мученика.

Я начал мой доклад в десять минут четвертого и кончил его в четыре часа. Я передал Государю подробно мой разговор с военным министром и начальником генерального штаба, не

пропустив ни одной подробности из слышанного мной от них, и прибавил к этому последние полученные в министерстве иностранных дел известия из Австрии и Германии, которые были еще неизвестны Государю. Все они не оставляли сомнения в том, что положение за те два дня, что я не видел Его Величества, настолько изменилось к худшему, что не оставалось больше никакой надежды на сохранение мира. Все наши примирительные предложения, заходившие далеко за пределы уступчивости, которой можно ожидать от великой державы, силы которой еще не тронуты, были отвергнуты. Та же участь постигла и те предложения, которые были сделаны, с нашего согласия, сэром Эд. Греем и которые свидетельствовали о не меньшем нашего миролюбии британского правительства. Перейдя к вопросу о всеобщей мобилизации, я сказал Государю, что вполне разделяю мнение генералов Янушкевича и Сухомлинова об опасности всякой дальнейшей ее отсрочки, так как по сведениям, которыми они располагали, германская мобилизация, хотя и не объявленная еще официально, тем не менее была уже значительно подвинута вперед благодаря совершенству германской военной организации, позволявшей без шума, путем личного призыва выполнить значительную часть мобилизационной работы и затем, после объявления мобилизации, завершить ее в самый короткий срок. Это обстоятельство создавало для Германии громадное преимущество, которое могло быть парализовано нами, и то до известной только степени, своевременным принятием мобилизационных мер. Государю это было хорошо известно, что он давал мне понять молчаливым наклоением головы. Утром 30 июля он получил от императора Вильгельма телеграмму, в которой говорилось, что если Россия будет продолжать свою мобилизацию против Австро-Венгрии, роль посредника, взятая на себя кайзером по просьбе Государя, станет невозможной. Вся тяжесть решения лежала поэтому на плечах Государя, которо-

му, таким образом, одному приходилось нести ответственность за мир и за войну. Эта телеграмма не успела еще дойти до меня, и я ознакомился с ней только в кабинете Государя. Я видел по выражению его лица, насколько он был оскорблен ее тоном и содержанием. Одни угрозы и ни слова в ответ на предложение передачи австро-сербского спора в Гаагский трибунал. Это спасительное предложение, если бы не счастливая случайность, о которой я упомянул, осталось бы и поныне никому неизвестно. Дав мне время внимательно перечитать злополучную телеграмму, Государь сказал мне взволнованным голосом: «Он требует от меня невозможного. Он забыл или не хочет признать, что австрийская мобилизация была начата раньше русской, и теперь требует прекращения нашей, не упоминая ни словом об австрийской. Вы знаете, что я уже раз задержал указ о мобилизации и затем согласился лишь на частичную. Если бы я теперь выразил согласие на требования Германии, мы стояли бы безоружными против мобилизованной австро-венгерской армии. Это безумие».

То, что говорил Государь, было передумано и перечувствовано мной еще накануне, после вышеупомянутого посещения германского посла. Я сказал это Государю и прибавил, что как из телеграммы Вильгельма II к Его Величеству, так и из устного сообщения мне Пурталеса я мог вынести только одно заключение, что нам войны не избежать, что она давно решена в Вене, и что в Берлине, откуда можно было бы ожидать слова вразумления, его произнести не хотят, требуя от нас капитуляции перед центральными державами, которой Россия никогда не простила бы Государю и которая покрыла бы срамом доброе имя русского народа. В таком положении Государю не оставалось ничего иного, как повелеть приступить ко всеобщей мобилизации.

Государь молчал. Затем он сказал мне голосом, в котором звучало глубокое волнение: «Это значит обречь на смерть сотни тысяч русских людей. Как не остановиться перед таким решением?». Я ответил ему, что на него не ляжет ответственность за драгоценные жизни, которые унесет война. Он этой войны не хотел, ни он сам, ни его правительство. Как он, так и оно сделали решительно все, чтобы избежать ее, не останавливаясь перед тяжелыми для русского национального самолюбия жертвами. Он мог сказать себе с полным сознанием своей внутренней правоты, что совесть его чиста и что ему не придется отвечать ни перед Богом, ни перед собственной совестью, ни перед грядущими поколениями русского народа за то кровопролитие, которое принесет с собою страшная война, навязываемая России и всей Европе злою волею врагов, решивших упрочить свою власть порабощением наших естественных союзников на Балканах и уничтожением там нашего исторически сложившегося влияния, что было бы равносильно обречению России на жалкое существование, зависимое от произвола центральных империй. Из этого состояния ей не удалось бы вырваться иначе, как путем невыразимых усилий и жертв, притом в условиях полного одиночества и в расчете на одни собственные силы.

Мне было больше нечего прибавить к тому, что сказал Государю, и я сидел против него, внимательно следя за выражением его бледного лица, на котором я мог читать ужасную внутреннюю борьбу, которая происходила в нем в эти минуты и которую я сам переживал едва ли не с той же силой. От его решения зависела судьба России и русского народа. Все было сделано и все испытано для предотвращения надвигавшегося бедствия, и все оказалось бесполезным и непригодным. Оставалось вынуть меч для защиты своих жизненных интересов и ждать с оружием в руках нападения врага, неизбежность которого стала для нас за последние дни осязаемым фактом,

или, не приняв боя, отдаться на его милость и все равно погибнуть, покрыв себя несмываемым позором. Мы были загнаны в тупик, из которого не было выхода. В этом же положении находились и наши французские союзники, так же мало желавшие войны, как и мы сами, уже не говоря о наших балканских друзьях. Как те, так и другие знали, что им выбора не оставалось, и решили, хотя и не с легким сердцем, принять вызов. Все эти мысли мелькали у меня в голове в те минуты мучительного ожидания, которые прошли между всем тем, что я по внушению моего разума и моей совести счел себя обязанным высказать Государю, и его ответом. Рядом со мной сидел генерал Татищев, не проронивший ни слова, но бывший в том же состоянии невыносимого нравственного напряжения. Наконец Государь, как бы с трудом выговаривая слова, сказал мне: «Вы правы. Нам ничего другого не остается делать, как ожидать нападения. Передайте начальнику генерального штаба мое приказание о мобилизации». Я встал и пошел вниз, где находился телефон, чтобы сообщить генералу Янушкевичу повеление Государя. В ответ я услышал голос Янушкевича, сказавший мне, что у него сломался телефон. Смысл этой фразы был мне понятен. Генерал опасался получить по телефону отмену приказа об объявлении мобилизации. Его опасения были, однако, неосновательны, и отмены приказа не последовало ни по телефону, ни иным путем. Государь поборол в своей душе угнетавшие его колебания, и решение его стало бесповоротно.

Я не буду говорить, что я пережил в эти ужасные часы и как тяжело мучила меня тревога об исходе той ужасной борьбы, на которую влекли плохо к ней подготовленную Россию и к которой Государь относился с таким непреодолимым отвращением. Это чувство разделялось с одинаковой силой и всеми ответственными за судьбы родины людьми. А вместе с тем после германского требования о немедленном разоружении,

предъявленном мне 29 июля Пурталесом, мы могли ожидать только либо новых и еще менее приемлемых требований, либо открытого нападения. Положение, занятое Германией в этот решающий момент, тогда еще только дипломатической борьбы, могло быть объяснено лишь желанием берлинского кабинета не задержать, а ускорить войну. Таково было впечатление в Петрограде; таково же было оно в Париже и в Лондоне, где сэр Эд. Грей, настаивая в разговоре с германским послом Лихновским на вмешательстве Германии в Вене, сделал ему предостережение, которое должно было бы открыть глаза слепому на отношение английского правительства к тем поощрениям, которые давались из Берлина непримиримому положению, занятому венским кабинетом, и на те последствия, к которым оно должно было привести.

Теперь, после обнародования революционным правительством в 1919 году сборника подлинных дипломатических документов, мы можем заглянуть за кулисы и ознакомиться из первоисточника с истинным настроением главных действующих лиц на берлинской сцене, приходится признать, что у двух из них, и как раз тех, которые, казалось, должны были бы сказать решающее слово, т. е. у императора Вильгельма и имперского канцлера, были проблески правильной оценки образа действий венского кабинета. На это указывает вышеупомянутое письмо Вильгельма II г-ну фон Яго, написанное под первым впечатлением крайней уступчивости сербского правительства, проявленной вслед за вручением ему австрийского ультиматума. В этом письме он советует Австро-Венгрии удовольствоваться дипломатическим успехом, не видя для нее более повода к войне. Такое же сознательное отношение к австрийским замыслам мы находим и в телеграмме канцлера от 30 июля на имя германского посла в Вене. Здесь мы видим сетования на то, что австрийское правительство упорно отказывалось от всяких примирительных предложений,

в особенности английских, и рядом с этим опасение, что благодаря этому едва ли будет возможно возложить на Россию (zuzuschieben) вину в разгоравшемся европейском пожаре⁵⁴. В конце этой телеграммы мы снова встречаем повторение опасения, как бы венский кабинет не доказал своим поведением, что он желал войну, и Россия не оказалась, таким образом, безвиной (schuldlos), «чем создалось бы для нас, по отношению к нашему собственному народу, совершенно невыносимое (unhaltbar) положение». Далее следует настоятельное приглашение венского кабинета принять предложение Грея, как «ограждающее положение Австро-Венгрии во всех отношениях».

Этой телеграмме предшествовала, всего несколькими часами ранее, другая, на имя того же Чиршкого, в которой говорилось, что прекращение переговоров с Петроградом было бы «серьезной ошибкой, так как таким образом Россия прямо вызывалась бы (proviziert) на войну»⁵⁵. Далее следует заверение, что Германия готова исполнить свой союзнический долг, но вместе с тем отказывается быть легкомысленно вовлеченной в мировой пожар без того, чтобы в Вене принимались во внимание ее советы.

В этих телеграммах нельзя не найти следов примирительных увещаний и советов благоразумия, хотя приходится признать, что стараясь как будто сдерживать венский кабинет от непоправимых решений, в Берлине, как это с полной убедительностью вытекает из приведенных документов, более всего заботились о том, чтобы виновной в будущей войне оказались ни Австрия, ни Германия, а Россия. Это было нужно импер-

54 Сборник Каутского, № 441.

55 Сборник Каутского, № 396.

скому канцлеру для обеления его политики как в глазах собственного народа, который ни в коем случае не должен был считать свое правительство ответственным за войну, так и в глазах общественного мнения нейтральных стран. Первая из этих задач, поставленных себе берлинским кабинетом, была им успешно разрешена, так как еще в настоящее время найдется немало немцев, уверенных в наступательных замыслах России против их отечества. Что же касается до второй, то тут старания Бетмана-Гольвега не увенчались успехом, и вне Германии найдется немного людей, оправдывающих его политику. Тем не менее нельзя утверждать, что Германия ничего не сделала для того, чтобы раскрыть глаза своей союзнице на безумие ее политики, и в отношении этих попыток я был бы склонен дать пальму первенства Вильгельму II над имперским канцлером, так как побуждения императора были более высокого нравственного качества, чем те, которыми руководствовался Бетман-Гольвег. Признав наличие хотя и весьма запоздалой, но все же примирительной нотки в берлинских увещаниях, приходится пожалеть, что эта нота прозвучала настолько слабо и неуверенно, что была совершенно заглушена шумом и треском австро-венгерских труб и барабанов. В 1914 году в Берлине забыли, каким тоном надо было говорить в Вене, чтобы быть услышанными, хотя не прошло еще и года, как грозный окрик из Потсдама возымел при почти торжественных обстоятельствах самое благотворное влияние на венское воинственное настроение.

Как ни кажутся слабыми приведенные увещания Бетмана-Гольвега, утверждавшего, что он не переставал действовать успокоительно на Вену, которая между тем неуклонно продолжала готовиться к выступлению, требуя одновременно прекращения русских вооружений, оказывается, что даже в такой робкой форме их в Берлине считали излишними. Во второй части сборника германских официальных документов

Каутского мы находим телеграмму канцлера, которой он предписывает Чиршкому не сообщать Берхтольду только что перед тем отправленной телеграммы, приведенной выше, в которой говорилось о необходимости продолжать начатые в Петрограде переговоры, чтобы не давать России повода готовиться к войне⁵⁶. Почему канцлер счел нужным бить отбой после того, как он только что, казалось, так здраво оценил опасность общеполитического положения, понять чрезвычайно трудно, даже имея в виду ту невероятную растерянность и сумятицу, которые господствовали в эту пору на Вильгельмштрассе⁵⁷ и о которых адмирал Тирпиц дает интересные и поучительные сведения в своих воспоминаниях. Чтобы объяснить противоречивость и непоследовательность германской политики, надо, вероятно, искать причины более глубокие, чем те, в которых Тирпиц усматривает слабость берлинской дипломатии, имевшую такие ужасные последствия.

Рядом с только что упомянутой телеграммой Бетмана-Гольвега, отменявшей предшествовавшую ей более примирительную, в том же Сборнике помещена другая⁵⁸, в которой приостановка первой объясняется вмешательством генерального штаба, утверждавшего, что военные приготовления восточного соседа, т. е. России, вынуждали Германию «к быстрым решениям во избежание неожиданностей». В день отправления этой телеграммы, т. е. 30 июля, наши подготовительные военные меры сводились, как было сказано выше, к мобилизации против Австро-Венгрии 4 южных округов, т.е. мы были, с точки зрения военной готовности, в том же положении, как и

56 Сборник Каутского, № 450.

57 А. von Tirpitz. Erinnerungen. Leipzig, 1920.

58 Сборник Каутского, № 451.

она сама, не говоря о том, что она уже находилась в войне с Сербией. Всеобщая мобилизация была объявлена у нас только 31 июля, т.е. в тот же день, что в Берлине был объявлен

«Kriegsgefahrzustand» раньше, чем туда дошло известие о нашей мобилизации. Это объявление состояния военной опасности мало чем, кроме названия, отличалось от мобилизации и представляло собою немецкое ухищрение, позволяющее начать мобилизацию без того, чтобы это слово было произнесено.

Позволительно думать, что означенное вмешательство германского генерального штаба в вопросе об отправке канцлерской телеграммы было вызвано желанием прибегнуть к тем «быстрым решениям», пора для которых, по мнению германских военных властей, уже настала. Можно также предположить, что с этого дня судьбы Германии, а вместе с ней и всей Европы, уже окончательно перешли из слабых рук немецких дипломатов в более крепкие генерального штаба.

На следующий день, т. е. 31 июля, г-н Бетман-Гольвег отправил в Вену еще одну телеграмму, в которой на этот раз отмена вышеозначенного сообщения Берхтольду объяснялась уже не вмешательством генерального штаба, а получением телеграммы от английского короля на имя принца Генриха Прусского⁵⁹.

Как бы ни интересно было разобраться в этой путанице и найти ее настоящие причины, это пока еще едва ли возможно из-за недостаточности подлинных документов, находящихся во всеобщем распоряжении. Поэтому в виде наиболее приемлемого разъяснения приходится поневоле допустить первую гипотезу, а именно о вмешательстве генерального штаба, выведенного из терпения нерешительностью берлинской политики,

шатавшейся из стороны в сторону. Второй — можно принять ту безурядицу, которая водворилась в государственной канцелярии, где с самого начала сербских осложнений было заметно отсутствие единой руководящей воли, достаточно сильной для отпора непрошеному вмешательству в область внешней политики. Еще во времена всемогущества Бисмарка генеральный штаб был настолько влиятельным учреждением, что самому Железному Канцлеру было еле под силу с ним бороться, а с тех пор, за время управления Бетмана-Гольвега и следовавших за ним недолговечных канцлеров, как перед великой войной, так и особенно в продолжение ее, роль гражданской верховной власти стала сводиться к тому, что она сдавала своей более сильной сопернице одну за другой свои позиции и вскоре дошла до состояния полного испарения.

Между тем, чтобы исполнить волю Государя и остаться верным данному себе и нашим союзникам слову до крайней возможности не обрывать переговоров с противниками, я согласился на видоизменение сэром Эд. Греем сделанного мной по просьбе Пурталеса и тотчас же отвергнутого Яго предложения приостановки русских вооружений в случае отказа Австро-Венгрии от требований, несовместимых с положением Сербии как независимой державы. Новая редакция, предложенная Греем, значительно видоизменяла мою формулу, так как она допускала временное занятие австрийцами некоторых частей сербской территории и этим приближалась к мысли императора Вильгельма об «австрийских залогах» в Сербии. Грей требовал от Австрии только приостановки дальнейшего продвижения своих войск и полагался на решение держав в вопросе об удовлетворении австрийских требований при одном лишь условии сохранения суверенных прав сербского правительства и территориальной неприкосновенности страны.

Как ни была мне антипатична эта новая формула, я тем не менее испросил у Государя разрешение принять ее во имя интересов европейского мира, отдавая себе ясный отчет, что будучи по существу несправедливой, она не могла ни привести к правильному разрешению австро-сербского столкновения, ни установить удовлетворительных и прочных отношений между спорящими сторонами. Государь, несмотря на свое глубокое миролюбие, был неприятно поражен новым предложением Грея, и мне стоило не меньшего усилия убедить его дать на него свое согласие, чем мне самому просить его о нем.

Таким образом, нам приходилось поставить крайним пределом нашей уступчивости вопрос о неприкосновенности сербской территории и государственной независимости. За этим пределом перед нами восставал, во всем своем ужасе, кровавый призрак европейской войны, отогнать который, несмотря на все жертвы, принесенные для этого сербским народом и Россией, нам не удалось. Нет ничего тягостнее, как становиться на путь отречения и жертв, предвидя их бесполезность.

Предложение мое, четвертое по счету с появления австрийского ультиматума, со внесенными в него сэром Эд. Греем изменениями, было сделано 31 июля, т. е. в день объявления Германией

«состояния опасности войны» и нашей общей мобилизации. Между ними, как я уже сказал, не было существенной разницы, кроме той, что объявление опасности войны давало возможность мобилизации без объявления о ней. Но между самим понятием мобилизации у нас и в Германии была огромная разница. В России на мобилизацию смотрели не только как на средство нападения, но также как на средство самосохранения, и в 1914 году нашей мобилизации был придан именно этот характер, как об этом Государь лично предупредил императора Вильгельма в одной из своих телеграмм к нему, подтвердив это

утверждение своим словом и обещая ничего не предпринимать против своих соседей, пока переговоры с Австрией не будут окончательно прерваны. В Германии же мобилизация вела непосредственно к войне, как мне объявил о том германский посол.

Как видно из телеграммы Бетмана-Гольвега к Чиршкому от 30 июля, генеральный штаб настаивал на «быстрых решениях», т.е. на немедленной мобилизации, иными словами — на войне.

Желание германской военной партии было исполнено, хотя и не без некоторого сопротивления со стороны государственного канцлера⁶⁰ и г-на фон Яго, старавшихся отложить на некоторое время объявление войны, сознавая, по объяснению г-на Каутского, что Германия начинала войну при неблагоприятных для себя международных условиях⁶¹.

31 июля в полночь германский посол вручил мне ультиматум, в котором Германия требовала от нас в 12-часовой срок демобилизации призванных против Австрии и Германии запасных чинов. Это требование, технически невыполнимое, к тому же носило характер акта грубого насилия, так как взамен роспуска наших войск нам не обещали однородной меры со стороны наших противников. Австрия в ту пору уже завершила свою мобилизацию, а Германия приступила к ней в этот самый день объявлением у себя «положения опасности войны», а если верить главе временного баварского правительства Курту Эйснеру, вскоре затем убитому, то и тремя днями раньше. Как будто этого всего было недостаточно, германский ультиматум

60 Адмирал Тирпиц в своих «Воспоминаниях» утверждает обратное.

61 К. Kautzky. Comment s'est déclanchée la guerre mondiale. Paris, 1921.

предъявлял нам еще требования каких-то объяснений по поводу принятых нами военных мер.

Ни по существу, ни по форме эти требования не были, само собою разумеется, допустимы. Военные приготовления наших западных соседей представляли для нас величайшую опасность, от которой нас могло оградить только немедленное прекращение ими всяких мобилизационных мер. Не приходится говорить о том, что демобилизация в эту минуту внесла бы полное и непоправимое расстройство во всю нашу военную организацию, которой наши противники, оставаясь мобилизованными, не замедлили бы воспользоваться, чтобы осуществить беспрепятственно свои замыслы.

Передавая мне ультиматум своего правительства, германский посол обнаружил большую возбужденность и настойчиво повторял свое требование демобилизации. Мне удалось сохранить мое спокойствие, и я мог разъяснить ему без раздражения причины, по которым русское правительство не могло пойти навстречу желаниям Германии. Я уже несколько ранее был подготовлен к этому шагу берлинского кабинета и отчетливо сознавал, что дело мира, на которое мы положили бесконечные усилия, было бесповоротно проиграно и что за этим шагом через несколько часов последует другой — последний и окончательный, результатом которого будут для всей Европы бедствия, о размерах которых самое живое воображение не могло дать и бледного представления.

Пока протекал данный нам для капитуляции перед центральными державами срок, австро-венгерское правительство неожиданно выразило свое согласие на возобновление прерванных с нами переговоров, которые оно так решительно отвергало, пока от них можно было ожидать какой-нибудь пользы. Имело ли на решение Берхтольда какое-либо влияние давление из Берлина, как это утверждало германское прави-

тельство, обнаруживавшее с запозданием целого года⁶², телеграммы Бетмана-Гольвега к Чиршкому, в которых он советовал венскому кабинету возобновить с нами разговоры, или же это решение было принято Берхтольдом самопочинно ввиду неготовности австрийской армии к активным действиям не только против России, но и против Сербии, или же, наконец, — просто для отвода глаз, так как в Вене уже имели уверенность в предстоявшем объявлении нам Германией войны и поэтому могли безнаказанно обнаружить некоторую примирительность, — в настоящее время не представляет большого интереса. Гром орудий помешал возобновлению этих переговоров, которым я придавал практическое значение только в первую стадию австро-сербского столкновения. Объявление войны Сербии и бомбардирование Белграда лишали их этого значения, и я, не отказываясь от них по вышеприведенным соображениям, утратил к ним всякий интерес. Помочь они ничему не могли, а отсрочивать было более нечего. Этот шаг, последний и бесповоротный, был совершен Германией в субботу 1 августа. В 7 часов вечера ко мне явился граф Пурталес и с первых же слов спросил меня, готово ли русское правительство дать благоприятный ответ на предъявленный им накануне ультиматум. Я ответил отрицательно и заметил, что хотя общая мобилизация не могла быть отменена, Россия тем не менее была по-прежнему расположена продолжать переговоры для разрешения спора мирным путем.

Граф Пурталес был в большом волнении. Он повторил свой вопрос и подчеркнул те тяжелые последствия, которые повлечет за собою наш отказ считаться с германским требова-

62 Факт этого труднообъяснимого запоздания побудил многих сомневаться в подлинности этих телеграмм.

нием отмены мобилизации. Я повторил уже данный ему раньше ответ. Посол, вынув из кармана сложенный лист бумаги, дрожащим голосом повторил в третий раз тот же вопрос. Я сказал ему, что не могу дать ему другого ответа. Посол, с видимым усилием и глубоко взволнованный, сказал мне: «В таком случае мне поручено моим правительством передать вам следующую ноту». Дрожащая рука Пурталеса вручила мне ноту, содержащую объявление нам войны. В ней заключалось два варианта, попавшие по недосмотру германского посольства в один текст. Эта оплошность обратила на себя внимание лишь позже, так как содержание ноты было совершенно ясно. К тому же я не имел времени в ту пору подвергнуть ее дословному разбору.

После вручения ноты посол, которому, видимо, стоило большого усилия исполнить возложенное на него поручение, потерял всякое самообладание и, прислонившись к окну, заплакал, подняв руки и повторяя: «Кто мог бы предвидеть, что мне придется покинуть Петроград при таких условиях!». Несмотря на собственное мое волнение, которым мне, однако, удалось овладеть, я почувствовал к нему искреннюю жалость, и мы обнялись перед тем, как он вышел нетвердыми шагами из моего кабинета.

Несмотря на то, что граф Пурталес не всегда удачно выполнял свою роль посредника между германским и русским правительствами в критическое для обоих время и, по-видимому, односторонне и неполно осведомлял берлинский кабинет о положении вещей в Петрограде, я не сомневаюсь, что он искренно желал избежать разрыва между своей родиной и Россией не только по чувству врожденного миролюбия, но и потому, что он отдавал себе отчет в том, какие последствия означенный разрыв должен был неизбежно повлечь за собой. Вероятно, представление об этих последствиях восстало в его

воображении с особенной силой в минуту, когда ему пришлось принять непосредственное участие в его совершении, и было причиной того припадка отчаяния, который овладел им, когда он осознал, что совершилось нечто грозное и непоправимое, ужас чего не было в силах охватить ничье воображение.

Если бы Пурталес не был образцовым прусским чиновником, я бы мог подумать, что в его мысли в данную минуту промелькнуло сомнение в том, было ли его правительством и им самим сделано все, что было возможно, чтобы избежать или, по крайней мере, отсрочить надвигающуюся катастрофу. Но такое сомнение навряд ли его мучило. Он не подозревал о многом, что сделалось известно лишь долгое время спустя, и верил, как большинство его соотечественников, в непогрешимость своего правительства.

На другой день, в 8 часов утра, посол со всем составом посольства и баварской миссии и 80-ю другими германскими подданными покинул в экстренном поезде Петроград, направляясь в Берлин через Швецию. Я с удовольствием отмечаю здесь, что отъезд германских дипломатов из России состоялся благодаря заботливости и предупредительности русских властей в полном порядке и благочинии. В этом отношении он выгодно отличался от отбытия из Берлина нашего дипломатического представительства и некоторых членов русской колонии, покинувших Германию вместе с С.Н.Свербеевым и подвергшихся оскорблениям уличной толпы.

Таким образом состоялся разрыв с Германией, вручившей нам в течение трех суток два ультиматума, требовавших немедленного приостановления предпринятых нами мер военной безопасности без всякого ручательства взаимности ни с австрийской, ни с собственной стороны, и вслед за этими ультиматумами, после нашего отказа от капитуляции, объявила нам войну. Эти угрозы были направлены против России, делавшей

нечеловеческие усилия, чтобы избежать войны, и приступившей к мобилизации своей армии только для того, чтобы не быть застигнутой событиями врасплох, тогда как в Вене, где война была давно предрешена с ведома и согласия Германии, не раздалось из Берлина ни одного внушительного слова, чтобы спасти Европу от угрожавших бедствий. Германия отчуждила свою свободу действий, свыклась с мыслью о войне и поэтому не хотела и не могла ее предотвратить. В этом заключается тяжкий грех берлинского правительства перед человечеством и собственным народом.

Между тем мы все еще не находились в состоянии войны с Австро-Венгрией, главной зачинщицей создавшегося невыносимого положения. Так как венский кабинет в последнюю минуту заявил нам о своем желании продолжать прерванные им с нами переговоры, русское правительство не давало своим войскам приказа перейти австрийскую границу, имея в виду данное Государем обещание не нарушать мира, пока будут продолжаться переговоры, т.е. пока не исчезнет последняя, хотя бы и слабая надежда на его сохранение. Германия, таким образом, оказалась в положении державы, обнажившей меч для защиты союзницы, на которую никто не нападал.

В Вене не торопились с объявлением нам войны. Как уже было сказано выше, генералу Конраду фон Гетцендорфу, на которого падает главная ответственность за решение императора Франца Иосифа и его правительства вести войну во что бы то ни стало и с кем бы то ни было, пришлось убедиться, что военные силы Австро-Венгрии совершенно не соответствовали подобному замыслу и что не только война с Россией, но даже с Сербией являлась для них задачей, сопряженной с большим риском. Этим открытием должно быть, очевидно, объяснено выраженное в Вене желание возобновить с нами переговоры и таким образом выиграть некоторое время для спешного окон-

чания военных приготовлений. Такое неопределенное положение, среднее между войной и миром, не могло продолжаться долго. В Германии медлительность «блестящего секунданта»⁶³ производила сильное раздражение, и вскоре из Берлина последовал совет, весьма похожий на приказание, объявить России войну, что и последовало на шестой день по объявлении нам войны Германией.

Что мнение венского генерального штаба относительно неподготовленности австро-венгерской армии было обосновано, выяснилось вполне определенно после ряда поражений, нанесенных сербскими войсками генералу Кробатину, командовавшему австрийскими войсками в Боснии. При этих условиях воинственный задор Конрада фон Гетцендорфа был бы вполне непонятен, если бы в Вене рассчитывали осуществить свои планы собственными силами и не имели бы безусловной уверенности в военной помощи Германии.

Впрочем, этого не приходится больше доказывать после всего, что нам теперь известно и о чем я заявил еще в начале конфликта как в Берлине, так и в союзных столицах, а именно, что ключ положения находился в Берлине.

Союзники наши в этом не сомневались, но германский посол в Петрограде отвергал это утверждение с негодованием как оскорбительное для чести своего правительства. Германские националисты отвергают его и поныне, не освободившись еще до сегодняшнего дня от дурмана, навешанного на них в первые дни войны речами императора Вильгельма и германского канцлера и еще более статьями патриотической печати. До каких пределов доходило в Германии самообольщение не только взвинченных народных масс, но и правящих кругов, не

63 Так называл император Вильгельм Австро-Венгрию.

исключая членов царствующих домов, видно из факта, что не довольствуясь утверждением, что Россия и ее союзники — причем степень их ответственности колебалась и видоизменялась бесчисленное количество раз — вынудили Германию вести войну для самозащиты, но под конец договорились до того, что уверовали в объявление войны Германией Россией и Францией и совершенно забыли о нотах, переданных в Петрограде и в Париже 1-го и 3 августа, равно как и о вручении 2 августа ультиматума Бельгии и вторжении, без всяких формальностей, в пределы Великого герцогства Люксембургского. Ярким образчиком подобной забывчивости и путаницы в мыслях может служить речь короля Людовика Баварского, сказавшего в связи с празднованием юбилея баварского *Kanal-Verein'a* следующую фразу: «Объявление войны Францией последовало за таковым со стороны России, и когда наконец англичане также напали на нас, я сказал себе: все это меня радует и радует потому, что теперь нам будет возможно свести счеты с нашими врагами».

Такая фраза в устах главы второго по величине и значению Германского государства раскрывает яркую картину того психоза, жертвой которого сделалась Германия в эпоху мировой войны. Если так мог говорить король Баварский, то чего же можно было ожидать от рядового немца. Невероятная способность самообольщения, которой обладает германский народ и от которой его не спасает высокая степень его культурного развития, должна быть, очевидно, отнесена на счет его особой психологии, являющейся первостепенным политическим фактором, с которым и впредь будут вынуждены считаться его соседи во всех своих сношениях с Германией и которому до сих пор не придавали должного внимания.

Глава IX

Начало военных действий. Нарушение нейтралитета Бельгии. Объявление Англией войны Германии. План кампании берлинского генерального штаба. Его неудача. Значение сентябрьских боев на Марне. Степень военной неподготовленности России и ее союзников. Присоединение Турции к Австро-Германии. Значение этого факта для участников войны. Нейтралитет Италии и Румынии. Военное выступление Болгарии и его последствия. Затруднительность военного положения России

Великая война началась на Восточном фронте бомбардированием Либавы германским флотом, а на Западном — несколькими нарушениями французской границы, вызванными, по утверждению германского правительства, подобными же действиями французских войск в Германии.

В числе таких враждебных действий, приписанных Франции, были и совершенно фантастические, вроде появления французских аэропланов над Карлсруэ и Нюрнбергом, бросания с них бомб для разрушения железнодорожных путей и т. п. Эти обвинения, никем не проверенные и не доказанные, тем не менее послужили официальным поводом для объявления войны Франции, состоявшегося 3 августа. Накануне германский посланник в Брюсселе вручил бельгийскому министру иностранных дел ноту, в которой он требовал, под угрозой войны, согласия Бельгии на свободный доступ германских войск на бельгийскую территорию ввиду предупреждения намерения Франции нарушить неприкосновенность Бельгии с враждебными Германии целями, о которых, будто бы, германское правительство было осведомлено из достоверного источника. На полный достоинства отказ Бельгии подчиниться этому требованию последовало немедленное вторжение гер-

манских войск в Бельгию и появление их под Льежем. Это был первый шаг к занятию Германией бельгийской территории, доведенный последовательно до конца, несмотря на геройское сопротивление бельгийской армии, вынужденной под давлением более сильного противника перейти на территорию союзной Французской Республики, где она под командованием своего короля продолжала, вплоть до перемирия, принимать деятельное участие в военных действиях союзников против германского нашествия.

Насколько искусственно было построение, которым германская дипломатия старалась прикрыть давно обдуманное и наперед решенное нарушение бельгийского нейтралитета, и как неосновательны были возведенные ею на бельгийское правительство обвинения в соучастии в каких-то враждебных замыслах Франции и Великобритании против Германии, видно из того факта, что ранее германского вторжения в бельгийские пределы симпатии брюссельского правительства и общественного мнения Бельгии не только не клонились предпочтительно в сторону Франции, но скорее шли по направлению к Германии, с которой Бельгию связывали ее экономические интересы и, в значительной части ее населения, кровное родство.

Бельгийский посланник в России граф де Бюиссере, с которым мне приходилось неоднократно касаться вопроса о положении его отечества как международного фактора, повторял мне, что Бельгия настроена нейтрально не только политически благодаря своему географическому положению между тремя великими державами, но также и в силу своего исторического прошлого и особенностей своей национальной культуры, спасающих ее от односторонних увлечений. Положение Бельгии, по словам Бюиссере, вынуждает ее жить в одинаково дружественных отношениях со всеми ее соседями, не отдавая предпочтения никому из них и считая своим врагом того, кто

бы он ни был, кто обнаружит поползновение покуситься на ее независимость. «Nous serons contre l'agresseur de quelque côté qu'il vienne», — говорил посланник. В основательности этих слов трудно было сомневаться, потому что было ясно, что они вполне отвечают правильно понятым интересам культурной и богатой, но в военном отношении слабой страны, уверенной, что в борьбе за свою независимость она всегда найдет могущественных союзников. В Париже это было хорошо известно, и французскому правительству не приходило в голову использовать Бельгию для наступательных целей против Германии.

Риск, связанный с подобной политикой, должен был бы быть известен и в Берлине. Но давно выработанный на случай нападения на Францию стратегический план и уверенность как в непогрешимости этого плана, так и в быстрой и решительной победе, не говоря уже о возможности, одинаково заманчивой с экономической и военной точек зрения, захвата устьев Шельды, затмевали взор германских политиков и стратегов, и Германия решилась на шаг, который должен был неминуемо спутать ее расчеты и разрушить надежды на скорый успех, вовлекая Англию в войну на стороне союзников.

Хотя в Германии, особенно под первым впечатлением выступления Великобритании на стороне России и Франции, посыпались по адресу английской политики бесчисленные обвинения в заговоре, коварно подготовленном вместе с союзниками для уничтожения Германии, русское правительство находилось до самой минуты вторжения германских войск в Бельгию в тревожной неизвестности относительно намерений лондонского кабинета. Настойчивые убеждения, обращенные мной к английскому правительству заявить о солидарности его интересов с интересами России и Франции и тем раскрыть глаза германского правительства на страшную опасность пути, на который его поставила самоуверенность берлинского гене-

рального штаба и германских государственных людей, не имели в Лондоне успеха. Едва ли надо мне прибавить, что если бы между Англией и Двойственным союзом существовал означенный заговор, то просьба моя, обращенная к лондонскому кабинету, не имела бы никакого смысла. Эмпиризм английского народа отвергает национальную опасность, пока она не стала осязательной всем и каждому. Поэтому понятно, почему в Англии немало государственных людей, не решающихся, предупреждая изъявление воли общественного мнения, говорить от его имени.

Война не была своевременно предупреждена, и приходилось ее вести. Поздно вечером, 4 августа, в Берлине произошло свидание германского канцлера и британского посла, во время которого было произнесено роковое слово о «ключке бумаги», ставшее с тех пор нераздельным с именем Бетмана-Гольвега.

Едва ли можно найти в истории политической жизни Европы другое неосторожно сказанное слово, которое причинило бы больший нравственный урон не только человеку, произнесшему его, но и тому правительственному строю, которого он являлся представителем.

5 августа утром весть об объявлении Англией войны Германии достигла Петрограда и была принята с одинаковым удовлетворением как в правительственных, так и в самых широких кругах населения. Чувство грозной опасности, тяготевшее над нами при вступлении в борьбу, ставшую неизбежной, благодаря безумию Австро-Венгрии и попустительству Германии, сменилось у нас надеждой на ее благополучный исход. У меня лично с момента вторжения германских войск в Бельгию исчезли всякие сомнения насчет участия Англии в европейской войне на стороне Двойственного союза и явилась не только надежда на ее благоприятный исход, но и полная уверенность в торжестве над попыткой Германии навязать

Европе свою гегемонию. Не достигнув объявления лондонским кабинетом своей солидарности с нами, мы могли только радоваться, что сама Германия вынудила его вступить в ряды своих противников и таким образом добилась того, к чему мы тщетно стремились. Раз европейская война не могла быть избегнута, было существенно важно вести ее в условиях наибольшей успешности. Эти условия наступали для Двойственного союза в том случае, если бы борьба велась не только сухопутными силами, но в ней участвовали бы громадные морские силы Великобритании, которые парализовали бы всю экономическую жизнь врага.

Оставалась однако еще одна и весьма серьезная опасность. Германия могла нанести сокрушающий удар Франции и России в первые же недели войны, обрушившись всеми своими силами на одного из союзников. Опасность эта была особенно велика для Франции, легче уязвимой, чем Россия, благодаря сравнительной близости Парижа от границы. Мы все слышали о плане кампании берлинского генерального штаба, состоявшего в сосредоточении главных сил Германии против одного из противников Германии, а затем, после его разгрома, обращении их против другого. Эти операции должны были быть произведены в возможно короткий срок. Поэтому во мне давно укоренилось убеждение, что если Германия не одержит в первые два-три месяца войны решающих судьбу кампании успехов, она не выйдет из нее победительницей.

Этот план не был приведен в исполнение, по крайней мере в полном его объеме. Ответственность за его изменение, кажется, еще не выяснена в самой Германии. Тем труднее говорить о ней иностранцам. В печати я видел указания на то, что виновником его неисполнения одни считают императора Вильгельма, другие — генерала Мольтке, племянника знаменитого стратега, не унаследовавшего его талантов, третьи —

подначальных лиц, не имевших определенных взглядов на вопросы такой важности, а силившихся угодить тому или иному власти имущему лицу. Несомненно только то, что Германия в 1914 году начала войну на обоих фронтах и этим, может быть, лишила себя возможности быстрых и решительных успехов на одном из них.

События скоро подтвердили мои ожидания. Победа на Марне, которой Франция обязана генералам Жоффру и Галлиени и самоотверженной помощи России, пославшей по просьбе французского правительства на почти верную гибель армию генерала Самсонова, неподготовленную для наступательного похода, в пределы Восточной Пруссии, сразу остановила ^{победное} продвижение германской армии на Париж и этим спасла не только столицу Франции, но в значительной степени предрешила и исход войны. Истинное значение поражения на Марне не оставило в германских руководящих кругах никакого сомнения, и берлинское правительство приняло должные меры для того, чтобы помешать ему проникнуть в сознание общественного мнения и тем поколебать в самом начале войны уверенность народа в ее счастливом исходе. Эта цель была легко достигнута, и по сей день в Германии еще не много людей, которым значение сентябрьских боев на Марне было бы ясно.

Из всего, что сказано выше, можно вывести заключение, что европейская война началась для Тройственного соглашения как в дипломатическом, так и в военном отношениях при благоприятных условиях. Тем не менее не только Россия, к ней совершенно не готовая, но даже и Франция, находившаяся с 1870 года под вечной угрозой вторжения германских войск, оказалась, с точки зрения технического снабжения, в положении, мало соответствовавшем требованиям минуты, и ее промышленности пришлось сделать невероятные усилия, чтобы

наверстать потерянное время. Англия находилась в том же, и едва ли не худшем положении, потому что, не говоря о несовершенстве технической части, ей пришлось работать над созданием армии, способной вести на континенте борьбу с лучшей армией Европы, технически и численно во много раз превышавшей ее силы. Для этого ей пришлось улучшить свой командный состав, оставлявший желать лучшего, и обеспечить набор своей армии.

Для этого Франции и Англии пришлось разрешить задачи, представлявшие громадные трудности. Тем не менее обеим нашим союзницам удалось довольно быстро с ними справиться и вскоре сделаться поставщицами России, остро нуждавшейся в вооружении и снарядах, несмотря на то что она продолжала вести тяжелую борьбу, благодаря превосходному духу армии, несшей с геройским самопожертвованием ужасающие потери.

Я не буду выходить за пределы моей личной осведомленности и касаться подробно военных действий в эпоху мировой войны. Эта задача отчасти уже выполнена военными писателями Тройственного соглашения, хотя всесторонняя ее разработка, поскольку это касается России, может быть совершена лишь, когда нужный для этого материал станет доступен военным историкам и когда наступит пора нормальных условий жизни и научного труда. Если мне придется упоминать о тех или иных военных событиях, то я буду делать это лишь поскольку оно будет необходимо для освещения тех событий, которым посвящены мои воспоминания.

По мере того, как развивались военные действия, принявшие благодаря отсутствию решительных успехов как со стороны Тройственного соглашения, превратившегося слишком поздно в Тройственный союз, так и со стороны центральных держав с первых же месяцев великой войны затяжной характер, перед союзными правительствами начинали восставать, поочередно,

политические вопросы первостепенной важности. Эти вопросы требовали разрешения путем специальных соглашений ввиду общего интереса, который они представляли для каждого из союзных государств.

Благодаря крайней сложности политических интересов, связанных со многими из этих вопросов, разрешение их требовало долгой предварительной работы и самого внимательного и беспристрастного изучения. Работа эта была настолько трудна, что едва ли было возможно надеяться довести ее до удовлетворительного разрешения при иных условиях, чем те, в которые великие державы внезапно были поставлены наступлением европейской войны. Ею открывалась новая эра в истории человечества.

Под давлением мировых событий, которые должны были повлечь за собою коренные изменения в карте старого света, разрешение важнейших политических задач, оставшихся целые столетия неразрешенными, стало не только возможно, но и настоятельно необходимо. Державы Тройственного соглашения, спаянные страхом перед германской опасностью, не замедлили проникнуться сознанием неизбежности взаимного размежевания в тех частях света, где до тех пор их интересы находились, казалось, в непримиримом несогласии между собой.

Низвержение Германии с высоты мировой державы не было целью ни одной из держав Соглашения ввиду очевидной невыполнимости подобного замысла иначе, как путем принятия на себя риска и ответственности, на которые ни одна из них не отважилась бы. Но с другой стороны, умаление силы и значения Германии как мировой державы представлялось каждой из них естественным и законным возмездием тому государству, которое взяло на себя означенные риск и ответственность и подвергло самое существование держав Соглашения

серьезной опасности. В этом отношении между ними с осени 1914 года не было никакого разногласия. Все сходились на том, что результатом войны должно было быть обезвреживание Германии. Вместе с тем всем было ясно, что если Германия будет разбита соединенными силами Согласия, ее положение великой державы, лежащей в центре Европы и обладающей вторым по численности населением, богато наделенной естественными и культурными благами, мало чем изменится вследствие нанесенного ей поражения. Германия была опасна для мира Европы не как европейская, а как мировая держава, поставившая себе цели, несовместимые с политическим существованием великих держав, вступивших несколькими столетиями раньше ее на путь империализма и не угрожавших более миру Европы. Пока Германия довольствовалась соперничеством с ними на торгово-промышленной почве и вела борьбу ради вытеснения своих соперников из старых рынков и приобретения новых, в чем она преуспевала благодаря своей предприимчивости и энергии, а также созданным ею финансовому и техническому аппаратам, она была неприятной соседкой для других европейских держав, которые смотрели на нее косо, сознавая, что им было трудно с ней состязаться, так как она могла быть побеждена только тем же оружием, которое она создала для своих целей и которым никто иной в Европе не обладал. Государственные люди, следившие за необычайным ростом экономического влияния Германии, предвидели ее конечное торжество не только на европейских рынках, но и далеко за их пределами, на что указывали поразительные успехи, одержанные ею в Старом Свете, как-то в Индии и на Дальнем Востоке, а равно и на обоих континентах Америки и в Австралии.

Подобные перспективы тревожили среди держав Согласия прежде всего Англию, интересы которой были задеты наиболее чувствительным образом торжествующим шествием гер-

манской торгово-промышленной конкуренции, и меньше всего Россию, стремления которой не шли дальше овладения своим собственным рынком и проникновения русских товаров на ближайшие азиатские рынки. Франция занимала в этом отношении, особое положение. Для нее быстрый рост германской промышленности и соответственно ему развитие внешней торговли представлялись менее опасными ввиду того обстоятельства, что французская вывозная торговля ограничивалась преимущественно вывозом на мировые рынки товаров, по отношению к которым у нее существовала как бы монополия. Европа начала мириться с мыслью о неизбежности своего превращения в германскую данницу. Если бы Германия, оценив истинное значение такой победы в настоящем и еще более в будущем, удовлетворялась громадным результатом, достигнутым трудолюбием своего народа и организаторским даром своих промышленников, и предоставила естественному ходу событий завершить начатое дело, она в настоящую пору стояла бы по богатству и могуществу во главе государств Европы. Призрак мирового владычества заслонил в ее глазах эту легкодостижимую цель. Угрожая каждой из великих держав Согласия, сблизившихся между собою не по влечению сердца, а из сознания общей опасности, в самом центре уязвимости каждой из них, Германия превратила их из соперниц, до известной степени свыкшихся с уменьшением своего экономического значения, в непримиримых врагов, знавших, что им не будет пощады в случае достижения Германией своих политических целей.

Ввиду этого начавшаяся с объявления немцами войны России и с вторжения их войск в Бельгию европейская борьба приняла сразу же характер смертного боя. Каждой из держав Согласия было ясно, что ее ожидало в случае торжества Германии. Россия теряла прибалтийские приобретения Петра Великого, открывшие ей доступ с севера в западноевропейские

страны и необходимые для защиты ее столицы, а на юге лишалась своих черноморских владений, до Крыма включительно, предназначенных для целей германской колонизации, и оставалась, таким образом, после окончательного установления владычества Германии и Австро-Венгрии на Босфоре и на Балканах отрезанной от моря в размерах Московского государства, каким оно было в XVII веке. Польша при этом перекраивалась на новый лад и попадала в вассальные отношения к Австрии.

Вот что ожидало Россию. Не лучшие виды открывались на будущее и для Франции. Одновременно с объявлением нам войны германский посол в Париже получил приказание сообщить французскому правительству, что в случае если Франция заявит о своем нейтралитете, Германия вынуждена будет, в виде обеспечения этого нейтралитета, потребовать сдачи крепостей Туль и Верден, которые будут заняты Германией и возвращены Франции после окончания войны с Россией.

Это сообщение не могло быть сделано бароном фон Шэном ввиду того, что г-н Вивиани, тогдашний министр иностранных дел, не дал ему на это возможности, заявив, что Франция «будет действовать сообразно своим интересам». Тем не менее это сообщение является единственным в своем роде документом. Оставаясь нейтральной, Франция лишалась на время войны двух важнейших защитных пунктов на своей восточной границе. Чего она могла ожидать в случае участия в войне и победы Германии? Вероятно, утраты доброй трети своей территории и большей части своих колониальных владений и в результате превращения во второстепенную державу.

Что касается Великобритании, то ей не угрожал захват ее европейской территории, но зато занятие Германией Бельгии, даже временного характера, уже не говоря о возможности ее полного присоединения, на что существуют положительные

указания, создавало для нее положение, с которым общественное мнение Англии не могло бы никогда примириться.

Державы Согласия вступили в войну с Германией с полным сознанием рокового ее значения для каждой из них. Для них победа означала сохранение независимости и возможность свободно жить и развиваться в будущем. Для Германии вопрос ставился иначе. Хотя ее государственные деятели и печать твердили о «борьбе на жизнь или смерть», они понимали, что дело сводилось, в сущности, для их родины только к тому, удастся ли германскому народу осуществить свою мечту о мировом владычестве или нет. Нельзя, конечно, отрицать, что ставка была громадная. В надежде на ее выигрыш было воспитано все новое поколение Германии, и все принесенные ею жертвы и потраченные усилия как со стороны правительства, так и всех сознательно работавших для величия отечества немцев были направлены к этой цели. Возможность неудачи представлялась ударом для народного самолюбия и грозной опасностью для государственного строя, связавшего свою судьбу с грандиозным планом мирового владычества. Вместе с тем, однако, трезвые немцы — правда, в бурную эпоху мировой войны их было не много — понимали, что суждено ли было их мечтам осуществиться или нет, Германия от этого не перестанет существовать, что ее многомиллионный народ не утратит присущих ему качеств, создавших его величие, и поэтому и своей силы, и что государственная его территория подвергнется, в худшем случае, лишь незначительным изменениям. Германия, перестав быть мировой, все же осталась бы великой европейской державой.

Это было ясно и всем ответственным деятелям Тройственного согласия, как и всякому политически мыслящему человеку. Риск, связанный с европейской войной, не был равен для обеих состязавшихся сторон. Для Германии он представлял

крушение честолюбивой мечты, для ее противников же — либо окончательную гибель, либо такое умаление чести и материальной силы, которое было мало чем лучше гибели.

Этим, может быть, возможно объяснить то легкомыслие, с которым германское правительство увлекло свой народ на путь мировой войны, выбрав для осуществления своего политического замысла наименее благоприятную минуту. Из вышесказанного следует, что уязвимость Германии была несравненно меньше уязвимости Держав согласия. Ослабить ее длительно было возможно, только лишив ее тех подсобных сил, которыми она располагала в Юго-Восточной Европе после развала искусственной системы союзов, созданной Бисмарком и расширенной его преемниками, вдохновленными его примером. Среди этих подсобных сил первое место принадлежало Австро-Венгрии, после которой следует назвать Турцию и Болгарию.

Я уже говорил, что при слабом управлении Вильгельма II и Бетмана-Гольвега характер взаимоотношений Германии и Австро-Венгрии видоизменился определенно не в пользу первой. Заключая в 1879 году союз с Австро-Венгрией, Бисмарк имел в виду отвести ей в этом политическом сочетании служебную роль на случай войны с Россией, которая стала вероятной с того времени, что Германия отказалась на Берлинском конгрессе от своей вековой дружбы с нами, принеся в жертву наши интересы на Балканах интересам Австро-Венгрии и Англии. Этой переменной фронта она положила начало системе новых союзов, разделившей Европу в конце XIX столетия на два враждебных лагеря и косвенно приведшей к катастрофе 1914 года. Уже с 1909 года отношения участников союза начали изменяться, и Австро-Венгрия стала играть в нем роль, не соответствовавшую ее истинному значению. Летом 1914

года эта перемена ролей обозначилась⁶⁴ настолько резко, что главным фактором в нем оказался не берлинский, а венский кабинет, давший его политике направление, соответствовавшее его собственным видам.

Я снова возвращаюсь здесь к этому факту для того, чтобы иметь случай указать, что Австро-Венгрия, сама по себе никому не опасная, приобретала в силу той неразрывной связи с Германией, в которую ее поставила политика князя Бюлова, громадное значение не для одной России, которой она открыто бросила вызов, а и для остальных великих держав тем, что держала в своих руках судьбы европейского мира. Как ни слаба была ее военная сила благодаря отсутствию в ней национального единства, никакой иной союзник не мог заменить ее для Германии ввиду особенности ее географического положения. Заслоняя ее южную границу, Придунайская держава лежала на пути между балканскими странами и Ближним Востоком, куда стремительно влекла Германию программа ее «нового курса». Сама природа как будто предназначала монархию Габсбургов служить целям германской политики с тех пор, как ее внутренняя немощь сделала ее неспособной к достижению своих политических целей собственными силами.

Как ноль удесятерять значение цифры, после которой он стоит, так и Австро-Венгрия увеличивала силы своей союзницы. Самым верным способом нанести Германии чувствительный удар и обезопасить себя от возможности захвата ею мировой власти было разрушение шаткого строения Габсбургской монархии, давно клонившегося к упадку, но не утратившего до последнего дня своего существования значения главного очага европейской смуты.

После балканских войн Турция потеряла свое значение не только как великая, но и как европейская держава. Она сохранила лишь незначительную часть своих владений по эту сторону проливов, но оставалась по-прежнему их привратницей, благодаря чему не утратила своего международного значения. Как я указывал, Турция с начала XX века постепенно все более подпадала под прямую зависимость от Германии. Осенью 1913 года эта зависимость установилась настолько прочно и открыто, что вызвала законный протест со стороны России как державы наиболее заинтересованной в сохранении турецкой независимости и возбудила проявление некоторого беспокойства в наших западноевропейских друзьях. Отношение Турции к войне 1914 года являлось, для всех без исключения ее участников, вопросом первостепенной важности. Переход Турции на сторону Австро-Германии угрожал России особенно опасными последствиями, так как, во первых, открывал неприятельским морским силам доступ в Черное море и задерживал на турецкой границе значительную часть нашей армии, отвлекая ее от участия в войне на главном фронте, и, во-вторых, запирая нас в Черном море, отрезал нас от прямых общений с союзниками и парализовал экономически, сводя наши сношения с внешним миром к одному морскому выходу через отдаленный и во всех отношениях малоудовлетворительный Архангельский порт.

Эти соображения, естественно, были приняты во внимание Германией, и ее представитель в Константинополе, барон Вангенгейм, типичный представитель воинствующих германских дипломатов, употребил все усилия, чтобы втянуть Порту в войну с самого ее возникновения. По свидетельству американского посла в Турции, г-на Моргентау, внимательно следившего за деятельностью своего германского товарища, Вангенгейм с первой минуты открытия военных действий между Германией и Россией решил использовать присутствие

в Средиземном море двух германских крейсеров, «Гэбена» и «Бреславля», чтобы открыв им доступ в Константинополь через Дарданеллы, поставить Европу лицом к лицу со свершившимся фактом Турецко-Германского союза и упразднить, таким образом, предварительную фазу дипломатических переговоров. Благодаря оплошности командиров эскадр наших союзников этот маневр удался блестящим образом, и 10 августа оба германских крейсера были в полной безопасности в турецких водах, а Турция бесповоротно связала свою судьбу с нашими противниками.

Этот факт повлек за собой все те тяжелые последствия для России, о которых было только что упомянуто, и затянул войну на долгое время. Мы снова, во второй раз с 1911 года, оказались закупоренными в Черном море, причем наше морское побережье, от устьев Дуная до Малой Азии, очутилось под обстрелом германских судов, которым у нас ни по силе вооружения, ни по быстродности нечего было противопоставить.

Мне представляется сомнительным, чтобы Турция, как бы ни была велика ее материальная зависимость от Германии и как бы она ни находилась под гипнозом германской непобедимости, решилась связать свою судьбу с ней при самом начале войны, не выждав для выбора своей ориентации, чтобы ход военных действий обозначил определенно, в чью сторону клонились весы военного счастья. Эта вполне естественная осторожность в вопросе первостепенной важности для самого существования Турции привела бы к тому, что при затяжном характере, который приняла война вследствие отсутствия быстрых и решительных побед Германии, на которых был построен германский план европейской борьбы, Турция, весьма вероятно, воздержалась бы от участия в ней и этим в значительной степени способствовала бы ее более скорому и благоприятному для России окончанию. Все это учитывалось, без

сомнения, в Берлине, и находчивость и быстрота, с которой Вангенгейм выполнил свою задачу, сослужили Германии большую услугу. Из всех боевых германских дипломатов посол в Константинополе был, несомненно, наиболее удачливым.

Зато в тех европейских государствах, которые были связаны с Австро-Германским союзом определенными договорными отношениями и где достижение целей германской политики было подготовлено долголетней и сложной дипломатической работой, Германия не только их не добилась, но натолкнулась на положение, которое исключало всякую возможность успеха. За эту неудачу прежде всего была ответственна Австро-Венгрия, обнаружившая по отношению к Италии и Румынии нежелание считаться с выговоренными ими правами и стать на путь каких бы то ни было уступок как раз в ту минуту, когда она более всего нуждалась в их содействии. И тут берлинский кабинет, отрешившись от своего естественного права политического руководства, оказался бессильным сломить упорство и исправить ошибки своей союзницы. Ввиду этого римский и бухарестский кабинеты могли с полным правом, основываясь на тексте договоров, отказаться от своих обязательств и остаться нейтральными, несмотря на все усилия германских дипломатов в Риме и щедрые их посулы в Бухаресте.

Кроме формального права, на решение итальянского и румынского правительств повлияло присоединение Великобритании к Франко-Русскому союзу, придавшее ему недостававший элемент морской силы и сделавший его непобедимым в длительной войне. Нельзя также забывать, что Италия вышла из периода германофильских увлечений Криспи сильно разочарованной. Эти увлечения не дали ей никаких выгод, колониальных или иных, и привели ее к тяжелому экономическому кризису. В силу закона реакции она охотно пошла навстречу

попыткам дружественного сближения со стороны г-на Делькассе, а затем через несколько лет и России. В Румынии произошло нечто похожее на это. Как я упомянул, говоря выше об отношениях России к этой державе, в Бухаресте правительство и общественное мнение убедились в справедливости русской точки зрения относительно невозможности достигнуть национального объединения иначе, как при содействии русского правительства. Поэтому ко дню объявления нам войны Германией и Австрией не оказалось в Бухаресте, кроме короля Карла и нескольких неоконсерваторов партии Карпа и Маргиломана, никого, кто бы считал себя связанным договором с Австро-Венгрией, и Румыния, по примеру Италии, объявила о своем нейтралитете, не поддавшись соблазну посулов берлинского кабинета вознаграждения за счет России в виде присоединения Бессарабии. В эту пору, и даже еще позже, в Бухаресте понимали, насколько подобный подарок был опасен, и желающих идти на эту приманку не нашлось. Надо было без малого три года большевистского хозяйничанья в России для того, чтобы грубое отторжение крепко сросшейся с русским государственным организмом молдаванской окраины сделалось возможным.

Развал Тройственного союза и отпадение от него Румынии, вызванные великой войной, были фактами, благоприятными для держав Согласия. С другой стороны, Германии и Австро-Венгрии было невозможно при этих условиях вести борьбу, не заручившись союзниками на Балканах. Уловление Турции в германские сети совершилось легко и быстро, но этот успех мог приобрести всю свою ценность только в том случае, если бы за ним в скором времени последовал подобный же успех в Болгарии, для полного защемления Сербии. Эта задача оказалась несколько сложнее первой и потребовала более долгого времени, но благодаря содействию Фердинанда Кобургского, она не оказалась неразрешимой, и освобожденный

Россией болгарский народ, послушный своему немецкому государю и правительству, подобранному для нужд германской политики, вступил в ряды врагов своей освободительницы.

Европейская война доставила Фердинанду Кобургскому желанный повод восстановить, как ему казалось, свое положение, поколебленное отрицательным результатом его политики 1913 года, и отомстить Сербии за нанесенные ему поражения. Еще более чем на Сербии, он сосредоточил свою ненависть на России, которую считал главной виновницей невыгодного для Болгарии Бухарестского мира и неудачи, постигшей его византийские мечтания. Служа на Балканах делу Германии, он надеялся, если не полностью воскресить в своем лице Царьградского Василевса, то по крайней мере найти какое-нибудь применение заблаговременно припасенной им византийской бутафории⁶⁵. Люди, знающие царя Фердинанда, вероятно, не станут оспаривать высказанного здесь предположения. Всем еще памятно всеобщее негодование, с которым была встречена в России эта новая измена Фердинанда, вторая с 1913 года. В середине октября 1915 года, по согласованному с австро-германцами движению, болгарские войска ринулись на сербов в то время, как немцы заняли Семендрию и Белград. С этого момента началось эпическое отступление сербской армии к Адриатическому морю, по непроходимым горным тропам, увлекая за собою часть населения, бежавшего от ужасов болгарского нашествия, причем люди и лошади гибли тысячами от холода и недостатка пищи. Со времен катастрофы под Березиной ни одна армия не переживала подобной траге-

⁶⁵ Царь Фердинанд приобрел от какой-то театральной дирекции и хранил у себя регалии и полный костюм императора Византии.

дии. Тем не менее часть сербской армии дожидая до счастливого дня восстановления родины и приняла славное участие в победе над врагами, доведшими Сербию до края гибели. К своему счастью, она имела дело только с внешним врагом, а не испытала худшей из бед — внутренней измены.

Заменяя, таким образом, отпавших союзников новыми, Германия в значительной степени вознаградила себя за это отпадение, отрезав, как я сказал, Россию от ее западных союзников. С закрытием проливов и переходом Болгарии на сторону наших врагов мы лишились всякой возможности прямых сношений с Западом иначе, как через далекий Север и еще более далекий азиатский Восток. Этим обстоятельством крайне затруднялось для нас скорое и правильное получение необходимых нашим войскам снарядов и предметов вооружения, в которых у нас начал ощущаться недостаток в первые же месяцы войны. У нас почти не было тяжелых орудий, кроме как в крепостной артиллерии и во флоте, а ружей и патронов к ним к лету 1915 года было не более трети нужного количества. Полевая артиллерия, хотя и отличного качества и при наличии прекрасного состава артиллеристов, действовала неудовлетворительно из-за скудости снарядов. О быстром пополнении убыли в вооружении собственными средствами нельзя было думать вследствие недостаточного оборудования наших военных заводов и общей отсталости наших технических средств.

Я упоминаю об этом факте для того, чтобы выяснить то роковое значение, которое имело для нас вовлечение Германией Турции и Болгарии в войну и последовавшего вслед за тем нашего полного изолирования. Можно безошибочно сказать, что оно имело решающее влияние не только на дальнейший ход военных действий, но даже на направление политических событий в России, тяжко отразившихся на исходе войны. Напряжение сил обеих воюющих сторон в этой ужасной борь-

бе народов было настолько велико, что ни одна из держав, участвовавших в ней, не была в состоянии выйти из нее с честью, рассчитывая исключительно на собственные средства. Если наши союзники, — не говоря о германцах, создавших свой совершенный технический аппарат с определенной целью приурочить его к нуждам европейской войны, — стоящие, с точки зрения технического развития, неизмеримо выше нас, оказались не на высоте требований времени и с трудом могли заполнить пробелы своего вооружения, чтобы успешно продолжать борьбу, то это стало для них возможно благодаря сразу установившемуся между ними взаимодействию не только в области чисто военной, но и финансовой и экономической. Сознав всю пользу подобного взаимодействия, они затем осуществили его в единстве фронта и командования, подчинив общие силы верховному командованию генерала Фоша как наиболее талантливого из союзных военачальников. О строгом проведении этого принципа нашими врагами едва ли надо говорить. В Берлине не только решался план кампании и давались указания относительно военных действий каждого из союзников, но германские отряды перебрасывались с одного фронта на другой для оказания помощи там, где она оказывалась нужной. Взамен этого союзники Германии снабжали ее всем, в чем она нуждалась, в виде пищевых продуктов и всякого сырья. При этом, однако, далеко не покрывались огромные нужды ее армии и населения и подвоз из нейтральных стран, затрудняемый бдительностью английского флота, становился все необходимее.

Нетрудно себе представить при таком положении вещей, что стало бы с любым из наших союзников или противников, если бы он оказался с первых месяцев войны лишенным прямых и быстрых способов сообщения с теми государствами, с которыми его связали судьбы войны. Результат изолированного положения оказался бы весьма близким к тому, который

наблюдался у нас, с растущей тревогой, правительством и общественным мнением, по мере того, что становилось все ощутительнее наше одиночество. На почве тревоги за исход войны легко развивается и растет чувство всеобщего недовольства и падает то обаяние властью, без которого не может держаться никакая государственная организация, достойная этого имени. Когда же к этим случайным причинам присоединяются еще другие, более общие и давние, как это было в России, процесс разрушения идет еще стремительнее. Я глубоко убежден, что крушение русской государственности могло произойти только благодаря тому, что Россия с начала европейской войны оказалась поставленной в условия несравненно худшие, чем ее союзники. Борясь плечом к плечу с ними, она несомненно с успехом выполнила бы выпавшую на ее долю громадную задачу. Она была лишена главного элемента успеха, давшего ее союзникам победу: тесного слияния и сплоченности между собой и общности материальных средств. Торжество русской революции есть прежде всего результат народного разочарования, перешедшего затем в безнадежность и отчаяние. Этому способствовали еще и другие причины, но они были сами по себе недостаточны, чтобы совершилось преступное и безумное дело разрушения Русского государства, в существе своем здорового и жизнеспособного, и нуждавшегося лишь в разумных реформах для приспособления его к требованиям и духу времени.

Основная мысль, заложенная Столыпиным в его преобразования, исходила из этого убеждения. Он начал их постепенным раскрепощением крестьянского населения, не освободившегося еще от оков общинного землевладения. Этой существенной реформой подводилось здоровое и прочное основание под здание русской государственности. Революция, уже раз в 1906 году сломленная Столыпиным, увидела наступающую для нее смертельную опасность и рукой Богрова свалила

этого благороднейшего сына России. Принято говорить, что нет людей незаменимых. Но Столыпина у нас никто не заменил, и революция, среди тяжелой нравственной и материальной атмосферы войны, восторжествовала. Пока я пишу эти строки, передо мной живо встает величавый в своей силе и простоте образ Столыпина, и мне припоминаются неоднократно слышанные от него слова: «Для успеха русской революции необходима война. Без нее она бессильна». В 1914 году мы получили эту войну, а после трех лет тяжелой борьбы, которую нам пришлось вести одиноким и отрезанным от общения с нашими союзниками, к нам прибыла из Германии и революция в лице Ленина и его сообщников, отдавшая себя на служение нашим врагам и радостно принятая ими, как желанная соотрудница.

* * *

Когда обнаружилась измена Фердинанда Кобургского и Радославова, в каждой из трех союзных стран Согласия раздались громкие упреки, направленные против правительства за непринятие своевременных мер к ее предупреждению. Громче всего они раздались, само собой разумеется, в России. Для нас это предательство должно было повлечь за собою наиболее тяжелые последствия, и наше общественное мнение болезненно ощутило нравственную низость болгарской измены. Главная доля упреков обрушилась, как и следовало ожидать, на русскую дипломатию и на меня, как ответственного ее руководителя. Не только печать националистического направления с

«Новым временем» во главе, но и те общественные круги, где к вопросам внешней политики относились вообще более объективно и спокойно, порицали недостаток бдительности, проявленный моим ведомством по отношению к такому, первостепенной важности фактору, как Болгария, в европейской войне, разгоревшейся на почве балканского вопроса.

Даже в Государственной Думе, где моя внешняя политика находила нередко благожелательную оценку и поддержку, раздались по моему адресу упреки, которые были тем более мне чувствительны, что я не мог в ту пору раскрыть полную картину бесчисленных трудностей, которые препятствовали успешному воздействию держав Согласия на Фердинанда Кобургского для удержания его в своей орбите. Среди этих трудностей главная заключалась в отсутствии согласованного плана действий у наших западных союзников в вопросе о выступлении их на Ближневосточном фронте, которое одно могло помешать болгарскому нападению на Сербию. Появления сильного союзного отряда в нужный момент в Салониках и в долине Вардара, хотя бы в составе союзных отрядов, отправленных в Дарданеллы для выполнения почти безнадежной задачи захвата Константинополя с суши, при отсутствии базы, которая позволила бы союзникам развернуть свои силы, было бы, вероятно, достаточно, чтобы удержать Болгарию от вмешательства в войну и спасти десятки тысяч загубленных жизней. Хотя Галлипольская экспедиция не разрешила своей главной задачи, она тем не менее оттянула часть турецких сил от нашей границы и этим способствовала непрерывным военным успехам, подчинившим нам всю северо-восточную часть Малой Азии.

Кто у наших союзников был виноват в неудачном исходе Галлипольской атаки, затянувшем войну на долгий срок, я не берусь решить. Во Франции раздавались обвинения по адресу Делькассе, который будто бы противился всякому ослаблению французских сил на главном фронте посылкой отрядов на Балканы. В Англии считали ответственным за неудачу экспедиции г-на Уинстона Черчилля, сторонники которого слагали, в свою очередь, вину на лорда Китчинера, погибшего впоследствии на море при отплытии в Россию, куда он отправлялся для разрешения вопросов согласования военных действий

против Германии. Вероятнее всего следует искать причину слабости восточной политики наших союзников не в личной ответственности того или другого из названных лиц, а в отсутствии той полной согласованности военных действий, которой им удалось достигнуть лишь под конец войны, и которая дала им победу.

Для России неудача Галлипольской экспедиции была большим бедствием. Последствий ее мы не могли исправить собственными силами вследствие невозможности переброски на Балканский фронт наших войск с малоазиатской границы, где они вели наступление против турок. Для выполнения такой задачи наши транспортные средства были совершенно недостаточны. Помимо этого наша главная квартира требовала отправления на наш Западный фронт всех частей, которые не были настоятельно необходимы для удержания наших завоеваний в Малой Азии и для дальнейшего продвижения в пределах Азиатской Турции.

Я получал от нашего посланника в Болгарии А.В.Неклюдова настоятельные просьбы о спешной отправке десантов в Варну и Бургас, занятие которых русской военной силой могло одно, по его мнению, предотвратить предательство короля Фердинанда.

Это мнение не было лишено основания, но решать вопрос о его выполнимости приходилось не мне, а нашим военным властям, у которых мысль Неклюдова не встретила сочувствия. В письме, полученном мною от генерала Алексеева по этому поводу в октябре 1915 года, он сообщал мне, что перевозка русских отрядов в Сербию по Дунаю была невозможна и что высадка войск в Варне или Бургасе была бы выполнима только в том случае, если бы мы располагали Констанцей как операционной базой. Перевозочная способность всех судов, находившихся в Одессе и Севастополе, не позволяла посадки более

двадцати тысяч человек единовременно. Таким образом, по мнению генерала, первые десантные отряды подверглись бы серьезной опасности до высадки всего экспедиционного корпуса. Ввиду этого Россия оказывалась не в состоянии подать прямую помощь Сербии, но она могла оказать ей действительную поддержку возобновлением своего наступления в Галиции. На этом решении и остановилось наше верховное командование. Что же касается Болгарии, то она оставалась вне нашего воздействия.

Упоминание генералом Алексеевым о Констанце как об операционной базе для русских войск в Болгарии дает мне повод отметить здесь отношение румынского правительства осенью 1915 года к возможности деятельного участия Румынии на стороне держав Согласия. Когда в числе всяких предположений о непосредственной помощи Сербии русской военной силой у нас, вполне естественно, явилась мысль избрать наиболее легкий и прямой способ воздействия на Болгарию путем посылки в нее наших войск через румынскую территорию, этот план должен был тотчас же быть оставлен из-за заявления г-на Братияно, что прохождение русских отрядов по территории Румынского королевства не будет допущено. Как ни неприятно было нам это заявление Братияно, удивляться ему не приходилось. В ту пору Румыния была еще слабее и менее подготовлена к участию в европейской войне, чем она оказалась год спустя, когда была вынуждена под давлением наших союзников решиться на запоздалое выступление, чтобы не лишиться надежды осуществить когда-либо свою национальную программу.

Оказавшись не в состоянии предпринять что-либо целесообразное, чтобы помешать болгарскому царю выполнить свой замысел, русскому правительству пришлось удовольствоваться воздействием на него мерами нравственного характера, вроде

царского манифеста, в котором бичевалось болгарское предательство и объявлялось о тяжелой для России необходимости обнажить меч против славянской страны, освобожденной ценой ее крови. На основании настойчивых убеждений союзников русские суда бомбардировали Варну. Мера эта, совершенно бесполезная, была мне чрезвычайно неприятна. Бомбардирование незащищенных городов, ставшее обычным явлением во время европейской войны, отбросившей как ненужный хлам всякие ограничения неизбежных при ведении войны жестокостей и прибавившей к ним еще новые и неслыханные варварства, казалось мне ничем не оправдываемым проявлением одичания. Помимо этого оно было мне противно еще и потому, что Россия, в своем славном прошлом, неоднократно брала на себя почин в выработке международных правил для смягчения ужасов войны и страданий, причиняемых ею мирному населению. К несчастью, те или иные меры, к которым бывали вынуждены прибегать, по их словам, военачальники в виде репрессий и, косвенно, ради сокращения длительности войны, выходили за пределы влияния дипломатии, и вмешательства ее в эту область были заранее обречены на неуспех.

Наши союзники, как я сказал, оказались не менее бессильными остановить с запада наступление болгар на Сербию и соединение их с австро-германскими войсками, чем мы — с востока. Таким образом могло беспрепятственно совершиться событие, которое имело крайне тяжелые последствия для противников Германии, в особенности же для России, приведя ее в состояние почти полной отрезанности от союзников, в технической помощи которых она уже начала нуждаться через шесть месяцев после начала военных действий. Для людей, которые, как и я, стояли близко к центру управления, этот факт не явился неожиданностью. Мы знали, что для приведения России в состояние боевой готовности надо было еще три или

четыре года усиленной работы и таких реформ в нашей военной администрации, для которых лица, стоявшие во главе его, были малопригодны⁶⁶. В широких общественных кругах и, до известной степени, в самой армии истинное положение вещей было известно немногим. С того момента, когда оно обнаружилось осязательно, у нас появилось то опасное настроение, которое было использовано совместными силами нашими внешними и внутренними врагами и привело к скорому падению в рядах армии дисциплины. В народных массах, не говоря

66 Неоспоримый факт нашей полной неподготовленности к войне не помешал германской националистической пропаганде, возведенной недавно в степень науки и имеющей своих профессоров и свои кафедры, распространить в Германии и за ее пределами легенду о воинственных замыслах г-на Пуанкаре и русской военной партии, возглавляемой Великим Князем Николаем Николаевичем. При этом некоторые органы этой пропаганды изображали меня слепым орудием этой партии. О миролюбии французского правительства вообще и в частности г-на Пуанкаре довольно подробно упоминалось выше. Что же касается до воинственного задора «военной партии Великого Князя Николая Николаевича», то я считаю долгом совести заявить, что никакой военной партии в 1914 году в России не было. Если во время балканских войн в некоторых придворных и военных кругах Петрограда и замечалось довольно сильное возбуждение, то полный его неуспех имел последствием значительное успокоение всяких воинственных поползновений, от которых не осталось и помина в эпоху австро-сербского кризиса. Попытка представить меня орудием чьих бы то ни было воинственных замыслов не заслуживает даже опровержения. Всякий, кто хоть поверхностно был знаком с положением вещей в русских правящих сферах, мог бы сообщить изобретателям этой небльницы, что мои отношения к лицам, причастным к шовинистической агитации 1913 года, были таковы, что исключали всякую возможность сотрудничества с ними. Таких осведомленных лиц в Петрограде было очень много, начиная с членов аккредитованного при императорском дворе дипломатического корпуса, в числе которого были две германские миссии.

уже о высших слоях русского общества, стали проявляться сомнения в возможности довести войну до благополучного окончания. К этим сомнениям присоединялось чувство бесполезности тяжелых жертв и лишений, налагаемых на население войной с противником, издавна подготовленным к ней и превосходно оборудованным. Германская пропаганда, веденная параллельно с разрушительной работой наших революционных партий, щедро финансировавшихся из Берлина⁶⁷, падала на благоприятную почву. Внутренняя политика, не только не считавшаяся с законными желаниями населения, но шедшая наперекор им, должна была, рано или поздно, привести правительственную машину к полному крушению. Император Николай II был поглощен заботами верховного командования, принятого им на себя хотя и с самыми высокими побуждениями, но в недобрый час для России, и находился в главной квартире, бывая в столице лишь наездом, причем он, видимо, тяготился ее атмосферой. Центр правительственной власти, за продолжительным отсутствием Государя, перешел в руки несведущих и недостойных людей, сгруппировавшихся вокруг императрицы и ее вдохновителей, во главе которых находился приобретший позорную известность Распутин. Это стечение обстоятельств было, очевидно, выгодно врагам России. Было бы наивностью предположить, что оно не было использовано Германией, изобретательницей теории законности нанесения вреда противнику всеми возможными средствами.

Выше было сказано, что минута, избранная центральными державами для войны против Тройственного согласия, была неудачна и что дипломатическая ее подготовка берлинским и

67 По уверениям немецкого социалиста Бернштейна, никем не опровергнутым, германское правительство отпустило на нужды русской революции семьдесят миллионов марок.

венским кабинетами была весьма недостаточна. При отсутствии скорых и решительных побед на обоих фронтах надежды центральных держав на успех могли быть только слабыми. Ловкий маневр германского посла в Константинополе, втянувшего Турцию в войну против нас с самого начала, а затем предательство Фердинанда Кобургского значительно улучшили их положение. Тем не менее — и в этом едва ли усомнится кто-либо, кто знаком с ходом событий — главным козырем германской политики оказалось удачное объединение ее усилий с усилиями революции, разложившей военные силы России. Благодаря этому час германского поражения был отсрочен на полтора года. Слепота русских правящих кругов, в которые в период бездержавия пробралось с заднего крыльца немало недостойных лиц, сделала возможным успех заговора против чести и целостности России и в скором времени поставила ее на край гибели.

Может быть, мои краткие разъяснения чрезвычайной затруднительности нашего военного положения в 1915 году ответят до некоторой степени на вопрос, каким образом стал возможен успех плана царя Болгарии и его приспешников. За невозможностью принять по отношению к ним действенные меры русское правительство оказалось вынуждено прибегнуть к дипломатическим суррогатам, по существу непригодным и потому ничего не предотвратившим. Одновременно с нашими увещаниями Болгария получала в награду за свою измену обещание деятельной помощи и будущих политических выгод и земельных приращений. Этого было более чем достаточно, чтобы положить конец колебаниям Фердинанда Кобургского и побудить его связать судьбу своего народа с той из воюющих стран, за которой, по его мнению, была обеспечена победа.

Глава X

Соглашение по вопросу о проливах

Я имел случай упомянуть выше о том значении, которое имел для России вопрос о проливах. В сознание русских государственных людей, да и всякого образованного русского, уже давно проникло убеждение, что будущность русского государства зависит от того разрешения, которое этот вопрос получит.

Пребывание Турции в составе европейских великих держав обратилось после освободительных войн России в XIX веке и разгрома Оттоманской империи балканскими союзниками в 1912 году в политический парадокс, находивший себе объяснение в соперничестве великих держав на Босфоре и столько же, если не более, в страхе подчинения пролифов русской государственной власти. К этим причинам присоединилась впоследствии еще третья — проведение в жизнь Германией своей мировой политики. Вопрос о политическом и экономическом соперничестве держав отошел на второй план ввиду вполне определенного стремления берлинского кабинета прочно установить германское влияние в Константинополе прежде, чем закрепить за собой остальные пункты своего дальнейшего проникновения в наиболее богатые области Азиатской Турции. Таким образом должна была быть осуществлена идея нового халифата, во главе которого объявивший себя покровителем ислама Вильгельм II считал себя призванным стать. Само собой очевидно, что при выполнении подобного замысла Германия должна была перестать считаться с правами других народов, неразрывно связанных, исторически и экономически, с проливами со времен, когда Ближний Восток не имел для немцев никакого реального значения. Германия вступила на путь искания себе, по выражению своих государственных людей, «места под солнцем», опрокидывая

при этом все препятствия, которые заслоняли ей дорогу, и не давая себе труда разбираться в законности прав на те или иные части турецкого наследства, которые могли быть предъявлены соперниками, чьи интересы были исторически теснее связаны с Ближним Востоком, чем ее собственные, которые были происхождения более недавнего и более искусственного.

Уже за год до европейской войны мы не имели сомнений относительно истинных целей германской политики на Востоке. Систематическое стремление развить и упрочить влияние Австро-Венгрии на Балканах в ущерб нашему, в чем Вильгельм II признался перед началом европейской войны⁶⁸, постепенное подчинение турецкого правительства руководящей воле берлинского кабинета и, наконец, переход командования гарнизоном Константинополя в руки немецкого генерала заставили русское правительство относиться с удвоенной бдительностью к тому, что готовилось на берегах Босфора. Естественным последствием этого явилось обсуждение нашей дипломатией и военными властями тех мер предосторожности и предупреждения, к которым Россия могла бы прибегнуть в случае наступления опасности, чтобы отстоять свои законные интересы от германского посягательства. Я уже говорил о февральском совещании 1914 года, состоявшемся под влиянием вызывающего характера миссии генерала Лимана фон Сандерса. Возвращаясь к нему только для того, чтобы заявить здесь лишний раз самым категорическим образом, что это совещание, не давшее к тому же ничего, кроме отрицательных выводов с точки зрения нашей боевой готовности на Черном море, было вызвано исключительно заботой охраны жизненных интересов России и лишено каких бы то ни было наступа-

68 Дипломатические документы Каутского. I, стр. 168.

тельных целей. Враждебная нам германская печать, стремящаяся выставить Францию и Россию зачинщицами мировой войны, продолжает утверждать с упорством, способным вызвать подозрительность в самом беспристрастном наблюдателе, что г-н Пуанкаре, с одной стороны, а с другой — А.П. Извольский и воинственно настроенные петроградские военные круги, за которыми будто бы покорно следовала русская дипломатия, работали над нарушением европейского мира, первый — в целях возвращения Франции Эльзаса и Лотарингии, а вторые — для осуществления национальной мечты об обладании Константинополем и проливами.

Мне не придет в голову отрицать, что надежда вернуть себе утраченные области никогда не покидала общественного сознания Франции и что равным образом для каждого русского господство над проливами служило и будет служить предметом горячих надежд и пожеланий. Но вместе с этим ни мы, ни наши союзники никогда не сходили с реальной почвы в наших усилиях к достижению национальных целей. Еще менее рассчитывали мы осуществить эти цели, вызвав мировую катастрофу. Как в Петрограде, так и в Париже никогда не упускали из виду громадного риска военного предприятия, которое немцы называют «предупредительной войной» (Preventivkrieg), против которой их неоднократно предостерегал Бисмарк. Этот риск был неизмеримо выше выгод, которые он мог доставить, в особенности в тех условиях, в которые поставила Европу в XX столетии система ее политических союзов. Забрасывая нас своими обвинениями, германская националистическая печать забывает, что вся военная организация как России, так и Франции после 1870 года была построена на началах обороны и что, благодаря этому ни та, ни другая не были приспособлены к

ведению на своих германских границах широкого наступления⁶⁹. Военные планы берлинского генерального штаба исходили из диаметрально противоположного принципа, а именно стремительного нападения на западного и восточного соседей, причем оба были обречены на возможно скорый разгром. Такого рода система, глубоко внедрившаяся в нравы германского военного мира и испытанная на опыте нескольких войн, исключала возможность ведения Германией иного рода войны, кроме наступательной. Дух этой системы сказался и на ходе дипломатических переговоров между Германией, Россией и Францией. О каких бы то ни было переговорах с Бельгией и Люксембургом говорить вообще не приходится. Первое слово, раздавшееся в Брюсселе из Берлина, было облечено в форму ультиматума, за которым последовало вторжение немецких войск в Бельгию. По отношению к России дипломатическая процедура, в первой своей стадии, носила менее бурный характер, но затем она ускользнула из рук г-д Бетмана-Гольвега и фон Яго и перешла в руки генерального штаба, причем канцлер и министр иностранных дел выказали по отношению к военной власти чисто толстовское непротивление злу. Вслед за этим переговоры приняли стремительное течение и с 29 июля вступили в стадию ультиматумов, вызвавших в России ускорение предохранительных военных мер и приведших к единовременной мобилизации как у нас, так и в Берлине, а затем и к объявлению германским послом войны.

69 Наступление в Восточную Пруссию, предпринятое по просьбе Франции в критическую минуту, было блестящей импровизацией и не входило в расчеты нашего генерального штаба. Хотя оно достигло цели, сделав возможной победу французов на Марне, оно тем не менее кончилось для нас чувствительным поражением.

Роль, сыгранная начальником берлинского генерального штаба генералом фон Мольтке в этом стремительном ускорении роковой развязки, выяснена в воспоминаниях начальника австрийского генерального штаба генерала Конрада фон Гетцендорфа, свидетельство которого не может быть опорочено с германской стороны.

Принимая во внимание германские официальные издания, показывающие в истинном их свете настроения и действия берлинских правящих кругов, спрашиваешь себя, какую цель могут преследовать германские националисты, упорствуя в утверждениях, ложность которых давно ясна всякому непредубежденному человеку. Практическая польза этого удивительного упорства весьма сомнительна. Мне кажется, что оно идет против целей, которые себе поставили националисты, и более вредит их делу, чем ему служит. Все чаще и чаще в германской печати раздаются трезвые голоса, пытающиеся умерить патриотические увлечения националистов, видящих бревно в глазу своих противников и не допускающих в своем собственном ни малейшего сучка. Когда-нибудь Германии придется вернуться к мирному сожительству с соседями, без чего ни она сама, ни ее соседи не будут в состоянии жить сколько-нибудь удовлетворительно. Беречь свои раны, чтобы поддерживать их в состоянии нагноения, — неразумная вещь, тем более что время, если только дать ему сделать свою благотворную работу, залечивает самые тяжелые язвы. Это замечание вызвано во мне страстной полемикой германских националистов, но может быть отнесено и к другим странам Европы, не исключая России, испившей до дна чашу человеческих страданий. Не надо давать злу и горю нашего времени затмевать вид на всегда возможное более светлое будущее.

Возвращаясь к вопросу о проливах, я не могу не повторить еще раз, что если нам никогда не приходила в голову

преступная мысль затеять европейскую войну, чтобы разрешить его в нашу пользу, то, с другой стороны, русская дипломатия не могла, когда эта война была уже начата и притом не ею, не сосредоточить на нем все свое внимание. Мы знали, что разрешение этого коренного вопроса русской внешней политики, в смысле вековых ожиданий России, возможно было не иначе, как в связи с европейской войной, и что его разрешение могло одно примирить русское общественное мнение с теми огромными жертвами, на которые эта война обрекала русский народ.

Почти вслед за объявлением нам войны я почувствовал на себе, весьма осязательным образом, давление общественного мнения в смысле использования создавшегося помимо нашей воли международного положения для осуществления острой потребности России в прочном обеспечении ее экономической свободы и политической безопасности. Вопрос ставился для нас с неумолимой определенностью: добиться его благоприятного разрешения в течение начавшейся европейской войны или обречь русский народ на вероятно продолжительный период экономического недомогания и всегда возможной внешней опасности. На этот вопрос мог последовать только один ответ, насчет которого в 1914 году в России не было двух разных мнений. Они явились три года спустя, когда под влиянием нравственного разложения, вызванного переутомлением войной и чадом революционной пропаганды, затмившими здравый смысл и патриотическое сознание народа и его самозванных руководителей, была произнесена подсаженная народу из-за рубежа пагубная формула: «Без аннексий и контрибуций». Ухватившись за нее, революционное правительство начало отмахиваться от завещанной России прошлыми веками политики и заклеило себя актом исторического отступничества, равного которому едва ли можно приискать в летописях человечества.

Но в 1914 году все было иначе. Русский народ не утратил еще сознания своего национального существования, и это сознание неотразимо ощущалось в области внешней политики. Необходимость приступить к разрешению вопроса о проливах выступила на первый план с такою осязательной очевидностью, с какой он никогда не представлялся ни одному государственному человеку времен Екатерины или Николая I, когда он не выходил еще из области кабинетной политики и не становился достоянием общественного мнения всей России. Правда, ни в XIX, ни тем более в XVIII столетиях общественное мнение России не было представлено особым органом, как это было после введения у нас народного представительства. Я уже говорил, что всегда прислушивался к мнению наших народных представителей, в которых я мог в ту пору еще видеть, по выражению Государя, «лучших русских людей». Революционные волнения, отметившие появление на свет Государственной Думы и наложившие свой отпечаток на первые две Думы, изжились, и новые представители страны не успели еще заразиться тем озлоблением против правительственной власти, которое явилось последствием ее роковых ошибок за два года, предшествовавших революции. Третья и четвертая Думы были собрания, с которыми ни один разумный министр не имел права не считаться. Если в последней из них и появились опасные течения, то государственная власть могла бы без труда преодолеть их, сойдя с опасного пути принципиального недоверия к народному представительству и систематического отказа принять во внимание законное требование Думы видеть у власти людей, к которым она могла относиться с уважением и доверием.

Вся Государственная Дума, за исключением немногочисленных крайних элементов, среди которых преобладали инородцы, обнаружила к вопросу о проливах напряженный интерес с того момента, когда Турция вступила в ряды наших

врагов, являясь верной представительницей настроения всей мыслящей России. При каждой встрече с членами Государственной Думы мне приходилось выслушивать их расспросы о том, что намерено было сделать правительство в этом вопросе, и горячие просьбы не пропустить благоприятно сложившихся обстоятельств для окончательного разрешения вековечной и мучительной ближневосточной проблемы, тормозившей правильное развитие национальной жизни.

Подобное настроение отвечало в полной мере моему собственному. Я давно сознавал, что процесс исторического развития Русского государства не мог завершиться иначе, как установлением нашего господства над Босфором и Дарданеллами, являющимися самой природой созданными воротами, через которые непрерывным потоком выливались на Запад природные богатства России, в которых Европа ощущает постоянную потребность, и вливаются обратно необходимые нам предметы ее промышленности. Всякая приостановка в этом обмене производит опасное расстройство в экономической жизни России, похожее на застой кровообращения в человеческом организме и требующее постоянного наблюдения и регулирования. Эта задача не может быть предоставлена доброй или злой воле соседа, действующего иногда под влиянием врага или самого являющегося врагом. Через эти же ворота вторгались в Россию и вражеские силы, внося войну и разорение в ее пределы. Наш единственный хороший порт, Севастополь, не может служить надежной защитой от этой опасности, находясь на слишком далеком расстоянии от Босфора. Всякий, кто знаком с историей Русского государства и кто смотрит беспристрастно на возможность свободного роста и развития нашего народа, самого многочисленного в Европе, поймет, что этот народ не может оставаться бесконечное время в положении несравненно менее благоприятном, чем то, в которое поставлены другие европейские народы, не призван-

ные к исторической роли, которую Россия играет с воцарения Романовых и которая проявилась не только в создании великой империи, но и в выполнении такой громадной культурной задачи, как освобождение и призвание балканских народов к свободной политической жизни и внесения гражданского порядка и цивилизации в безграничные области Северной и Средней Азии. Если разрушительная работа безумной и бесплодной революции внесла временную приостановку в жизнь России, то едва ли можно усомниться, что она проснется для новой и плодотворной деятельности, как скоро стряхнет с себя ярмо коммунистического строя, навязанного русскому народу кучкой международных фанатиков, использовавших надлом его нравственных сил, вызванный войной и подготовленный прежними условиями его существования. Он выйдет из бездны казавшихся в XX веке невозможными страданий так же, как он вышел из более ранних болезней роста монгольского владычества и смутного времени, окрепшим и излеченным от политического утопизма, которым он страдал более столетия.

Я был в вопросе о проливах заодно с русским общественным мнением, хотя нас разделял роковой вопрос о Константинополе, который русский народ назвал Царьградом и окружил в своем воображении особым ореолом.

Что касается до меня, Царьград не представлялся мне органически связанным с Босфором и Дарданеллами. Мне казалось, что он сильно затруднял разрешение вопроса о проливах соответственно нашим интересам. Как сын православной церкви, я не могу относиться к колыбели моей веры иначе, как с чувством благоговения и благодарности, но политически я видел в нем всегда одну нежеланную помеху. Между Москвой и Царьградом нет племенной связи, а духовная, по мере развития нашей церковной жизни и политических судеб греческой церкви, свелась к мало осязаемому единству догматического

учения. Как ни ценны, в моих глазах, наши отношения ко Вселенской Патриархии, они не затмевали для меня политических разномыслии между нами и греками, на которые мы наталкивались в вопросах нашей восточной политики. Великое прошлое Византии и исторический блеск Константинополя создали для него обаяние, которого не могло разрушить даже его превращение в столицу османских халифов, основавших на крови и на костях восточного христианства государственную власть, с которой России привелось вести двухвековую борьбу.

Сделавшись столицей султанов, Константинополь не утратил своего политического значения. Оно даже увеличилось благодаря тому, что он сделался центральным передаточным пунктом между Западом и мусульманскими странами, когда между ними установились правильные торговые сношения. Этим объясняется в значительной степени ревнивое отношение к нему наших западных соседей, которые старались упрочить в нем свое влияние, как экономическое, так и политическое, в ущерб друг другу и России, как наиболее заинтересованной по своему географическому положению в судьбах Черного моря и проливов. В этом отношении главными нашими противниками были долгое время англичане и французы. С начала XX столетия нам пришлось встретиться с новым и еще более опасным соперником в лице Германской империи, вступившей на путь колониальной политики и экономических завоеваний.

Нападение на нас в 1914 году центральных держав и под их давлением Турции поставило Россию в необходимость выйти из роли внимательной наблюдательницы и поставить вопрос о проливах, иными словами, о нашей безопасности в Черном море, на очередь вопросов, требовавших скорейшего практического разрешения. Бомбардирование германскими военными судами под турецким флагом наших прибрежных городов доказало нам, насколько было шатко и опасно поло-

жение наших южных окраин. Я пришел к заключению о настоятельности начатия переговоров с нашими союзниками о признании наших прав на обладание проливами, как единственное обеспечение нашей безопасности. Поступая таким образом, я становился на путь, на который много раньше нас в других частях света стали наши союзники и друзья, не дожидаясь вторжения в свои пределы неприятельских сил. Если бы я не поступил так, я не исполнил бы своего долга по отношению к своей родине и был бы достоин осуждения русского народа.

Я знал, начиная переговоры с французским и британским послами, что меня ожидали многочисленные трудности.

Несмотря на наши двадцатилетние союзные отношения с Францией, мы не могли достигнуть вполне согласованной политики на Ближнем Востоке, где французское правительство оберегало интересы своих подданных, вложивших крупные капиталы в различные финансовые предприятия, как в Константинополе, так и в Малой Азии. Помимо этих реальных интересов его охране подлежали и еще другие, унаследованные от времен, иногда весьма отдаленных, французской монархии. Эта охрана выражалась в покровительстве французского посольства многочисленным римско-католическим духовным учреждениям, независимо от того, боролось ли в данное время французское правительство у себя с римской церковью или нет. Охраняя эти разнообразные интересы, французское правительство имело в виду оберегать на Востоке обаяние французского имени и французской культуры против всяких враждебных течений.

На почве финансовых предприятий между Россией и Францией не возникало недоразумений. В области железнодорожных концессий в Малой Азии нам тоже без особого труда удавалось разграничить сферы наших взаимных интересов. Что касается до вопросов религиозных, то там дело обстояло менее

благополучно. Между православными и римско-католическими духовными учреждениями на Востоке и особенно в Палестине с давних пор существовало соперничество, приводившее иногда к открытым столкновениям, которые затем посольствам приходилось улаживать совместными усилиями.

Тем не менее Ближний Восток был той областью, где даже после вступления России и Франции в союзнические отношения им не всегда удавалось достигнуть полного согласования наших политических взглядов и целей, как это замечалось обыкновенно, когда возникали какие-либо международные осложнения. Эта несогласованность обнаруживалась определеннее всего в столице Турецкой империи, где французские представители нередко проводили политику, несогласную с интересами России.

Что касается Англии, то отношение ее к нашим политическим целям в Европейской Турции было пережитком старых времен соперничества и взаимной подозрительности, когда в Англии и у нас, хотя, может быть, и в меньшей степени, никто не допускал мысли, чтобы что-нибудь могущее служить на пользу одной стороне этим самым не представляло опасности для другой. Такой упрощенный взгляд, плохо служивший делу европейского мира, находил сторонников как в Англии, так и в России, преимущественно среди лиц консервативного образа мыслей, и лишь либеральному правительству Гладстона удалось впервые порвать со старыми предрассудками и внести в оценку русской политики на Востоке более справедливую точку зрения. Этим объясняется та симпатия, которой окружена у нас до сих пор память этого государственного человека.

Со времени заключения соглашения между Россией и Великобританией в 1907 году им удалось, к выгоде обеих сторон, установить более дружественные и доверчивые отношения. Нахождение у власти в 1914 году либерального правительства

с сэром Эдуардом Греем, ныне лордом, в качестве министра иностранных дел, уже доказавшего в пору означенного соглашения свое желание достигнуть в интересах укрепления мира сближения с Россией на почве справедливого размежевания наших обоюдных сфер влияния в Средней Азии, давало мне основание предполагать, что наши еще более важные интересы на Ближнем Востоке найдут у него такое же справедливое к себе отношение. Я знал, что нежелание англичан допустить установление русской власти над турецкими проливами исходило не только из опасения перехода важного стратегического пункта в руки государства, которому общественное мнение Англии привыкло приписывать враждебные замыслы против ее владений в Индии, но также из убеждения, что на земном шаре не должно было быть моря, доступ в которое мог бы при известных обстоятельствах оказаться закрытым для судов британского флота. В отношении к проливам и к Черному морю это убеждение не может быть названо иначе, как политическим суеверием. Насколько понятно и законно желание Англии как первой морской державы мира, вынужденной оберегать политические и торговые интересы, раскиданные на обоих полушариях, обеспечить себе свободу плавания на всех мировых путях, настолько же малопонятным кажется ее опасение допустить превращение Черного моря, имеющего характер закрытого, в достояние России и соприбрежных с ней стран. Ожидать, что Россия, овладев проливами, стеснила бы свободный доступ в Черное море торговых судов западноевропейских государств было совершенно неразумно. Почти вся русская вывозная и ввозная торговля производилась судами этих государств, и всякие запретительные меры нанесли бы прежде и больше всего ущерб самой русской торговле.

Само собою разумеется, что европейская политика не могла руководствоваться подобными взглядами. Поэтому приходится допустить мысль, что как во Франции, так и в

Англии стратегическое значение проливов оценивалось выше торгового, и именно в смысле возможности нападения на Россию, тогда как приписывать ей такие замыслы против морских держав Запада не имело бы и тени основания. Из всех европейских стран Россия наиболее континентальная, и какое бы развитие ни получили ее силы, она никогда не могла бы стать могущественной морской державой. Стоит взглянуть на ее карту, чтобы в этом удостовериться.

Я решился взять на себя ответственность приступить к переговорам относительно проливов в виде предварительного, совершенно частного, обмена мыслями с английским и французским послами. Я не посвятил в мои намерения моих товарищей по совету министров. Среди них, после удаления от дел Коковцова и неудачной замены его Горемыкиным, не было людей, с которыми можно было разговаривать с пользой для дела о предметах внешней политики. Зато между ними было несколько лиц, которых я имел основание опасаться из-за их нерасположения к моим политическим взглядам, а равным образом их прирожденной неспособности хранить что-либо про себя. Морской министр, адмирал Григорович, к которому я относился с уважением и доверием благодаря его прямому характеру и симпатичным мне политическим суждениям, был уже знаком со взглядами министерства иностранных дел на вопрос о проливах, и я мог положиться на его готовность оказать мне в нужную минуту всякое содействие. Военного министра, генерала Сухомлинова, подобные вопросы вообще мало интересовали, и я мог без ущерба для дела его обойти.

Что касается до императора Николая, обнаруживавшего неизменно живой интерес к вопросам внешней политики и правильное их понимание, я знал наперед, что мой почин возбудит в нем горячее сочувствие. Если я решился начать переговоры с союзными послами, не испросив предварительно

его разрешения, то я сделал это на том основании, что мне не хотелось вмешивать Государя в первоначальную стадию переговоров, исход которых мне не был известен. Беря на себя ответственность за их неудачу, я имел в виду придать моему почину чисто личный характер. Я был готов, в случае этой неудачи, понести все ее последствия, заявив Государю, что дальнейшее мое нахождение во главе министерства иностранных дел было несовместимо с интересами России. В этом смысле я вполне откровенно высказался перед союзными послами не с целью произвести давление на их правительства, как это было заявлено впоследствии одним известным французским публицистом, соединявшим антипатию к России с желанием использовать все выгоды союза с ней своей родины, а только для того, чтобы не оставить в них сомнения в твердости моего решения уйти со сцены, уступив мое место другим лицам — а в желавших занять его не было недостатка, — политическая ориентация которых была менее определена, чем моя.

Мысль о каком-либо давлении на решение союзных правительств была мне тем более чужда, что нахождение у власти таких государственных людей, как покойный Делькассе и нынешний лорд Грей, на политическую мудрость и чувство справедливости которых можно было вполне положиться, значительно ослабляли возможность неудачи моих переговоров. Тем не менее она не была вполне устранена, и мне пришлось допустить, в виде случайных факторов, в руководящих кругах наших союзников тех политических предрассудков или суеверий, о которых я упомянул выше. Поэтому я считал долгом внести возможно большую определенность в мои переговоры с первого момента их возникновения.

Вместе с тем я вполне ясно сознавал, что для достижения намеченной мною цели мне было необходимо стать на путь

уступок и возмещений за выгоды, которые должно было дать России обеспечение ее важнейших экономических интересов и внешней безопасности. На это я был готов тем более, что определенно сознавал, что как Государь, так и весь русский народ, за исключением нравственно и умственно изуродованных революционной проповедью людей, с мнениями которых в ту пору еще не приходилось считаться, не откажутся признать вместе со мной право наших союзников на возмещения. События оправдали мои расчеты, и пока судьба России находилась в руках психически здоровых людей, не нашлось человека, который усомнился бы в правильности взятого мною почина. Для того чтобы в русском народе исчезло сочувствие к целям национальной политики, понадобилось разлагающее влияние интернациональной революции, не нашедшее себе отпора со стороны полоненного революцией временного правительства. Под этим влиянием затуманились чувства народной чести, любви к родине и просто здравого смысла, и военный бунт 27 февраля превратился в кровавую и безумную революцию в то время, когда на германском фронте взаимоотношение вооруженных сил в первый раз сложилось в нашу пользу и Германия, по признанию самих немцев, находилась в величайшей опасности.

В ту пору, когда я приступил к переговорам о проливах, Россия была еще здорова, и политика, стремившаяся осуществить национальные цели, была возможна. По мере развития переговоров моя вера в их успех росла и скоро превратилась в уверенность. Я ждал, чтобы выяснилось принципиальное отношение союзных правительств к предмету переговоров, чтобы доложить Государю об их результатах.

Я мог сделать это в конце второй половины октября 1914 года. К этому времени мне уже было ясно, что требование России уступки ей проливов если и не встретит особенного

сочувствия парижского и лондонского кабинетов — этого трудно было ожидать, помня политику этих держав в течение всего XIX века, — то будет по крайней мере признано законным и оправдываемым событиями.

В то время речь о Константинополе шла только мимоходом, и я не противился мысли придать его будущему устройству международный характер. Мысль об овладении Константинополем меня, как сказано, не только никогда не прельщала, но я видел в ней, с точки зрения интересов России, более отрицательных, чем положительных сторон. Превратить бывшую Византию в русский город, который поневоле занял бы третье место в иерархии русских городов, было очевидно невозможно, а сделать из него новую южную столицу России было нежелательно, а может быть, и опасно.

Государь принял мой доклад о проливах, как я того ожидал, с чувством глубокого удовлетворения, которое вылилось в памятные мне слова: «Я вам обязан самым радостным днем моей жизни». Услышать эти слова для всякого русского, взиравшего на своего Государя как на носителя идеи национального единства своей родины, было само по себе большой наградой. Присущая императору Николаю II крайняя сдержанность удваивала ценность этой награды. Представляя ему проект установления русской власти над проливами и устройства Константинополя на международных началах, как оно в ту пору обрисовывалось, я остановился подробно на доводах, которые побуждали меня относиться отрицательно к мысли распространения на турецкую столицу русского владычества, мысли издавна дорогой многим русским сердцам. Мне хотелось предупредить со стороны Государя проявление того сентиментального отношения к этому вопросу, которое обнаруживали обыкновенно патриотически настроенные классы русского народа. Я боялся, чтобы обаяние имени Царьграда и

освященная веками мечта о водружении Россией православного креста на куполе Святой Софии не предрешили взгляда Государя на вопрос о судьбе Константинополя.

Этого не случилось, но уже тогда из некоторых его замечаний я вывел заключение, что он не верил в возможность удержаться на позиции, занятой нами в первой стадии переговоров. Я сам был недалек от этого мнения, предвидя, что с развитием событий нам придется ее покинуть под давлением общественного мнения и стратегической необходимости, перед которой всегда исчезают всякие иные соображения. С другой стороны, от меня не ускользали бесчисленные осложнения, которые ожидали нас с минуты установления condominiuma, намечавшегося в первоначальном проекте нового устройства Константинополя. Даже при соблюдении самого справедливого разграничения сфер интересов и влияния каждой из оккупирующих сторон нельзя было не предвидеть неизбежных трений и соревнований, которые должны были повести, по законам всякого совместного владения, к опасным столкновениям, последствия которых трудно было предучсть.

Вся зима 1914–1915 годов прошла в подготовительных переговорах, и к марту 1915 года вопрос о проливах назрел настолько, что я мог уже придать моим переговорам с союзниками определенную форму дипломатического соглашения. Мне пришлось это сделать не только для того, чтобы закрепить их согласие на наше требование, но еще более потому, что Государственная Дума и русская печать обнаруживали нетерпеливый интерес к вопросу, которому Россия придавала наибольшее значение. Этот интерес разделяли в не меньшей степени наши военные круги, помнившие горький опыт Крымской войны, а равно и появление британского флота под Галлиполи в то время, когда русская армия после поражения Турции должна была отказаться от заслуженной ею награды

вступления в Константинополь, и находившиеся еще под свежим впечатлением прорыва германских судов в Черное море и бомбардирования наших незащищенных портов в октябре 1914 года.

Мне было невозможно скрыть от Думы, что я вел с союзниками переговоры об уступке нам проливов и что я имел основание рассчитывать на благополучное разрешение этого вопроса. Наши военное и морское ведомства были, само собой разумеется, вполне осведомлены о ходе переговоров, и то давление на министерство иностранных дел, которого я опасался, не замедлило проявиться с большой силой.

Под влиянием этих условий, приобретавших с каждым днем большее значение, отношение правительства к вопросу о Царьграде стало постепенно изменяться. Проект международного устройства стал быстро отступать на задний план. Мысль о кондоминиуме никого не удовлетворяла. Общественное мнение, поскольку оно находило себе выражение в Государственной Думе, а также военные круги видели в ней прямую опасность для осуществления русского владычества над проливами, необходимость которого никем не оспаривалась. Если мне было возможно не соглашаться со стремлениями русского общества, исходящими из вековых и весьма почтенных побуждений более сентиментального, чем политического характера, то по отношению к настояниям наших военных властей я был вполне безоружен и должен был сдать мои позиции, хотя и не был вполне убежден их доводами. Но с генеральным штабом о стратегии не спорят.

Вследствие изменения предмета моих переговоров с союзными послами, расширенных внесением в них вопроса об уступке нам Константинополя, мне стало труднее отстаивать требования русского правительства. Тем не менее мое положение в отношении нашей новой союзницы Англии было доволь-

но определено. Вскоре после пропуска Турцией, по настоянию германского посла, немецких военных судов через проливы и их налета на русские порты, сэр Эдуард Грей выразил мне от имени правительства Великобритании согласие на наше желание уступки нам проливов. Первого февраля 1915 года это согласие было мне официально подтверждено английским послом. Таким образом, не оставалось места никакому сомнению в дружественном намерении Англии считаться с желаниями России в области, в которой достижение соглашения между нами представлялось до тех пор едва ли возможным. Это дало мне случай тогда же сообщить английскому правительству, в общих чертах, наш взгляд на земельные присоединения, которые казались нам необходимыми для обеспечения нашей безопасности на Черном море. Требования России сводились к следующему: на европейском берегу должен был быть положен конец турецкому владычеству; линия Энос — Мидия, соединяющая Эгейское море с Черным, должна была служить границей между нами и Болгарией; пограничная линия на азиатском берегу должна была проходить по реке Сакарии; и положение наше в проливах должно было быть обеспечено с южного берега Мраморного моря. Вместе с тем экономические интересы Румынии, Болгарии и остальной Турции, а также и интересы европейской торговли должны были быть приняты нами во внимание. В этом первоначальном проекте, как видно, Константинополь не упоминается, но взгляд русского правительства на судьбу этого города можно вывести косвенно из его намерения положить конец турецкому владычеству в Европе.

Наше положение в отношении старой союзницы Франции было менее определено и требовало выяснения и уточнения. Эту задачу я поручил нашему послу в Париже А.П.Извольскому в надежде, что дружественное расположение к России тогдашнего министра иностранных дел Делькассе облегчит ход

переговоров по вопросу, к разрешению которого ни правительство, ни общественное мнение Франции не были еще подготовлены.

Парижские переговоры, несмотря на добрую волю Делькассе, подвигались довольно медленно. Убедить совет министров и французскую печать в необходимости стать на точку зрения России в вопросе жизненного значения для нее оказалось нелегко. Отвлеченность и теоретичность, которыми отличается французский способ мышления, служили немалой помехой для быстрого окончания этих важнейших переговоров.

Несмотря на то, что я начал их вести одновременно с представителями обеих союзных держав и продолжал параллельно в Англии и во Франции через наших послов, я скоро убедился, что между обоими правительствами не существовало по вопросу о проливах тесного общения и тем более согласования взглядов. В то время, когда из Лондона меня уведомляли о принятии наших пожеланий, в Париже еще стояли на точке зрения нейтрализации проливов и устройства для Константинополя международного статута, в духе того, который был создан для Танжера. Из всех возможных решений вопроса о проливах нейтрализация является, с точки зрения интересов России, худшим. Русское правительство никогда не скрывало своего предпочтения сохранения над ними турецкого владычества. Нейтрализация важных в стратегическом отношении мест допустима только при наличии военной силы, способной в нужную минуту охранить их неприкосновенность, как мы видим на примере Суэцкого канала, оба берега которого хотя и принадлежат Египту, находятся под контролем английских военных сил. Что касается до турецких проливов, их нейтрализация представлялась бы совершенно призрачной и зависела бы от доброй или злой воли наиболее сильной морской держа-

вы. На эту роль, как известно, Россия никогда не претендовала да и не может претендовать по своему географическому положению. Все это настолько очевидно, что большевики, относящиеся весьма вольно к обязанностям всякого, даже самозванного правительства оберегать неприкосновенность государственной территории, как видно из примера Брест-Литовского и Рижского мирных договоров, с трудом решились подписать Лозанский договор.

Если у нас были возможны колебания относительно политического положения Константинополя, то в вопросе о проливах русское правительство сразу заняло вполне определенное положение, и я не оставил в моих разговорах с г-ном Палеологом и с сэром Джорджем Бьюкененом в них ни малейшего сомнения на этот счет. Тем не менее все указывало на то, что в Париже неохотно и с трудом усваивали себе русскую точку зрения, расходящуюся с воззрением, укрепившимся за долгие годы политических разногласий, прерываемых иногда периодами открытой борьбы, которыми были отмечены отношения между ней и Россией. В этом отношении не помог и тот брак по расчету, который был заключен между ними в конце прошлого столетия под давлением общей опасности со стороны Германии. Возможность появления России в проливах и в Константинополе продолжала устрашать воображение французов, нелегко свыкающихся с переменой привычного им положения вещей.

Признавая наличие значительных финансовых и культурных интересов Франции в Турции и Константинополе в частности, русское правительство при предъявлении своих прав на турецкое наследство в Европе заявило о своем намерении не только не посягать на эти права, но дать им новую гарантию в форме взаимного соглашения с французским правительством. Ценность такой гарантии была очевидна. Если в Турции было

около четырех миллиардов французских денег, то в России их было вдвое больше, и пока существовала Русская империя и с ней национальное правительство, интересы наших иностранных заимодавцев пользовались защитой государственной власти и закона и охранялись неослабно даже в самые тяжелые годы русской истории.

Что касается культурных интересов Франции в Турции, т. е. главным образом ее духовных и учебно-воспитательных учреждений, то большая их часть была разбросана в пределах Азиатской Турции, и перемена в политическом положении Европы для них не могла иметь значения.

Так как я не пишу дипломатической истории великой войны, ожидать которую придется еще много лет, а записываю здесь только мои личные воспоминания и впечатления главнейших событий, которых я был свидетелем, я не буду излагать подробно моих переговоров с союзными правительствами по вопросу о проливах и Константинополе. Скажу лишь, что они протекали в общем благополучно и, если иметь в виду их огромное значение, довольно быстро.

В конце зимы 1915 года театр военных действий на Ближнем Востоке расширился вследствие кампании, начатой англо-французскими войсками на территории Европейской Турции в ближайшем соседстве турецкой столицы и Дарданелл, куда были отправлены значительные морские и сухопутные силы. Последние высадились на северном берегу Дарданелльского полуострова с расчетом совместным движением на Константинополь и на проливы завладеть ими и таким образом вывести Турцию из строя.

Цель эта была крайне заманчива, и достижение ее должно было повлиять на быстрый и благополучный исход войны, отрезать Германию от Болгарии и Турции и обезопасить Сербию с юго-востока.

Оказались ли силы англо-французской армии недостаточными, или стратегический план кампании был неверно задуман и неудачно выполнен, я не знаю, но союзный поход на Константинополь стоил огромных жертв и кончился провалом. По чьей мысли и по чьему настоянию была предпринята эта кампания, до сих пор, кажется, еще не выяснено. Бывшие наши союзники утверждают, что мысль о ней возникла у нашего главного командования ввиду облегчения наших операций на Азиатском фронте и что ее план был выработан г-ном Уинстоном Черчиллем, тогдашним английским морским министром.

Насколько я горячо сочувствовал мысли о вогнании клина между Турцией и Болгарией и центральными державами, настолько же мне была неприятна возможность захвата проливов и Константинополя силами наших союзников, а не русскими войсками и Черноморским флотом. Мне казалось, что разобщения между австро-германцами и Турцией можно было с меньшим риском достигнуть, направив союзные войска из Македонии на болгарскую границу. Этим движением были бы парализованы всякие воинственные поползновения царя Фердинанда и была бы в корне пресечена возможность его измены. Когда Галлипольская экспедиция была окончательно решена нашими союзниками и английский и французский послы заявили мне об этом во время одного из своих ежедневных посещений, мне стоило большого труда скрыть от них неприятное впечатление, которое произвело на меня это известие. Я ограничился тем, что сказал им: «Помните, что вы предпринимаете эту экспедицию не по моей просьбе».

Помимо вышеозначенной причины у меня была и другая. Мне казалось, что союзники, начиная свой подступ к Константинополю с узкого Дарданелльского полуострова, не добьются никаких результатов, тем более что укрепления проливов и столицы, находившиеся давно в руках немцев, были за первые

шесть месяцев войны приведены в состояние полной исправности и значительно усилены. Но как у человека невоенного, у меня на этот предмет не могло быть авторитетного мнения. Взамен его у меня были одни впечатления и более или менее разумные опасения, не имевшие ни в чьих глазах, кроме моих собственных, никакой цены, поэтому я никому их не навязывал.

Галлипольская экспедиция развивалась медленно и неудачно, но ход ее не имел влияния на продолжение начатых мной осенью переговоров с Лондоном и Парижем. Их надо было продолжать, не теряя времени, до достижения намеченной цели — признания наших прав на проливы и Константинополь. Со своей стороны, мы, очевидно, были готовы ответить им полной взаимностью на их требования территориальных уступок за счет общего врага, Турции, в тех ее частях, где были сосредоточены их главные политические и экономические интересы.

Мало-помалу вопрос об обладании Россией проливами и Константинополем созрел настолько в сознании английского и французского правительств, что я мог отправить 17 марта 1915 года русским послам в Лондоне и Париже телеграмму следующего содержания, составленную при участии сэра Джорджа Бьюкенена: «Ход последних событий привел Его Величество Императора Николая II к убеждению, что вопрос о Константинополе и проливах должен быть окончательно разрешен в смысле вековых стремлений России. Всякое его разрешение, которое не включало бы в состав Русской империи города Константинополя, западного берега Босфора, Мраморного моря и Дарданелл, а равно и Южной Фракии по черту Энос — Мидия, было бы неудовлетворительно. Подобным же образом, по стратегическим соображениям, часть Азиатского побережья, заключающаяся между Босфором и рекою Сакарией и

между пунктом, подлежащим определению, на берегу Измидского залива, острова Имброс и Тенедос должны будут быть присоединены к империи. Специальные интересы Великобритании и Франции в означенной области будут строго соблюдены. Императорское правительство надеется, что вышеизложенные соображения будут благожелательно встречены обоими союзными правительствами. Эти правительства, в свою очередь, могут рассчитывать на благожелательное отношение императорского правительства при осуществлении своих планов в других областях Турции, а также и вне ее пределов».

Я привожу здесь целиком текст этой телеграммы, потому что изложенный в ней проект территориальных приобретений в области проливов был вскоре после его сообщения в Лондон и Париж положен без изменений в основание соглашения, достигнутого Россией и ее союзниками. При дальнейшем ходе переговоров этот проект был расширен и распространен на азиатские владения Турции. Настаивая на удовлетворении своих требований, назревавших веками и унаследованных от минувших поколений, Россия не имела в виду противодействовать требованиям приращения своих союзников в тех частях Азиатской Турции, на которые они предъявляли свои права.

Для нас было существенно установить русскую власть в той части Малой Азии, которая прилежала к закавказским владениям России и которая по своему этническому составу была только в небольшой доле турецкой. Этот край был театром постоянных восстаний и невероятных по своей жестокости усмирений. О значении армянских вилаетов в отношении спокойствия и благополучия нашего Закавказья я уже говорил в связи с моей попыткой введения реформ для этих провинций, которые были обитаемы едва ли не самым несчастным христианским населением Турции.

Была еще другая турецкая область, имевшая в глазах русского народа чрезвычайно важное значение. Это Палестина, куда столетиями направлялась непрерывная струя русских паломников на поклонение святым местам. Эти паломничества, по численности своей превышавшие число паломников всех других христианских стран вместе взятых, и привели к возникновению Православного палестинского общества, обладавшего большими материальными средствами и раскинувшего сеть своих духовных и учебных учреждений по всей Палестине и отчасти Сирии. Эти учреждения пользовались ввиду их национального значения особым покровительством нашего посольства в Константинополе и консульств на местах. В силу общего правила, что на Востоке все так или иначе связано с политикой, эти учреждения, по существу своему чуждые ей, не были лишены некоторого политического значения, являясь показателями русского влияния. При переговорах с союзниками относительно перемен, которым должно было подвергнуться политическое положение Турции по окончании войны, вопросу о Палестине было отведено свое место. Россия, не предъявляя для себя особых прав и преимуществ, потребовала лишь неприкосновенности того положения, которого ей удалось достигнуть в Палестине во времена турецкого владычества, и прежде всего — беспрепятственного допущения своих паломников к святым местам, независимо от того нового порядка, который должен был быть там установлен.

Весь март 1915 года протек в переговорах между Петроградом, Лондоном и Парижем о проливах и Константинополе. Они шли вполне удовлетворительно, хотя и не ровным шагом, причем Англия опережала союзную Францию. Делькассе не мог не сознавать, что требования России были справедливы и что наступила пора положить конец политике, которая держала великую и дружественную державу с населением в сто семьдесят миллионов жителей в мышеловке, откуда ей не было

выхода, но куда врагам ее был открыт доступ. Его товарищам по кабинету и французскому общественному мнению, державшимся старой политической рутины, стоило большого труда освоиться с новой для себя мыслью, и Делькассе пришлось выдержать упорную борьбу, чтобы преодолеть их сопротивление.

В Англии тоже было немало противников разрыва с укоренившимися преданиями долгого царствования королевы Виктории, отличавшегося враждебностью⁷⁰ к России, завещанной ей ее супругом принцем Альбертом Кобургским. Но в характере английского народа есть черта, в силу которой раз решившись на какой-нибудь шаг, даже ему непривычный и неприятный, он уже не оглядывается назад, а совершает его быстро, как проглатывают горькую пилюлю. Я уже упоминал выше о справедливости и беспристрастии, которыми отличалась политика сэра Эдуарда Грея по отношению к России еще задолго до начала европейской войны. Эти редкие качества выступили особенно ярко в связи с переговорами о проливах и Константинополе. Я не могу вспомнить о его роли в эту знаменательную для России пору иначе, как с чувством искренней признательности.

К концу марта оставалось только оформить состоявшееся соглашение и закрепить его в виде письменного акта. К тому времени, когда было достигнуто удовлетворительное решение по коренному вопросу, союзникам оставалось лишь выяснить наше отношение к другому существенному для них вопросу: о

70 В недавно изданных воспоминаниях лорда Барти, бывшего английским послом в Париже во время войны, враждебное настроение автора к русской политике обнаружилось в форме самых неприличных нападок на меня. В дипломатических кругах лорд Барти был вообще более известен своей грубостью, чем политическими талантами.

гарантии русским правительством свободы торгового плавания в проливах и Мраморном море.

Принципиальное наше согласие на широкое обеспечение экономических интересов наших союзников и черноморских прибрежных государств, а равно и всех дружественных нам держав было выражено мной при начале переговоров. Выработка окончательной формулы этого обеспечения была отложена до момента составления текста мирного договора, в который наша гарантия должна была быть включена.

27 марта сэр Джордж Бьюкенен вручил мне меморандум, составленный им на основании инструкций из Лондона, в котором подтверждалось согласие английского правительства на присоединение Россией проливов и Константинополя под условием, что война будет доведена до победоносного конца и что Великобритания и Франция осуществят свои пожелания за счет Оттоманской империи и «некоторых областей, лежащих вне ее». Условие «доведение войны до победоносного конца» было упомянуто в меморандуме, хотя было вполне очевидно, что без этого условия нельзя было говорить о приобретении каких бы то ни было частей турецкой территории. Моя вера в победу Тройственного соглашения над центральными державами и в их твердую волю довести борьбу до конца была с самого начала войны непоколебима, но я не предвидел, что единственной из держав Соглашения, не удовлетворившей этому основному условию, будет моя родина, выведенная из строя революцией в ту пору, когда ей наконец удалось завершить свое вооружение и оставалось сделать последнее усилие, чтобы пожать плоды трехлетней тяжелой борьбы. Поэтому включение в английский меморандум этого условия не имело, на мой взгляд, практического значения. Русской революции была суждена незавидная доля вложить в эту оговорку реальное содержание, которое еще сокрыто от глаз большинства наших

соотечественников вследствие перенесенных огромным большинством из них личных страданий и ужасной картины разрушения России.

Во что обошлись русскому народу навязанные ему интернационалом отказ от долга чести и отречение от заветов истории, станет ясно лишь будущим поколениям.

В числе упомянутых в английском меморандуме пожеланий были еще следующие: устройство в Константинополе вольного порта для склада и провоза товаров, имевших назначение в страны Малой Азии и Юго-Восточной Европы, кроме России; оставление Аравии и мусульманских святых мест под независимой мусульманской властью; подчинение нейтральной зоны в Персии английскому влиянию путем пересмотра русско-английского соглашения 1907 года. На все эти пожелания лондонского кабинета, как и на те, которые были нам выражены г-ном Палеологом относительно уступки Франции Сирии и Киликии, русское правительство выразило свое согласие. Дальнейшая разработка и уточнение территориальных приобретений наших союзников за счет Оттоманской империи были произведены позже, в личных переговорах между мной и их особыми уполномоченными, сэром Марком Сайксом и г-ном Пико. В апреле 1916 года, по окончании этих переговоров и выяснении пожеланий каждого из членов Тройственного соглашения, я сообщил в письме к союзным представителям в Петрограде о согласии императорского правительства на предъявленные ими требования о присоединении Англией Месопотамии и Францией — Сирии и Киликии, под условием приобретения Россией в Малой Азии Эрзерума, Трапезунда, Вана и Битлиса вплоть до пункта на Черноморском побережье, который должен был быть определен при проведении новых границ. Часть Курдистана, лежащая на юг от Вана и Битлиса, должна была равным образом отойти к России, взамен чего

Франция приобретала в Малой Азии значительную территорию с городом Харпутом. Вот в общих чертах соглашение, к которому пришло русское правительство с уполномоченными Англии и Франции в 1916 году. Россия из-за постигшего ее внутреннего катаклизма, не только не сделала новых территориальных приобретений, но потеряла немало старых. Нашим союзникам пришлось тоже отказаться от некоторых из намеченных ими турецких областей. Над другими ими был установлен протекторат более или менее призрачного характера, принесший им до сих пор сомнительные выгоды.

Я возвращаюсь к событиям весны 1915 года. Ход Галлипольской кампании наших союзников не обещал удачного исхода. Кабинеты Соглашения, тем не менее, вели переговоры о временном устройстве Константинополя после его падения, рассчитывая, что оно совершится в недалеком будущем. Окончательная судьба турецкой столицы уже была предрешена соглашением между русским и союзными правительствами, но на время продолжения войны вопрос о таком временном устройстве требовал разрешения. С этой целью был совместно составлен проект городского управления Константинополем, в котором наряду с военным командованием предвиделось гражданское устройство города. Мы отстаивали ту точку зрения, что контроль главнокомандующего союзными силами над верховными комиссарами держав как представителями гражданской власти не должен был быть допущен. Имелось в виду учреждение шести отделов, которые должны были ведать всеми отраслями гражданского управления, причем каждому из союзных правительств предоставлялось назначение двух начальников отделов. Из этих отделов Россия оставляла за собой управление внутренними делами и юстицией. Заведование вакуфами, т.е. мусульманскими духовными имуществами, поручалось мусульманину.

Я не касаюсь здесь проекта местной юрисдикции как наиболее специального из всей системы временного устройства Константинополя, которому не суждено было вследствие полной неудачи Галлипольской экспедиции, увидеть даже начала осуществления. Англо-французские контингенты были спешно отозваны во избежание непоправимой катастрофы. Этот эпизод союзной борьбы принес делу согласия значительный нравственный и материальный ущерб и соответственно тому повысил самонадеянность его врагов. Турки, начавшие войну не по своему свободному выбору, а под принуждением германского посла Вангенгейма, не только укрепились в своей вере в непобедимость Германии, но начали не сомневаться в своей собственной. Вообще же балканские клиенты Германии сплотились еще теснее вокруг своей покровительницы, служа ее интересам с самоотвержением, за которое им пришлось впоследствии заплатить дорогую цену. Удары, наносимые туркам русской армией в далекой Малой Азии, не производили желанного впечатления на Константинополь, находившийся в крепких германских руках. Картина изменилась только гораздо позже, после балканских побед маршала Франшэ д'Эсперэ. Они раскрыли туркам и болгарам глаза на безнадежность их положения и этим приблизили момент германского поражения на Западном фронте.

Событие это, важность которого нельзя достаточно подчеркнуть, не застало уже России в рядах победителей. Революция была в ту пору занята устройством своей пролетарской республики, основанной на костях лучших сынов прежней России. Русский марксизм сам себя изверг из среды цивилизованных государств, совершив над народом акт произвольного самоотравления в то время, когда все силы страны, как духовные, так и материальные, были ей нужнее, чем когда-либо за все ее существование. Я говорю о самоотравлении, а не само-

убийстве, так как, к счастью, нет яда, которого не мог бы преодолеть молодой и сильный организм русского народа.

Глава XI

Политические переговоры с Италией и Румынией. Выступление Италии совместно с Тройственным согласием. Последствия выступления Румынии. Присоединение Бессарабии к Румынии в 1918 году. Политическое возрождение Чехословакии

Война 1914 года застала врасплох не только противников Австро-Венгрии и Германии, что, очевидно, было в порядке вещей, но и самих их союзников, что не могло быть выгодно ни Австрии, ни Германии. Это обстоятельство тем более непонятно, что ни в Берлине, ни в Вене не предавались самообольщению насчет крепости союзов, связавших центральные кабинеты с Италией и Румынией, заинтересованных как та, так и другая в ослаблении Австро-Венгрии. Остается предположить, что уверенность в громадном превосходстве военной подготовки и боевых сил Германии заставила австро-венгров пренебречь всякими другими соображениями в надежде втянуть в свою орбиту колеблющихся союзников силой военного успеха, тем более что они смотрели на этих союзников как на не вполне равноправных. События, как известно, разбили эти надежды. Италия и Румыния остались нейтральными. Вскоре стало ясно, что объявленный ими нейтралитет не был дружественным по отношению к центральным державам, а был вызван их боевой неготовностью, почему он не мог продолжаться дольше срока, нужного для завершения их вооружений. Для Италии, как великой державы, этот срок был короче, чем для Румынии с ее ограниченными материальными средствами и ее небольшим населением.

Как бы ни были эти государства заинтересованы в выступлении против своих недавних союзников, им было нужно, прежде чем перейти Рубикон, сговориться с новыми союзни-

ками относительно тех выгод, которые их выступление должно было принести. Как Италия, так и Румыния преследовали цель возможно полного включения в свои границы соплеменников, находившихся под властью монархии Габсбургов. Если бы венский кабинет обнаружил некоторое желание удовлетворить хотя бы частично эти желания, возможно, что сознание огромности риска и жертв, сопряженных с войной, удержало бы Италию и Румынию от вступления на путь, который должен был ускорить гибель Австро-Венгрии и побудил бы их удовольствоваться временным компромиссом. Такого рода решение было бы не только в интересах самой Австро-Венгрии, но и Германии. Однако и в этом случае из Берлина не было своевременно принято серьезных мер воздействия на Вену, и ее упорству был предоставлен полный простор. Боялась ли Германия лишиться в самую нужную минуту поддержки своей союзницы или она была убеждена, что время для дипломатического торга было уже пропущено, но как в Риме, так и в Бухаресте вскоре увидели, что всякое соглашение с Веной, и еще более — с Будапештом, совершенно безнадежно и что ожидать чего-либо можно было только от держав Согласия.

Это течение взяло верх, и тотчас после объявления войны между кабинетами Согласия, Римом и Бухарестом открылись переговоры относительно тех территориальных уступок, которые Согласие было готово сделать Италии и Румынии за счет Австро-Венгрии в случае победы над центральными державами.

Императорское правительство поставило себе за правило не препятствовать видам своих союзников в вопросах, касавшихся изменения карты Западной Европы, имевшего для нас второстепенное значение, предоставляя себе решающий голос там, т.е. в Восточной и Юго-Восточной Европе, где были ближайшим образом затронуты интересы России. Ввиду того,

что территориальные притязания Италии простирались не только на южные склоны Альп и на Истрию, но также и на некоторые части восточного побережья Адриатического моря, а требования Румынии касались юго-восточных областей Габсбургской империи, на долю петроградского кабинета выпала трудная задача договориться с обеими державами, не теряя из виду интересов наших югославянских союзников. Насколько сложна была эта задача, я увидел с первого же дня, когда итальянское и румынское правительства заявили о своей готовности вступить в переговоры по вопросу об их национальном объединении. Я должен признаться, что требования их показались мне преувеличенными. Насколько я считал законным желание Италии получить на севере стратегическую границу, которая обезопасила бы ее навсегда от угрозы вторжения через альпийские проходы, бывшие в руках Австрии, настолько же не оправдывались, в моих глазах, итальянские притязания на большую часть Далматинского побережья с прилегающими к нему островами, заселенного сплошным славянским населением, за исключением некоторых городов. Итальянцы, предъявляя свои требования, объясняли их необходимостью владеть ради безопасности обоими берегами Адриатики. Я прилагал все усилия, чтобы убедить итальянского посла, что имея в своих руках Таранто, Анкону, Венецию, Триест, Полу и Валлону, обладанием которой они в то время еще очень дорожили, они могли бы считать свое положение в Адриатике вполне обеспеченным, тем более что даже при переходе Далматии во владение Сербии превращение последней в сильную морскую державу было едва ли вероятно. Тем не менее Италия настаивала на своих требованиях присоединения намеченной части побережья и на нейтрализации той, которая должна была отойти к Сербии.

Тройственному соглашению важно было заручиться участием Италии в войне, и поэтому наши союзники побуждали

русское правительство к возможно большей уступчивости в адриатическом вопросе. Я сознавал всю цену союза с Италией не только с точки зрения общего его значения для Согласия, но и с нашей собственной, ввиду помощи, которую она могла оказать нам в борьбе с Австрией, вынуждавшей нас держать значительные силы на Юго-Западном фронте, которые были бы нам полезнее на севере против Германии. Мне стоило большого усилия над собой, чтобы ради выгод итальянского союза пожертвовать интересами сербского народа, желания которого могли получить осуществление только в связи с великой войной. Выход к морю был, во всяком случае, обеспечен Сербии, но значительная часть сербского населения лишалась возможности присоединиться к объединенной родине. Помимо этой стороны дела меня озабочивала еще и другая, которая хотя и не представляла немедленной опасности, угрожала в будущем серьезными политическими осложнениями. Размежевание итальянских и сербских владений по Адриатическому побережью, согласно проекту римского кабинета, должно было через некоторое время неминуемо привести к столкновению между Италией и Сербией, опасному для европейского мира. Создание на Адриатике еще одного лишнего очага международных конфликтов вдобавок к тем, которые должны были естественно возникнуть после окончания войны, было крайне нежелательно. К счастью заинтересованных сторон и всей Европы и к чести итальянских государственных людей, опасность эта теперь устранена. Установление дружественных отношений между Италией и Югославией путем взаимных уступок служит некоторым ручательством дальнейшего мирного сожителства двух сопредельных народов, из которых один уже достиг своего расцвета, а другой стоит на верном пути развития своих материальных и духовных сил. Остается только желать, чтобы этот благой пример разрешения международных споров посредством полюбовного соглашения

нашел себе подражателей у других европейских народов. Это тем более желательно теперь, пока громоздкий аппарат Лиги Наций, медлительный и сложный, не приобрел еще должного авторитета, и решения его оставляются в некоторых случаях без внимания.

Переговоры о выступлении Италии совместно с Тройственным соглашением продолжались до мая 1915 года, когда она объявила Австро-Венгрии войну. За это время Италия, боевая подготовка которой была недостаточна, успела значительно подвинуть ее вперед и организовать, сообразно нуждам войны, свои многочисленные и хорошо оборудованные металлургические заводы. Эти десять месяцев дипломатической и технической подготовительной работы не прошли для Италии без пользы как в политическом, так и в военном отношении.

Нельзя сказать, что переговоры с Румынией, главная тяжесть которых пала на русское правительство, шли быстро и успешно. С самого их начала румынское правительство, в лице г-на Братияно, заняло неопределенное положение. Отказавшись стать на сторону центральных держав, вопреки настояниям короля Карла, верившего в торжество Германии и желавшего исполнить свои союзнические обязательства, Румыния держала себя настолько двусмысленно, что державы Соглашения долгое время не могли уяснить себе, пойдет ли она по пути, избранному Италией, или же снова примкнет к своим прежним союзникам. Вместе с тем она не отказывалась от ведения в Петрограде переговоров с целью выяснить, какую цену Россия готова предложить ей, чтобы она окончательно порвала с центральными державами и связала свою судьбу с новыми друзьями. В самом начале переговоров у меня создалось впечатление, что колебания Румынии зависели, главным образом, от неуверенности, на чьей стороне останется победа, и от опасения поставить свою ставку на битую лошадь. Такое

настроение крайне затрудняло переговоры и утомляло кабинеты Согласия. Тем не менее оно не возбуждало с их стороны чересчур резкого осуждения, так как им было известно, что Румыния была совершенно не готова к войне. Несмотря на эту неподготовленность, Румыния предъявляла настолько высокие требования территориальных вознаграждений, что не раз казалось, что переговоры должны будут оборваться, не достигнув цели. Уступка Румынии областей Венгрии, имевших румынское население и желавших присоединения к ней ради освобождения от мадьярского гнета, не составляла никаких затруднений и была предрешена в благоприятном смысле. Задержки возникали в тех случаях, когда требования г-на Братияно касались областей, в которых румынский элемент был представлен гораздо слабее, как, например, в Буковине и в Банате, где были задеты интересы России и Сербии.

Вопрос об участии Румынии в войне внес некоторое раздвоение во взгляды держав Тройственного согласия. В глазах петроградского кабинета главной целью политики Согласия должен был быть разрыв между Румынией и центральными империями, который гарантировал бы более ее нейтралитет, чем деятельное участие в войне. Румыния, благодаря своим естественным богатствам, является крупным экономическим фактором Юго-Восточной Европы. Роль ее как поставщицы зерна и нефти, в которых Германия и Австрия ощущали острую нужду, приобретала во время войны исключительное значение. Лишить наших врагов румынского ввоза было моей главной заботой и за эту услугу императорское правительство было готово заплатить Румынии высокую цену.

Привлечение ее на поля сражений было сопряжено не только с неудобствами, но и с большим для нас риском, так как возлагало на нас обязанности, которые должны были внести беспорядок в наши военные планы. С этим беспорядком при

несовершенстве нашей боевой организации нам было нелегко справиться. Быть постоянно наготове для оказания помощи слабому союзнику была задача более посильная Германии, чем нам, да и ей она давалась не без труда.

Активная помощь Румынии могла быть нам полезна только при двух условиях: если бы вступление румынской армии в борьбу против Австро-Венгрии совершилось одновременно с наступлением генерала Брусилова, приведшим ко взятию Львова и Перемышля в начале 1915 года, и если бы румынские войска вместо того, чтобы спешить занять Трансильванию и заручиться таким образом приобретением области, которая при успешном исходе войны не могла без того не достаться ей, ударили на болгар и предотвратили их нападение на Сербию, разгром которой открыл Германии свободный доступ в Турцию. Румыния не выполнила ни того, ни другого условия и, преследуя свои узкие цели, требовала, вдобавок, от России обеспечения ее южной границы от возможного вторжения болгар в Добруджу. На этих условиях выступление Румынии на стороне держав Согласия теряло всякую ценность.

Я считаю полезным привести здесь мнение беспристрастного и авторитетного иностранца, французского генерала Бюа (Buat)⁷¹, которое указывает на то, как оценивалось руководящими военными сферами Франции положение, занятое Румынией в первую стадию европейской войны. Этот писатель в сочинении, появившемся после заключения мира, утверждает, что своевременное объявление войны Румынией Австро-Венгрии, а именно в момент наступления генерала Брусилова, могло бы иметь решающее влияние на исход войны, в конце же августа 1916 года оно являлось уже запоздалым.

71 GeneralBuat. Hindenbourg et Ludendorff. Pages 165, 166.

Этот взгляд генерала Бюа на нерешительное и позднее выступление Румынии разделялся вполне и русскими военными кругами, и мной лично. Дни моего пребывания во главе министерства иностранных дел были уже сочтены. Сменивший меня в этой должности Штюрмер держался в этом вопросе, как и во всех остальных, противоположного со мной взгляда. Это облегчало ему обязанность иметь собственное мнение в вопросах внешней политики. По настояниям наших союзников, действовавших, в свою очередь, под давлением нервно настроенного общественного мнения, начальник русского главного штаба генерал Алексеев был вынужден потребовать в конце августа 1916 года немедленного выступления Румынии против Австрии под угрозой лишения ее обещанных выгод. В глазах Штюрмера это было большим дипломатическим успехом, на самом же деле это было ошибкой, размеры которой генерал Алексеев верно оценивал. Мы были не в силах вынести Румынию на своих плечах из кровавой свалки. Два года напряженной войны, застигшей нас врасплох, страшно разрядили нашу армию и привели ее без того недостаточное вооружение в состояние непригодности. Каждый солдат и каждое орудие были необходимо нужны для удержания немцев на линии, на которой нам удалось остановить их вторжение на русскую территорию, а тут приходилось, через силу, опекать и ограждать нового союзника, не успевшего за два года сомнений и колебаний привести себя в должный боевой вид.

Дальнейшие события вскоре доказали, что насколько нам был ценен дружественный нейтралитет Румынии, настолько же была опасна ее военная помощь. Некоторое время спустя по ее выступлении румынскую армию постигла катастрофа, приведшая государство к краю гибели.

Единственным спасением от нее было заключение бесславного мира, связанного с именем Маргиломана. Король и

королева, выказавшие в эту тяжелую минуту много патриотической стойкости, остались верными союзу с державами Соединенных Штатов. Только окончательная победа наших союзников на западном театре войны могла спасти Румынию, которая благодаря им вышла из страшного шквала, в котором чуть не погибла, со значительными территориальными приращениями. Надо сознаться, что эти приращения не соответствовали роли, которую она сыграла в военных действиях, не говоря уже о последовавшем захвате Бессарабии путем проделок, из которых нарушение торжественно данного слова было едва ли не самой невинной.

Само собой разумеется, что горькая участь, постигшая верное России молдаванское население, освобожденное ею в 1812 году из-под ига Турции и ставшее за сто с лишним лет разумного и благожелательного русского управления одной из наиболее цветущих областей империи, могла поразить ее только благодаря свержению в России законной национальной власти, оберегавшей неприкосновенность государственной территории, и замене ее интернациональным большевизмом, вышедшим из революции и не признающим ни народности, ни границ.

Население Бессарабии, состоящее в четырех северных уездах преимущественно из молдаван, а в трех южных — из пестрой этнической смеси, в которой молдаване представлены слабо, отнеслось с возмущением к своему насильственному присоединению к Румынии, совершенному будто бы во имя национального объединения молдавского народа и под предлогом возвращения в лоно общей родины части, отторгнутой от нее Россией в 1812 году. Я уже имел случай коснуться выше этого вопроса, к которому западноевропейское общественное мнение отнеслось с легкомыслием, объяснимым его малым знакомством с историей восточноевропейских народов. Наши

бывшие союзники, которым истинное положение вещей было известно, также отнеслись безразлично к захвату Бессарабии с ее более чем двухмиллионным населением, неопрошенным относительно его воли, а переданным в чужое подданство, как африканские дикари. Вскоре этот акт насилия был ими санкционирован официальным признанием присоединения Бессарабии к Румынии. Этот поступок оставил в русских сердцах неизгладимый след горечи и обиды. Я не берусь ни объяснить причину решения союзников, ни определить долю ответственности тех государственных людей, которые его поддерживали. Несомненно только то, что отторгая Бессарабию от России, союзники бессознательно выполнили программу Германии, обещавшей эту область румынам за их выступление против держав Согласия в начале европейской войны. В ту пору Румыния благоразумно отказалась от этого опасного дара. Затем, с появлением большевизма, все изменилось, и Румыния захватила плохо лежавшую Бессарабию, от которой она еще недавно отказывалась. Мне привелось услышать как объяснение положения, занятого Францией и Англией в бессарабском вопросе, что благодаря согласию отдать румынам Бессарабию, союзники спасли эту область от ужасов большевистского разгрома. Очевидно, что как бы не относиться отрицательно к румынской системе управления с ее бесчисленными недочетами, хозяйничанье большевиков еще тяжелее отозвалось бы на положении этой цветущей окраины. Но самый факт насилия от этого не меняется. Бессарабия, в полном ее составе, никогда не имела политической связи с Румынским государством. Даже южные ее уезды, с молдавским населением лишь в меньшинстве, присоединенные к дунайским княжествам по Парижскому договору 1856 года, находились в зависимости от Румынского княжества лишь в течение весьма короткого срока, т. е. от момента создания княжества Румынии до Берлинского конгресса.

Если, как я сказал, мне неизвестно, на чьей совести лежит грех отторжения Бессарабии, то побуждения Франции в этом вопросе, я думаю, нетрудно объяснить. Крушение Русской империи под ударом большевизма произвело коренную перемену в воззрениях многих французских государственных людей на ценность русского союза. В числе их было немало лиц и ранее враждебно настроенных к монархическому порядку и в частности — к русскому, с которым они были вынуждены связать судьбу своей родины ввиду вечно грозившей ей германской опасности. Неожиданный для всех, не исключая самих большевиков, успех их предприятия развязал руки нашим французским недоброжелателям, убедив их, что не было более нужды считаться с малосимпатичной союзницей, которая к тому же была выведена из строя. К этому чувству примешивалось еще желание, давно замечавшееся у некоторых французских государственных людей, создать себе в Восточной Европе клиентов, могущих в известных случаях заменить союзников. В роли такого клиента Румыния могла принести некоторую пользу. К огорчению русских друзей Франции, нашим бывшим союзникам не приходило в голову напрашивавшееся само собой сравнение между Бессарабией, Эльзасом и Лотарингией, крепко сросшимися с Францией, хотя у них и не было ничего общего с точки зрения национальности и языка. Зато между ними установилась настолько сильная культурная связь, что почти полстолетия существования в составе Германской империи не изменило их чувств привязанности к Франции, несмотря на то, что зависимость от Германии давала им значительные материальные выгоды. Нет сомнения, что присоединение к Румынии не даст Бессарабии подобных выгод и что единение ее с сородичами королевства будет иметь для нее больше отрицательных, чем положительных результатов. Пример Эльзаса и Лотарингии доказал, что память сердца имеет значение и в политике. Россия верит, что оторванная от

нее прекрасная область вернется к ней и что засилье, жертвой которого она стала, отступит перед давлением свободно выраженной воли бессарабского народа, которая всегда найдет у нее горячий отклик.

Записывая эти строки, я переношусь к заседанию совещания послов по бессарабскому вопросу, к которому была привлечена русская политическая делегация, собравшаяся в Париже после перемирия 1918 года. На этом заседании, единственном, в котором делегация принимала участие за все время своего существования, присутствовали М.Н.Гирс, В.А.Маклаков и я. Развивая русскую точку зрения на бессарабский вопрос, мы настаивали на невозможности предрешить участь Бессарабии без предварительного плебисцита для свободного выяснения желаний самого населения, что было бы актом элементарной справедливости и отвечало бы принципу самоопределения народов, поддержанному президентом Соединенных Штатов Вильсоном. Требуя плебисцита, мы настаивали, чтобы прежде всего были опрошены жители тех четырех уездов, где преобладало молдаванское население. Таким образом вопрос о присоединении Бессарабии к Румынии был бы разрешен наиболее заинтересованной в нем частью населения. Такой способ разрешения бессарабского вопроса самими молдаванами представлялся нам наилучшим. Казалось, что поставив вопрос на такую разумную почву, мы его тем самым и решали.

На том заседании совещания послов, на которое мы были приглашены в качестве представителей России, Румыния не участвовала. Г-н Братияно был заслушан ими отдельно. Предложение России устроить в Бессарабии плебисцит, при условии полного невмешательства румынской администрации и оккупационных войск, привело, как мне передал на другой день один из близко мне знакомых членов совещания, г-на

Братияно в величайшее беспокойство. Будучи отлично осведомлен об истинном настроении бессарабского населения, Братияно отдавал себе отчет, что и среди чисто молдаванской части этого населения Румыния не получила бы ни одного голоса. В южных уездах, где преобладали русские, немцы-колонисты, болгары, евреи и цыгане, румынские притязания встретили бы, само собой разумеется, еще более решительное сопротивление. Уверенность в этом определила отношение Братияно к русскому предложению и побудила его употребить все усилия, чтобы совещание отвергло наше предложение. Иного отношения к вопросу опасного для его правительства плебисцита нельзя было ожидать от румынского представителя. Его усилия увенчались успехом, и вопрос о плебисците был первоначально отложен в долгий ящик, а впоследствии разрешен в неблагоприятном смысле для России простым признанием присоединения Бессарабии к Румынии. Это решение совещания послов, вызывающее протест даже со стороны большевиков, не может не отозваться неблагоприятно на будущих отношениях между Россией и Румынией.

Я не могу закончить этой главы, не упомянув о политическом возрождении чехословацкого народа, наиболее близкого и симпатичного нам из группы западных славян. В национальном возрождении он не нуждался, хотя и жил несколько столетий под чужим игом. Лишившись своей самостоятельности, этот народ не давал угасать пламени своих патриотических воспоминаний и надежд, свято охраняя родную культуру и никогда не забывая о своей независимости и былой славе.

Чехословакия, находясь под тяжелым гнетом австро-мадьярского владычества, никогда не утрачивала ясного сознания своей принадлежности к славянству и кровного родства с великим русским народом. Между чехами и нами еще в XVIII столетии завязались культурные сношения, неразрывно свя-

занные со славными именами: отца славизма Добровского, а позднее — Юнгмана, Шафарика, Палацкого и целой плеяды ученых и политических деятелей.

Идея славизма как культурно-национального самоопределения славянских народов восприняла при своем дальнейшем развитии в XIX веке некоторые элементы, превратно понятые Западной Европой, окрестившей пробуждение славян из вековой летаргии словом «панславизм». Это слово никогда не имело реального значения, потому что оно не обозначало никакого объединительного движения и было придумано с целью устрашения западноевропейского общественного мнения призраком славянской опасности. Надо сознаться, что в этом отношении панславизм удачно выполнил свое назначение. Все западноевропейские государства уверовали в славянскую угрозу и истолковывали этот термин как политическую формулу, которой прикрывалась честолюбивая политика России, мечтавшей объединить под своей властью все славянские народы. Более всего угрожаемой почувствовала себя Австро-Венгрия с ее огромным славянским населением, которого она не сумела ни слить с собой, ни даже просто примирить со своим господством. Это ей удалось только по отношению к полякам, и то ценой отдачи в их полное распоряжение судьбы украинского населения Галичины. В состав Северной Германии вошло также большое количество славянских элементов, но немцы принялись своевременно за ассимиляцию своих славян и успели их обезличить и претворить в себе в глухое время европейской истории, когда национальное самосознание граждански слабо развитых народов еще не начинало проявляться. Тем не менее и северные немцы разделяли со своими южными соплеменниками, почти в одинаковой степени, органическую ненависть к славянству, с которым они вторично вступили в близкое соприкосновение сравнительно недавно, в эпоху разделов Польши. Поэтому если не трудно

понять страх австро- венгров перед пугалом панславизма, то объяснить широкое его использование германской печатью можно только чисто политическими целями, может быть, желанием создать в европейском общественном мнении противовес пангерманской агитации, служению которой отдались весьма многие ученые и литературные силы консервативной Германии.

Если, как следует предположить, под неизвестным в России панславизмом подразумевались весьма распространенные у нас в XIX веке славянофильские течения, то приписывать им какое-либо определенное политическое направление совершенно невозможно. Вся роль этих течений сводилась к поддержанию духовной и культурной связи между Россией и западным и южным славянством. Только в одном случае славянофильство приняло политическую окраску. Это было в семидесятых годах прошлого столетия, в эпоху жестоких преследований турецких славян, пытавшихся целым рядом восстаний облегчить свою участь. Общественное мнение западноевропейских государств, в особенности Англии, где его самым авторитетным выразителем был Гладстон, не скрывало своих симпатий к жертвам турецкого изуверства, к которым страны Центральной Европы оставались невнимательными или равнодушными.

В России, как и следовало ожидать, гонения на балканских славян отозвались с такой силой, что правительство было вынуждено уступить давлению общественного мнения и объявить Турции войну во имя освобождения болгар от ига, грозившего им полным истреблением. В этом случае нельзя не признать, что славянофильские течения в русском обществе, проникнув в сознание народных масс, достигли такого напряжения, что привели к последствиям чисто политического характера. Тем не менее и здесь, в единодушном и неукротимом

мом порыве народного чувства в пользу болгар, нельзя найти следа пресловутого панславизма, ибо не может быть сомнения, что крестный поход в 1877 году не был предпринят по какому-либо определенному политическому плану, так как вся кампания 1876–1877 годов носила явный характер импровизации, будучи начата после скороспелой и неудачной дипломатической подготовки и с недостаточными военными силами.

Начавшись, как я сказал, на отвлеченной почве, наше сближение с чешским народом приняло затем осязательные формы благодаря довольно значительной эмиграции чехов в юго-западные губернии России, где русское правительство встречало их радушно и отводило им земли. Чешские выходцы, стоявшие в хозяйственном отношении на высокой культурной ступени, быстро осваивались с новой обстановкой и прочно основывали у нас свое материальное благосостояние, которое у многих из них достигло значительных размеров. Вслед за этой категорией эмигрантов появилась в России другая. По приглашению министерства народного просвещения, в пору бывшего у нас увлечения классическим образованием, от которого тогдашнее правительство ожидало ослабления революционного движения, в русские средние учебные заведения прибыло значительное количество чешских преподавателей латинского и греческого языков, и в России едва ли найдется кто-либо среди людей моего поколения, кто бы не был в свое время их учеником. Я не знаю, стали ли мы от этого лучшими филологами, но во всяком случае мы сохранили добрую память о наших учителях. Со своей стороны и чехи, переселившиеся в Россию или только прожившие в ней известное число лет, привязывались к ней, как ко второй родине, ибо таковой она для них становилась на самом деле. Хотя и на этой новой родине чехи находили административную опеку, напоминавшую, может быть до известной степени, покинутые ими порядки, но в России эта опека была свободна от того

недоброжелательства, которое делало ее у них на родине трудно выносимой. Монархическая Россия была страна не либеральная, но в ней полицейская опека носила характер добродушия, благодаря которому большинство пришлого населения легко с ней примирялось. Вообще в России всем, кто не подкапывался под ее устои, жилось настолько хорошо и привольно, и в этом единодушны бесчисленные иностранцы, жившие в ней, в том числе и наши друзья чехи, что отведавшие русского гостеприимства люди разных национальностей заявляли мне неоднократно о своем горячем желании вернуться в нее при первой возможности.

В связи с другими национальными вопросами, выдвинутыми на первый план участием Австро-Венгрии в европейской войне, находилась, само собой разумеется, вопрос воссоздания чешской независимости. Навряд ли был в Европе народ, который имел более прав на свободу, чем чехи. Славная история их древнего государства и их вековая национальная культура, сохранившаяся неприкосновенной за время их трехсотлетнего порабощения, создали им исключительное положение в семье славянских народов. Непокколебимая верность лучших народных вождей и чешских народных масс славянским идеалам внушали нам, русским, глубокое уважение. Когда, по ходу европейской войны, противникам Австрии пришлось приступить к рассмотрению возможного изменения политической карты Европы, которое должно было последовать за ослаблением или окончательным крушением монархии Габсбургов, перед нами сразу же встал вопрос о восстановлении Чешского государства. Ни для императора Николая II, ни для меня, стоявшего во главе русской иностранной политики, не существовало более ясного и справедливого вопроса, чем политическое возрождение Чехии. Русское общественное мнение смотрело на него таким же образом. Я, разумеется, подразумеваю здесь только принципиальное разрешение чешского вопроса,

иными словами, объединение чешских племен в один независимый государственный организм в территориальных пределах, обеспечивающих его свободное развитие. Всякие дальнейшие уточнения Россия оставляла на решение самого чешского народа, в политической зрелости которого она не сомневалась, предоставляя себе оказать, в нужную минуту, деятельную помощь осуществлению его желаний.

Вскоре после начала войны меня посетила делегация из одиннадцати членов чешского национального комитета, которая изложила мне свои виды на будущее и надежды на содействие России для проведения их в жизнь. Мне было очень приятно выслушать пожелания делегации, к которой я относился с искренним сочувствием. Во время нашего свидания депутаты просили меня исходатайствовать для себя прием у Государя, чтобы лично изложить ему свои надежды. Перед тем другая чешская делегация была принята Его Величеством в Кремле, причем она выразила пожелание, «чтобы свободная и независимая корона Св. Вацлава заблестала в лучах короны Романовых».

Когда я доложил Его Величеству просьбу чешской делегации быть принятой им, Государь сказал мне, что он примет ее с удовольствием. В середине сентября делегация представилась ему в Царском Селе. Чехи просили о разрешении создать единую организацию, которая бы ведала всем чехословацким движением в пределах империи. Государь принял делегацию чрезвычайно милостиво и подробно рассматривал с ней на карте границы будущего Чехословацкого государства в том виде, в каком они представлялись чешским депутатам.

Затем последовали со стороны чехов обращения к начальнику штаба главнокомандующего о формировании чешских частей, в которые могли бы поступать не одни русские чехи, а также чешские и словацкие военнопленные, сдававшиеся в

большом числе русским войскам с самого начала военных действий. На этой почве произошло немало недоразумений, тем более прискорбных, что они были использованы врагами русского правительства как в России, так и в Чехии как доказательство двуличности и недоброжелательства императорского правительства по отношению к чехам. Едва ли нужно мне после сказанного выше вторично утверждать, что по отношению к чехам ни у русского правительства, ни у русского народа не было и тени какого бы то ни было недружелюбия. До этой неоспоримой истины нетрудно прийти путем краткого и простого рассуждения. Уже не говоря о сознании кровной связи, которая живо ощущалась в России, где народ чутко относился к голосу крови, Россия отдавала себе отчет, что в славянах Австро-Венгрии она находила драгоценных союзников в борьбе с германизмом в лице империй Гогенцоллернов и Габсбургов. Отталкивать от себя этих союзников не было ни смысла, ни расчета. Мне приходилось отстаивать интересы славян, как сербов, так и чехословаков, перед нашими французскими союзниками, у которых мы замечали стремление искать у Австро-Венгрии опоры против Германии путем привлечения ее в орбиту Тройственного соглашения посредством уступок за счет славянских народов. Такие стремления были довольно сильны в известных кругах Франции. Едва ли нужно распространяться об ошибочности этих расчетов, уже не говоря об опасностях, связанных с ними, с точки зрения прочности наших союзных отношений. К счастью, твердая рука Делькассе положила конец этим поползновениям.

Замедления в признании за чешскими отрядами характера национального войска происходили не вследствие недоброжелательства русского правительства по отношению к чехам или желания затянуть воссоздание их государственности, а просто оттого, что в огромную массу австрийских славян, взятых в плен или добровольно сдавшихся, могло проникнуть немало

элементов, славянских только по имени, но не по чувству, и что в критическую для России минуту ей нельзя было отнестись с достаточною осторожностью к тем иностранцам, которых она допускала участвовать в борьбе за ее существование вместе с ее собственными военными силами. Наши военные власти остерегались не славян, от которых Россия не могла ожидать зла, а тех, кто под личиной славянства были ее врагами. К несчастью, указанные здесь недоразумения не рассеялись вполне и до сих пор, в чем я имел возможность убедиться, прожив около года в Праге. В Чехии по сей день есть люди, которые утверждают, что монархическая Россия не только ничего не сделала для возрождения Чехии, но даже ему мешала⁷². Что России пришлось оставить недоконченной эту близкую ее сердцу задачу, как и многие другие, связанные с вели-

72 В числе упреков, обращенных к монархической России враждебно к ней расположенной частью чешского общественного мнения, на первое место выдвигается отсутствие у императорского правительства точно разработанного плана воссоздания Чешского государства. Можно ли было ожидать от России такого плана и не было ли с ее стороны благоразумнее и осторожнее не вмешиваться в эту внутреннюю национальную задачу самого чешского народа, которую, как нам казалось, он один мог разрешить? Этот вопрос напрашивается сам собой ввиду того, что, по мнению многих чехов, дело политического возрождения их родины совершенно не вполне удовлетворительно с точки зрения некоторых частей населения Чехословацкой республики. Могло ли непосредственное участие русского правительства, хотя и искренно дружественного, но недостаточно знакомого с желаниями и нуждами населения, служить ручательством удачного выполнения этой трудной задачи? Навряд ли. Поэтому положение, занятое Россией, представляется мне правильным. Русское правительство решило ограничить свою роль энергичной поддержкой пожеланий чешского народа и ограждением его интересов в том виде, в котором определил бы их сам народ, от всяких посягательств извне, враждебных его национальным стремлениям.

кой войной, из-за антинациональной революции, парализовавшей надолго ее силы, в этом не может быть, к несчастью, сомнения, но чтобы она не сочувствовала или тем более мешала осуществлению великой мечты чешского народа достичь политической свободы

— это утверждение, которое не может быть оправдываемо ни фактами, ни здравым смыслом. Объяснение его могло бы быть скорее найдено в партийных страстях или неправильных политических расчетах, а может быть, и в том, и в другом одновременно. Не имея достаточно данных для разрешения этого вопроса, я предпочитаю оставить разобраться в нем будущему историку, равно как и в некоторых других, возникших между нами и чехами вслед за крушением русской монархии и оставшихся не разъясненными по настоящее время. Пока же будем хранить наши старые дружественные чувства к чехословацкому народу и с благодарностью помнить все, что им было сделано в пользу русских беженцев и нашей учащейся молодежи в трудные времена неслыханных гонений, лишивших их святейшего и драгоценнейшего, что дано человеку, — родины.

Глава XII

Внутреннее положение в России. Неустойчивость положения правительства. Отчужденность между правительством и народным представительством. Занятие Горемыкиным поста председателя совета министров. Раскол в совете министров. Мои ходатайства перед Государем. Перемены в составе правительства. Решение Государя взять на себя верховное командование. Коллективное обращение совета министров. Влияние императрицы. Правительственное разложение после отбытия Государя на фронт

Кончившееся в июле 1916 года второе двухлетие великой войны совпало с концом моего управления министерством иностранных дел.

С появлением на председательском кресле совета министров Горемыкина, а затем Штюрмера, т.е. с момента, когда высшая правительственная власть в империи стала на наклонную плоскость, по которой она должна была скатиться в пропасть, положение правительства делалось с каждым днем все более неустойчивым и разъединенным в своем составе. Я характеризовал первого из этих гробовщиков русского государства — к несчастью, их затем явилось целое множество, — как человека, пережившего самого себя и утратившего понимание государственных дел. Как ни была очевидна его несостоятельность, он находил поддержку не только при дворе, где друзья Распутина успели расположить в его пользу императрицу Александру Феодоровну, но и в самом составе правительства, где у него оставались от прежних лет старые служебные связи. Число его единомышленников в совете министров было не велико, и не все из них остались ему верны до конца. Министр земледелия, А.В.Кривошеин, которому Горемыкин был обязан своим назначением председателем совета, отошел от

него, когда раскрылась его непригодность для этой роли. Отношения правительства к Государственной Думе достигли опасной степени напряжения благодаря нежеланию и неумению Горемыкина наладить с ней правильное сотрудничество. Распустив в 1906 году 1-ю Думу, не отвечавшую по своей политической незрелости и революционному темпераменту требованиям критической минуты, когда она была призвана Государем в качестве первого в России представительного учреждения парламентского типа, Горемыкин перенес свою старую антипатию и недоверчивость и на 3-ю Думу, хотя она их совершенно не заслуживала. Как по своему составу, так и по умеренному направлению большинства своих членов 3-я Государственная Дума отвечала требованиям, которые разумная государственная власть могла ставить народным представителям в пору первых шагов России на пути политической свободы после неудачной войны и серьезной политической смуты. Избирательная реформа Столыпина, сменившего у власти Горемыкина после роспуска 1-й Думы и вслед за тем и 2-й, оказавшейся не лучше первой, явилась актом, вынужденным событиями, и была проведена неконституционно. Россия, потрясенная дальневосточной катастрофой и революционной вспышкой, подавленной не без труда, настоятельно нуждалась в умиротворении и спокойной законодательной работе, которая одна могла вывести ее на путь давно назревших политических и экономических реформ. Опыт первых двух Дум не подавал на это надежды. Дума, избранная по старому избирательному закону, не могла освободиться от революционного хмеля и вместо последовательной практической работы направила все свои усилия на борьбу с правительственной властью. К счастью для России, эта власть находилась в твердых руках человека, не имевшего иной заботы, кроме интересов родины, и не искавшего ничего, кроме ее благополучия. Молодой, самоотверженный и бесстрашный, он, не колеблясь, пренебрег

буквой закона, чтобы спасти его дух. Создав без участия представительных учреждений избирательный закон, который закрывал разрушительным элементам доступ в Государственную Думу, он сделал возможным ее дальнейшее существование и плодотворное участие в политическом переустройстве России на началах народного представительства. Идя нормальным законодательным путем, он не достиг бы этой цели. Государственная Дума никогда не согласилась бы наложить сама на себя руки ради осуществления того, что представлялось ее крайним партиям торжеством ненавистного гражданского порядка и тем отделяло возможность социальной революции, на которую они возлагали все свои надежды. Эти партии были авангардом надвигавшегося на Россию большевизма, задержанного введением избирательного закона Столыпина и дальнейшими государственными мерами, из которых главной была его земельная реформа. Последняя залечивала старую язву социальной жизни России и широко открывала двери русскому крестьянству для удовлетворения его насущных экономических и культурных потребностей. Вместе с этим пресекалась агитация социалистов в среде многомиллионного русского крестьянства на почве давно ожидавшегося им земельного переустройства на началах частной собственности.

Независимо от всего задуманного и сделанного Столыпиным, было достаточно одной этой реформы, чтобы поставить его в ряд величайших государственных людей России. Революция по-своему оценила его громадные заслуги: правильнее, чем люди порядка, в числе которых до сих пор еще есть такие, которые отказываются признать их, и убила его. Русская история не знает более безошибочно задуманного злодеяния. Принято думать, что не бывает незаменимых людей. Может быть, это и верно при правильном течении государственной жизни. В моменты острых политических пароксизмов это, безусловно, не так. В России Столыпин был единственным

человеком, способным удачно бороться с революцией и победить ее. Когда он был сметен ею, другого не оказалось, и революция, благодаря беспомощной растерянности одних и попустительству других, сделала свое безумное и кровавое дело, вырвав вместе с плевелами великолепный урожай пшеницы.

Удаление графа Коковцова, заменившего Столыпина на месте председателя совета министров, имело весьма неблагоприятные последствия. У Коковцова была масса врагов из-за его малоуживчивого нрава, отсутствия гибкости и вкорененной долгой бюрократической службой привычки поступать по своим убеждениям, не принимая во внимание мнений своих противников. Названные недочеты этого незаурядного государственного человека не замедлили отозваться на его отношениях с Государственной Думой. Как учреждение молодое, она грешила преувеличенным самолюбием, которого Коковцов не умел щадить. При дворе у него не было поддержки, хотя Государь отдавал должное его качествам. Его резко отрицательное отношение к Распутину возбудило против него неудовольствие императрицы, привыкшей в последние годы дореволюционного периода оказывать свою благосклонность только лицам, расположенным к Распутину и его клике. При этих данных старания одного или двух влиятельных членов совета министров, настроенных неприязненно против Коковцова, привели к тому, что его дальнейшее пребывание во главе правительства стало невозможно. В начале 1914 года он был отстранен от должности и заменен Горемыкиным. В кресло, которое занимал отлично осведомленный в вопросах внутреннего управления и обладающий редкою работоспособностью Коковцов, опустился дряхлый и полуживой старик. Назначение его не было сделано при прямом участии императрицы, но оно было ей угодно ввиду симпатий к нему Распутина, и за все двухлетнее нахождение его у власти он неизменно пользовался

расположением и поддержкой Ее Величества. Оно было делом рук, как я сказал, министра земледелия Кривошеина, давнишнего противника Коковцова, у которого, однако, не хватило мужества самому занять в тяжелую минуту самый ответственный пост в империи, несмотря на выраженное ему желание Государя.

Я не буду подробно останавливаться на истории управления И.Л.Горемыкина. Я коснусь его лишь, поскольку оно повлияло на судьбу совета министров и мою собственную.

Появление Горемыкина у власти дало себя почувствовать осязательным образом в совете министров и вне его. В министерской среде произошел раскол, который затормозил правильный ход государственной работы. Образовалось две группы или, вернее, два лагеря: один — его сторонников, другой — его противников. Первый, как это нередко бывает по человеческой слабости, был многочисленнее второго, по крайней мере, в первое время, пока несостоятельность Горемыкина не сделалась очевидной для всей страны. Первая группа состояла из правых элементов совета. Во главе ее был министр юстиции Щегловитов, умный человек и ученый юрист, пылавший рвением новообращенного консерватора, вышедшего из рядов оппозиции. Единомышленники Горемыкина были, в более или менее скрытой форме, противниками Столыпина, и если они допускали необходимость реформ, то таких только, которые не касались важных частей государственной машины, обветшавших от долголетнего употребления. С существованием Государственной Думы им не менее, чем самому Горемыкину, было особенно трудно примириться и тем более установить с ней необходимый *modus vivendi*. Если я прибавлю, что некоторые из них были тайными распутинцами, то, вероятно, не ошибусь.

Упомянутая мной вторая группа министров, получившая совершенно незаслуженно название радикалов, состояла из

таких же убежденных монархистов, как их более правые товарищи, с той только разницей, что они понимали, что не может быть учреждения, как бы разумно ни было его основание, которое могло бы претендовать на неизменность. Научное положение, одно, кажется, из немногих, никогда и никем не опровергнутых, гласящее, что только то, что способно видоизменяться, может рассчитывать на продолжительное существование, составляло сущность их государственной мудрости. К тому же эти люди верили еще, что все, что здорово и жизнеспособно в политической и гражданской жизни каждой страны, должно быть тщательно оберегаемо, и что никакая вызванная требованием времени реформа не должна приводить к внезапному разрыву между прошлым и настоящим, а должна быть произведена постепенно, чтобы стать понятной народу и не носить характера опасного эксперимента. Для англосаксонских народов это стало неоспоримой истиной, установленной опытом веков, народы же политически более молодые редко считаются с этим фактом. В России пренебрежение им имело последствия, которые не только поставили ее на край гибели, но и внесли в жизнь многих других народов тяжелые потрясения, грозящие им большими опасностями.

Вот те взгляды и убеждения, которые подали повод русским реакционным кругам обвинить своих противников в радикализме. Это обвинение всегда казалось мне бессмысленным. Теперь же, после ужасных потрясений, разразившихся над Россией оно представляется просто невероятным. Приглядываясь к ходу событий и к отношению к ним совета министров как высшего правительственного учреждения в империи, мои единомышленники и я скоро пришли к убеждению, что если не будет положено преграды косности правительства, то пройдет не много времени до окончательного его крушения.

Все живые силы страны уходили на бесплодную борьбу с революционным движением, ободренным отсутствием у власти после убийства Столыпина государственного человека, который был бы в силах его остановить. Как ни была законна и справедлива эта борьба, правительство вело ее не так, чтобы общественное мнение страны всегда было на их стороне. На каждом шагу совершались промахи, тактические ошибки, которые ставились ему в счет ввиду его непопулярности, даже умеренными элементами русского общества, не говоря уже о тех, весьма многочисленных, которые не преследовали иной цели, кроме дискредитирования власти. Между Государственной Думой и правительством не существовало живой связи. Ее старались создать своим примирительным образом действий отдельные министры, которым Дума вследствие этого оказывала доверие. По личному опыту мне известно, что было совсем не трудно достигнуть необходимого сотрудничества Думы последних созывов. Она была в общем патриотично настроена, и левые элементы были в ней сведены к второстепенной роли. Сговориться с ней для совместной работы на пользу страны было вполне возможно. Стоило только кое-что забыть и кое-чему научиться, что было тем легче, что она требовала немногого, будучи умудрена горьким опытом своих предшественниц, хотевших не только законодательствовать, но и править. Третья Дума научилась правильно понимать свои задачи и производить свою работу в рамках, отведенных ей законом. Стало возможно надеяться на наступление внутреннего мира. Но для достижения его требовалось соответствующее настроение в правительстве. Пока во главе его стоял Горемыкин и в совете находились его единомышленники, на которых он в своей беспомощности опирался, предоставляя им всю работу по управлению страной, всякая надежда на улучшение положения была напрасна. Оно могло бы наступить, только если бы Горемыкин был лишен этих подпорок и,

оставшись один среди людей, правильно понимавших задачи правительства, отдался бы их влиянию или добровольно удалился бы от дел. Но то и другое было одинаково сомнительно.

Вот те заключения, к которым я пришел вскоре после назначения Горемыкина председателем совета министров. С каждым днем его нахождения у власти мне представлялась все яснее настоятельная необходимость вывести правительственную власть из реакционного оцепенения, в которое привел ее отказ Горемыкина и его единомышленников продолжать вести страну указанным Столыпиным путем, который являлся путем ее спасения. У меня не выходило из головы стихотворение Гете о «тянущихся, как застарелая болезнь, законе и правах»⁷³, так верно характеризующее внутреннее положение России в эту пору. Это положение казалось мне тем более ужасным, что я был тогда и остаюсь еще и теперь, несмотря на все случившееся, глубоко убежденным, что было вполне возможно предотвратить надвигавшуюся катастрофу. Правительство имело в руках все нужные для этого средства: незараженную еще революционной проказой военную силу, оставленные в блестящем виде Коковцовым финансы, административный аппарат, доказавший свою пригодность для борьбы с революцией и в большинстве своих членов патриотически настроенную Государственную Думу. Все данные для спасения находились налицо. Если прибавить к этому еще то обстоятельство, значение которого нельзя достаточно оценить, что русский народ никогда не проявлял политического честолюбия, а только желал удовлетворительного земельного устройства, вроде намеченного Столыпинской реформой, и освобождения от пут особой и давно устаревшей административной опеки, то

73 «Es schleppen sich Gesetz und Rechte wie eine alte Krankheit fort».

получится картина, подтверждающая высказанное мной убеждение, что время, предшествовавшее мировой войне, было еще благоприятно для того, чтобы Россия стала на правильный путь мирного развития духовных сил своего народа и правильного использования своих естественных богатств. Я не сомневаюсь, что достижимому еще в ту пору благополучию России мешала центральная правительственная власть, находившаяся в руках группы людей, служивших отжившим идеалам и не умевших читать знамений времени.

Всем, что здесь сказано, определяется положение, которое я занял как в совете министров, так и вне его вскоре после возвращения Горемыкина на политическую сцену. Мое особое положение в качестве министра иностранных дел, не призванного к непосредственному участию в разработке правительственных мероприятий, касавшихся внутреннего управления страной, не давало мне возможности иметь какое-нибудь влияние на то или иное направление, которое получали распоряжения административной власти. Они становились мне известными в более или менее готовом виде, после согласования их заинтересованными ведомствами, т.е. когда я только имел возможность остаться при особом мнении. При этом я обыкновенно имел против себя большинство голосов моих сотоварищей по совету. Прибегать часто к этому платоническому протесту не имело смысла. Поэтому я берегал свои возражения на те случаи, когда дело касалось вопросов, могущих отозваться, прямо или косвенно, на внешнем положении империи, или же когда решения, принятые большинством, казались мне принципиально недопустимыми.

Горемыкин и сочувствовавшие ему министры не замедлили увидеть во мне врага, и против меня началась кампания, которая привела в июле 1916 года к моему падению. Со своей стороны, я не оставался праздным. С каждым днем во мне

крепло убеждение, что пока не будут удалены от дел Горемыкин и поддерживавшие его столпы реакции, между которыми я считал министра юстиции Щегловитова наиболее опасным ввиду его дарований, правительство не приобретет в стране доверия, без которого оно не могло успешно выполнять своих задач. Мне было ясно, что я не мог единоличными силами добиться этого результата. Поэтому я решился выразить со всей откровенностью одинаково мыслившим со мной министрам мой взгляд на национальную опасность, которую я видел в полной отчужденности, существовавшей между правительством и народным представительством, в лице разумной и маловзыскательной Государственной Думы, а под ее влиянием и всей благонамеренной Россией, а затем раскрыть картину этой опасности перед Государем и достигнуть ее устранения.

Первый из моих сотоварищей, с которым я начал обмен мнениями, был ближайший мой сосед, министр финансов П.Л. Барк, живший со мной под одной крышей. В этом вопросе мы оказались полностью единодушны. Ввиду его близких отношений с министром земледелия Кривошеиным я просил его передать ему о нашем разговоре и заручиться его содействием. Со своей стороны я виделся с государственным контролером П.А.Харитоновым, одним из наиболее выдающихся членов совета, и заручился его сочувствием. Таким образом, через несколько дней после первых моих шагов было достигнуто соглашение между членами группы министров, которая находилась в оппозиции политике своего председателя. С общего согласия оказались намеченными к удалению от власти следующие лица: министр юстиции Щегловитов, обер-прокурор Св. Синода Саблер, министр внутренних дел Маклаков и военный министр генерал Сухомлинов. Первые три были представителями крайнего реакционного направления и пользовались заслуженным нерасположением Государственной Думы и широких слоев русского общества. Последний не менее их

непопулярный, но не за свои политические убеждения, которых у него не было, а вследствие его необычайного легкомыслия и полного отсутствия качеств, нужных военному министру в пору опасных внешних осложнений.

Что касалось главы правительства, то мои сотоварищи и я пришли к заключению, что просить Государя об его удалении одновременно с названными министрами представляло многие неудобства и могло повредить успеху нашего плана. Я уже говорил, что у Горемыкина была могущественная покровительница в лице императрицы Александры Феодоровны, и добиться при этих условиях его отставки было трудно. Помимо этого мы рассчитывали, что без Щегловитова, который был душой и мозгом реакции, и без других своих пособников роль Горемыкина в правительстве будет ничтожна.

Между нами было решено, что каждый из нас воспользуется первым случаем, чтобы довести до сведения Государя об истинном положении вещей в империи, о растущей в думских и общественных кругах непопулярности правительства и об опасности, которая была связана с недоверием к власти в критическое время, когда России приходилось переживать, вместе с тяжелой войной, плохо замиренную внутреннюю смуту.

Я не могу умолчать здесь, говоря о шаге, на который мы решились, чтобы предотвратить неизбежные последствия затянувшегося отсутствия бдительной правительственной власти, об усилиях, которые я начал употреблять с этой целью еще ранее того, как нами было предпринято какое-либо согласованное действие. Я считал своим долгом довести до Государя мою тревогу за ближайшее будущее России и русской монархии, которые всегда представлялись мне, а теперь, после опыта пролетарской республики, более чем когда-либо, не иначе, как слитно и нераздельно. Я упоминаю о моих попытках неохотно,

не желая подать кому-либо повода подумать, что я придаю им значение, которого они на самом деле не имели вследствие их полной неудачи. Настояния мои были истолкованы императрицей или, вернее, теми, в чьих руках она, того не подозревая, была послушным орудием, как желание захватить управление внутренней политикой империи. Как ни странно может показаться подобное подозрение, оно, может быть, оставило след в уме Государя. Я стал замечать в нем некоторую сдержанность, которая мешала и мне высказываться перед ним с той полной откровенностью, которую я с первого дня моей министерской деятельности положил, с его согласия, в основание моих отношений к нему. В течение первых пяти лет моей службы Государь давал мне постоянные доказательства своего полного доверия. За это время я привык смотреть на это доверие, как на нечто принадлежавшее мне по праву, и испытывал лишь опасение лишиться его по моей собственной вине. Возможность утратить его по чужой вине меня мало беспокоила даже в то время, когда прежнее благоволение императрицы ко мне начало переходить в открытое нерасположение из-за моей враждебности к распутинской клике.

Когда я поднял вопрос об очищении совета министров от засорявших его реакционных элементов, недоверие ко мне Государя еще ни в чем не проявлялось, и я мог высказаться перед ним так же свободно, как и раньше. Мне приходилось во время моих докладов постоянно касаться, в связи с вопросами внешней политики, внутреннего положения России, все более обострявшегося под влиянием революционной пропаганды. Как всегда бывает в критическую пору жизни государств, внешние и внутренние вопросы, действуя взаимно друг на друга, сплетались так тесно, что разделять их было невозможно. Первые, как ни многочисленны и трудны они были, причиняли мне меньше тревоги, чем последние. Военные действия, хотя они развивались не всегда быстро и удачно для России,

все же не представляли серьезной угрозы. Отношения с нашими союзниками были вполне удовлетворительны, и ничто не указывало на возможность их ухудшения. Зато внутреннее положение империи привлекало к себе тревожное внимание всякого, кто обладал способностью видеть и понимать, что вокруг него происходило. Таких людей было множество, и опасения, высказывавшиеся во всех слоях страны без всякого стеснения, приняли вскоре угрожающий характер, военное ведомство с каждым днем приобретало новых противников, требовавших применения решительных мер против его недочетов.

Плохая организация наших тыловых частей болезненно ощущалась всей страной. Военный министр, никогда не пользовавшийся общественным доверием, скоро сделался предметом тяжких обвинений, доходивших до подозрения в государственной измене. Успев близко познакомиться с характером генерала Сухомлинова, я был убежден, что эти подозрения были неосновательны, как это и было впоследствии установлено судебным порядком. Тем не менее еще до начала войны я уже не мог сомневаться в его полной непригодности для роли военного министра. Несмотря на свой почтенный возраст, Сухомлинов отличался юношеской беспечностью и жадной удовлетворенностью. Он наслаждался жизнью и тяготился трудом, который обязанности военного министра возлагали на него. Его пребывание во главе военного ведомства было сущим бедствием и дискредитировало государственную власть злоупотреблениями, совершавшимися если не им самим, то близко стоявшими к нему людьми. Заставить его работать было очень трудно, а добиться правды — почти невозможно.

В начале 1915 года я довольно подробно изложил Государю мое мнение о вредной бездеятельности генерала Сухомлинова. Я надеялся, что откровенно сказанное слово лицом,

далеко стоявшим от военного ведомства и не имевшим с Сухомлиновым никаких личных счетов, побудит Его Величество относиться менее доверчиво к недобросовестному оптимизму, которым были пропитаны доклады министра, основанные нередко на ложных данных. Хотя моя первая попытка и не имела успеха и произвела на Государя скорее неблагоприятное для меня впечатление, я возобновил ее при первом удобном случае под впечатлением сведений, полученных от членов Государственной Думы, передавших мне о растущем негодовании думских комиссий против Сухомлинова. На этот раз Государь, любивший в Сухомлинове его жизнерадостное настроение, ответил мне, что ему давно известно, что у генерала много врагов и в особенности в главной квартире, но что на все их обвинения он будет смотреть, как на голословные, пока не увидит «черным по белому» доказательства их справедливости. Я выразил Государю сожаление, что не мог представить ему таких доказательств, и прибавил, что они мне кажутся ненужными, так как было легко получить их, и притом не менее достоверные, в ином виде, стоило только этого пожелать. Я уехал озабоченным из Царского Села и некоторое время не возвращался в разговорах с Государем к этому щекотливому предмету, искренно желая, чтобы случай доставил мне неоспоримое доказательство справедливости моего мнения о Сухомлинове. Этой надежде суждено было осуществиться раньше, чем я ожидал. Вскоре после начала войны французами посол затронул в разговоре со мной вопрос о вооружении наших войск. Ему было известно, что он стоял у нас очень остро и что им интересовались не одни думские комиссии, но и само правительство, относившееся скептически к военному министру. Со своей стороны, французское правительство живо интересовалось состоянием нашего вооружения, подозревая, что оно оставляло желать лучшего. Говоря со мной о своих опасениях на этот счет, г-н Палеолог сообщил мне, что он, по

просьбе французского военного министерства, писал генералу Сухомлинову, уведомляя его о желании Франции прийти нам на помощь для пополнения недостававшего нам военного материала. На это предложение Сухомлинов ответил послу письмом, в котором заявлял, что Россия ни в чем не нуждается и снабжена всем в изобилии на долгий срок. Ответ военного министра Палеолог привез с собой и показал мне в подтверждение своих слов. Читая это письмо, я вспомнил о желании Государя увидеть «черным по белому» доказательства недобросовестности Сухомлинова и попросил согласия посла на представление Его Величеству этого документа, обещая вернуть его по минованию надобности. Получив письмо от Палеолога, я приложил его к бумагам, с которыми поехал в Царское Село в ближайший мой доклад. Покончив с очередными делами, я напомнил Государю сказанные им мне слова и, вручив ему письмо Сухомлинова, выразил надежду, что он признает его достаточно убедительным. По лицу Государя, когда он читал его, я увидел, что оно произвело на него неожиданное и неприятное впечатление. Прочитав его, он сказал мне, что пока оставит письмо у себя, а затем пришлет его мне обратно, и не прибавил больше ни слова. Видя, насколько Государь был изумлен и огорчен, и будучи уверен, что письмо произведет на него ожидаемое действие, я больше не возвращался к вопросу о Сухомлинове и выжидал дальнейшего его развития. Через несколько дней я получил письмо обратно без всякой пометки. Вскоре за тем последовало увольнение Сухомлинова и замена его генералом Поливановым.

Уход Сухомлинова и назначение Поливанова были одинаково хорошо приняты общественным мнением и думскими кругами, среди которых Поливанов пользовался большими симпатиями. Совет министров также принял его дружелюбно в свою среду.

Новый военный министр был человек весьма умный и работник неутомимый. Служебная зависимость от такого начальника, как Сухомлинов, его очень тяготила. Знающий себе цену и честолюбивый, он с нетерпением ожидал благоприятной минуты, чтобы выдвинуться на первый план и занять подбавшее ему место. По убеждениям своим он примыкал к либеральным партиям. Будучи слишком умен, чтобы увлекаться мечтами о введении в России республиканского строя или парламентаризма, и оставаясь монархистом, он, благодаря прирожденной ему иронической оценке людей и событий, нажил себе много врагов, которые в отместку за пренебрежительное отношение к себе создавали ему репутацию беззащитного карьериста и республиканца. Эта репутация, подкрепленная фактом его дружеских отношений к некоторым лицам, пользовавшимся плохой славой с точки зрения своей благонамеренности, быстро долетела до Царского Села, где к нему стали относиться с преувеличенной подозрительностью, что, в свою очередь, вызывало в нем чувство раздражения и горечи. В момент своего назначения военным министром Поливанов признавал, что оно было вынуждено обстоятельствами и не являлось последствием личного доверия Государя, но не сумел изменить создавшегося положения в свою пользу. Для этого у него не хватало такта и выдержки.

Чувствуя к нему расположение за его несомненные качества и будучи уверен, что он мог оказать большие услуги на своем новом посту в минуту, когда в них ощущалась особенная нужда, я обратил его внимание на необходимость принести в жертву свое самолюбие и сделать должные усилия, чтобы рассеять предубеждение Государя и создать атмосферу доверия, нужную для успешной работы. Он ясно признавал основательность моих увещаний, но у него не хватало сил или умения ни создать новую почву для своих отношений к Государю, ни порвать с компрометировавшими его друзьями. Все оставалось

по-старому, и вместо необходимого сближения получалось все большее расхождение, которое через год привело к удалению Поливанова от активной службы и замене его более уживчивым, но менее даровитым преемником. Это служебное крушение привело болезненно самолюбивого Поливанова к гибели, лишив его окончательно душевного равновесия и доведя его до забвения гражданского долга, а затем и до бесславной смерти.

Удалением Сухомлинова не могла ограничиться необходимая чистка высшего правительственного учреждения империи. Поставленные войной ребром новые требования обнажили полную несостоятельность военного министра и сделали его уход неизбежным. В одинаковой мере, хотя и не с той же коловшей глаза очевидностью, было необходимо удаление других министров, навлекших на себя крайнюю непопулярность. Наши старания в этом направлении довольно быстро увенчались успехом. Возвращаясь постоянно на моих докладах Государю к неизбежности замены Саблера и Маклакова лицами, более способными привлечь доверие, я убедился, что Его Величество расстанется с ними без неудовольствия. Когда затем я коснулся чрезвычайно опасной роли, которую играл в высшей администрации министр юстиции Щегловитов как наиболее, чтобы не сказать единственный, даровитый член крайне правого крыла совета министров, я заметил, что Государь был удивлен тем, что я приписывал Щегловитову большое влияние на ход государственных дел, и спросил, откуда у меня явилось такое убеждение. Я ответил ему, что было достаточно присутствовать на одном заседании совета министров, чтобы не сохранить на этот счет никакого сомнения. Щегловитов говорил осторожно и мало, но благодаря своему уму и научной подготовке занимал среди своих товарищей по партии, не обладавших этими преимуществами, положение настоящего вождя, которому подчинялись его единомышленники

как в совете министров, так и в Высшей палате еще раньше назначения ее председателем.

Среди наших правых государственных людей был один только человек, который мог быть поставлен рядом со Щегловитовым по своим дарованиям и по авторитету, которым он пользовался в своей партии. Это был бывший министр внутренних дел П.Н.Дурново, сломивший себе шею в результате инцидента романического характера, где голос страсти заглушил у него разум. По природным дарованиям Дурново должен был быть поставлен выше Щегловитова. Он был, в полном смысле слова, блестящим самородком. Обладая научным багажом штурманского офицера и лишенный общей культуры, Дурново проложил себе путь к высшим государственным должностям своим трезвым умом и сильной волей. Достигнув высших степеней, он тем не менее никогда не мог отделаться от свойственного ему полицейского мировоззрения. Сравнение его с графом Витте напрашивается само собой. В отношении отсутствия воспитания и культуры они оба стояли на одном приблизительно уровне. Что касается твердости воли и практического смысла, я думаю, что Дурново заслуживал пальму первенства. Обоим пришлось иметь дело с революцией. Дурново смело с ней сцепился и боролся удачно. Витте, как человек с двоящимися мыслями, сложил перед ней оружие. На счастье России явился Столыпин и дал ей десять лет передышки. Эти льготные годы не были, однако, использованы его преемниками для закрепления достигнутых им успехов.

Государь пожертвовал вместе с Саблером и Маклаковым также и Щегловитовым, несмотря на его сильную поддержку правыми и на симпатии Распутина. Эти перемены в составе правительства совпали с поездкой членов совета министров в главную квартиру Великого Князя Николая Николаевича, где в это время находился Государь. Когда мы приехали в Баранови-

чи, то узнали, что Великий Князь принял деятельное участие в состоявшемся решении Государя удалить четырех нежелательных министров. Мы были ему искренне благодарны за поддержку.

С нами вместе прибыли их заместители: Хвостов, князь Щербатов, генерал Поливанов и Самарин, которым мы оказали самую дружественную встречу. Во главе правительства оставался по-прежнему Горемыкин, ослабленный потерей своих наиболее близких сотрудников, но все еще опасный своей безнадежной леностью и циничным безразличием.

На борьбу с ним ушли следовавшие затем месяцы, пока наконец Государь, уступая очевидной необходимости, решился удалить его вопреки энергичным протестам императрицы, взявшей Горемыкина под свое покровительство. Темные силы все теснее окружали ее, и она все более подпадала под их себялюбивое влияние. Удаление Горемыкина, состоявшееся вопреки ее воле, вызвало в ней раздражение против тех министров, которых она считала виновными в нем, в том числе и против меня. С тех пор, хотя и совершенно против моей воли, мне пришлось причинить ей немало неудовольствий, на которые она отвечала мне все возраставшим нерасположением.

Лишившись поддержки своих друзей, Горемыкин тем не менее продолжал вести упорную борьбу со старыми и новыми товарищами по совету, настроенными более прогрессивно. В этой борьбе, где ему приходилось более или менее считаться со всеми министрами, за исключением А.А.Хвостова, назначенного министром юстиции, с которым его связывала старая личная дружба, он проявил необыкновенное для человека его лет упорство, делавшее производительную работу правительства невозможной. Атмосфера в совете министров сделалась скоро невыносимой. Только всеобщее сознание опасности взрыва в ответственный пору, которую переживала Россия,

помешала ему произойти. Тем не менее раздоры в среде правительства не могли укрыться от общественного мнения, и обаяние власти стало стремительно падать. Государственная Дума и даже Государственный Совет, твердыня нашего консерватизма, начали проявлять недоверие правительству и раздражение по поводу его бездеятельности и растерянности. Общественные организации, приобретшие во время войны самостоятельность и развитие, которых никогда раньше не имели, а за ними печать, заняли положение, несовместимое с разумной и справедливой критикой и принимавшее нередко революционный характер. Большинство этих организаций существовало за счет государственного казначейства, само не располагая никакими средствами, и забывало свое назначение помогать деятельности правительства. Что касается до печати, то не одни левые органы ее занимались травлей власти. Некоторые газеты охранительного направления не отставали от них в этом отношении. При раздробленности власти, распыленной в руках многочисленных военных и гражданских управлений, некому было положить конец анархии, которая беспрепятственно продолжала свое разрушительное дело, возбуждая умы и расшатывая самый принцип правительственной власти.

Ближайшим поводом яркой вспышки общественной тревоги было решение, принятое Государем неожиданно для всех, отстранить Великого Князя Николая Николаевича от верховного командования и самому стать во главе действующей армии.

Уже в самом начале войны Государь объявил совету министров о своем намерении лично стать во главе русских войск, и нам с величайшим трудом удалось упротить его отказаться от этой мысли и назначить Верховным Главнокомандующим Великого Князя, который из всех членов царствующей семьи стоял ближе всего к армии и пользовался в ней большой популярностью, отчасти унаследованной от его отца,

бывшего главнокомандующим в балканскую войну 1876–1877 годов.

Желание императора Николая вести самому в бой русскую армию было благородным порывом. По основным законам он был верховным вождем всех вооруженных сил империи. Его желание дать этому отвлеченно звучащему названию реальное обоснование было мне довольно понятно. Я слышал от него неоднократно, что место русского царя там, где решаются судьбы России. Если это было несомненной истиной во времена Петра Великого, то в XIX столетии и тем более в XX, при превращении армий в вооруженный народ и совершенно новых способах ведения войны, понятие верховного вождя утрачивало свое первоначальное значение и превращалось скорее в понятие правовое, указывавшее на одну из прерогатив верховной власти, в силу которой вся организация военных сил империи ставилась в непосредственную зависимость от воли императора.

Когда после неудач летней кампании 1915 года вопрос о верховном командовании снова всплыл на поверхность и Государь заявил о своем непреклонном решении взять в свои руки командование армией, совет министров, разделявший всеобщую тревогу за последствия этого решения, употребил все усилия, чтобы раскрыть глаза Его Величеству на опасные стороны для государства и для него лично такого шага. В заседании, бывшем 20 августа 1915 года под председательством Государя, все мы поочередно выразили по этому поводу свои мнения, противоположные его желанию. К чести всех моих товарищей по совету, я должен сказать, что среди них не нашлось ни одного, который покривил бы душой. Одни с большей, другие с меньшей живостью, но все с одинаковой свободой раскрыли перед Государем отрицательные стороны задуманного им плана. Даже Горемыкин выразил ему свои

опасения по поводу риска, связанного с его появлением на фронте в активной роли главнокомандующего. Когда очередь дошла до меня, я высказал мысль, что функции верховного вождя всех вооруженных сил империи гораздо шире, чем обязанности главнокомандующего, так как они охватывают не только фронт, но и глубокий тыл армии, куда глаз главнокомандующего не в силах проникнуть, уже не говоря о том, что они распространяются на всю систему обороны страны, не исключая ее морских сил. Я прибавил, что совмещение этих двух функций в одном лице рисковало развить значение одной из них в ущерб другой и что мне казалось, что следовало стремиться не к ослаблению той или другой, а к их сотрудничеству, что было достижимо только при условии их разделения. Я полагал при этом, что верховный вождь военных сил империи должен был, по означенным соображениям, пребывать в центре государственного управления, не покидая его в такую ответственную минуту.

В разговорах с Государем, происходивших с глазу на глаз во время моих личных докладов, я неоднократно старался убедить его, насколько отъезд его из столицы был бы опасен при тогдашних обстоятельствах и как он послужил бы усилению общественной тревоги и развитию внутренней смуты. Я просил его не терять из виду, что место его не могло остаться пустым и что оно было бы неизбежно занято лицами, непризванными к этому, а это должно было увеличить сложность и неясность внутреннего положения и дать повод ко многим злоупотреблениям, совершаемым под прикрытием его имени. Я не ставил точек над «i» и не назвал ничьего имени. Да с Государем этого и не было нужно. Он легко схватывал смысл недоговоренной речи, и я увидел, насколько неприятны были ему мои слова. Мне самому было тяжело касаться опасной роли, которую императрица начала играть с тех пор, как Распутин овладел ее разумом и волей. Государь ничего не возра-

зил мне, но я почувствовал, что по мере того, как я говорил, он как будто отходил от меня куда-то вдаль и что между им и мной лежала глубокая пропасть. Я понял в этот день, что я утратил его расположение, коснувшись той запретной области его внутренней жизни, куда доступ чужому человеку был навсегда закрыт. Как я только что сказал, Государь обладал способностью угадывать смысл недомолвленных слов, но он совершенно не владел даром читать в сердцах людей и оценивать степень искренности их побуждений.

Совет министров, за исключением своего председателя, привыкшего относиться ко всему, как к пустякам, не заслуживающим внимания, ясно сознавал, куда должен был привести все увеличивавшийся развал власти, и настойчиво требовал от Горемыкина доведения до сведения Государя всей правды и принятия быстрых мер для успокоения тревоги, охватившей страну. Совет пришел к заключению, что первой мерой в этом направлении должно было быть призывание к власти правительства, которое пользовалось бы доверием народного представительства и могло бы осуществить необходимое сближение между собой и Государственной Думой, о котором Горемыкин так мало заботился. Мы полагали, что для этого нужно было коллективное обращение совета к Его Величеству, которое выражало бы мнение кабинета, а не отдельных его членов. Мы изверились в пользу единоличных представлений, с которыми большинство из нас обращались к Государю и которые оставались безуспешными благодаря противодействию Горемыкина и его сообщников.

В секретных заседаниях совета мы — и я, может быть, чаще и откровеннее других моих сотоварищей, за исключением обер-прокурора Св. Синода А.Д.Самарина, горячего патриота и убежденного монархиста, — возвращались к вопросу о передаче власти «правительству общественного доверия»,

давая понять Горемыкину, что в таком правительстве ему не могло быть места. Глубокий эгоист, но по природе умный, он давно уже понимал, что он являлся в наших глазах главной помехой для вступления правительства на новый путь, которого требовали интересы России и настоятельность которого предстала с особенной силой перед всеми в момент мирового кризиса 1914 года. В ответ на наши настояния Горемыкин говорил нам: «Попросите Государя уволить меня. Вы окажете мне этим большую услугу», — но категорически отказывался передать ему наше заявление о необходимости смены правительства под предлогом, что избрание министров — прерогатива верховной власти и не должно совершаться под давлением извне. Такое повиновение букве закона в смутное время, которое переживала Россия, борясь одновременно с внешним врагом и с поднимавшей голову революцией, угрожало самому ее существованию. Отчаявшись добиться толку законным путем, совет министров заявил Горемыкину, что вручит, помимо него, Государю коллективное обращение.

За это время мои отношения с Горемыкиным обострились настолько, что почти ни одно заседание совета не обходилось без столкновений между нами, о которых я до сих пор сохраняю тяжелое воспоминание. В смысле охлаждения разгоряченной температуры совета наше решение не осталось без последствий.

21 августа у меня собрались все министры, за исключением военного и морского, которым мундир не позволял принимать участие в подобных шагах, но которые вместе с тем выразили свое сочувствие нашему почину. По общему желанию обер-прокурор Синода Самарин взял на себя составление письма Государю, излагавшего нашу просьбу. Вот текст этого документа, наделавшего в свое время много шума, хотя он не был оглашен и появился только недавно в посмертных воспо-

минаниях генерала Поливанова: «Всемиловейший Государь, не поставьте нам в вину наше смелое и откровенное обращение к Вам. Поступить так нас обязывает верноподданныческий долг, любовь к Вам и к Родине и тревожное сознание грозного значения совершающихся ныне событий. Вчера на заседании совета министров под личным Вашим председательством мы повергли перед Вами единодушную просьбу о том, чтобы Великий Князь Николай Николаевич не был отстранен от участия в верховном командовании армией. Но мы опасаемся, что Вашему Величеству не угодно было склониться на мольбу нашу и, смеем думать, — всей верной Вам, России. Государь, еще раз осмеливаемся высказать Вам что принятие такого решения грозит, по нашему крайнему разумению, России, Вам и Династии Вашей тяжелыми последствиями. На том же заседании воочию сказалось коренное разногласие между председателем совета министров и нами в оценке происходящих внутри России событий и в установлении образа действий правительства. Такое положение во всякое время недопустимо, а в настоящие дни — губительно. Находясь в таких условиях, мы теряем веру в возможность с сознанием пользы служить Вам и Родине. П.Харитонов, А.Кривошей, С. Сазонов, П.Барк, кн. Н.Щербатов, А.Самарин, гр. П.Игнатьев, кн. Вс.Шаховской».

После подписания этого письма министры, уходя от меня, увидели у подъезда полицейского офицера, который на вопрос почему он там, ответил, что прибыл на пост по случаю заседания совета министров. Было ясно, что за моим домом внимательно следили и что появление у меня семи министров было тотчас же доведено до сведения полиции.

Наше собрание не осталось в тайне, и на другой день газеты «Речь» и «Колокол», совершенно различных направлений, поместили статьи, упоминавшие о ходивших в городе слухах о

трех кандидатах на пост председателя совета министров: Кривошеина, Поливанова и меня. Не знаю, подвергались ли обсуждению первые две кандидатуры. Что касается до моей, то о ней никто не говорил и возможность ее мне никогда не приходила в голову. Тем не менее в Царскосельском дворце на этот слух было обращено внимание, и мои фонды в покоях императрицы соответственно упали.

На следующий день после подписания коллективной отставки совета министров я воспользовался заседанием в Зимнем дворце Особого Совещания по обороне под председательством Государя и с участием всех членов правительства, Государственного Совета и Государственной Думы, чтобы вручить наше письмо обер-гофмаршалу гр. Бенкендорфу для передачи Его Величеству. Оно было передано в тот же вечер по назначению. Вместе с этим была решена судьба министров, подписавших его, за исключением двух из них, не питавших к Распутину непримиримых чувств. Остальные шесть, в том числе и я, были смещены с известной постепенностью в течение следующего года, а другие два уцелели вплоть до падения монархии.

Наше коллективное обращение к Государю кончилось, таким образом, тем же неуспехом, который имели наши единоличные попытки склонить его к нашему взгляду. Государь остался весьма недоволен нашим шагом, который он сравнил с забастовкой. Горемыкину было поручено выразить нам его неудовольствие, причем наша просьба об отставке не была принята Его Величеством и нам было повелено оставаться всем на своих местах. Если мы исполнили долг совести, то послужить Родине и Государю в критическую минуту нам не удалось.

Настаивая на отстранении Великого Князя Николая Николаевича и назначая его наместником Кавказа и главнокоман-

дующим кавказской армией, Государь не удовлетворял никакому личному чувству раздражения против Великого Князя, а действовал, незаметно для самого себя, под давлением императрицы, приписывавшей, по внушению распутицев, Великому Князю совершенно ему чуждые честолюбивые замыслы, доходившие будто бы до посягательства на Царский венец. Тяжелые неудачи нашей армии вследствие плохого состояния нашего вооружения и неспособности начальника главного штаба генерала Янушкевича ставились Великому Князю в вину. При этом в Царском Селе выражалась мистическая уверенность, что одно появление Государя во главе войск должно было изменить положение дел на фронте. Роль пророчицы играла тут А.А.Вырубова, женщина весьма ограниченная, но честолюбивая, примешавшая к полной покорности воле Распутина экстатическое увлечение Государем, не находившее в нем ни малейшего отклика.

Для меня нет сомнения, что императрица искренно верила в основательность тяжелых обвинений, подсказанных приближенными к ней невропатами и интриганами, хотя эти обвинения были обращены к наиболее преданному Государю члену императорской семьи. Находились люди, которые объясняли настойчивость, проявляемую императрицей в связи с отъездом Государя на фронт, ее честолюбивой надеждой сыграть роль правительницы во время его нахождения в армии. Я лично склонен думать, что эта настойчивость объяснялась ее болезненной психикой и что она и в данном случае служила только орудием скрывавшихся за ней беззастенчивых людей. Что касается этих последних, то я не сомневаюсь, что они увидели в этой интриге прежде всего широкую возможность использовать новое положение в целях собственного благополучия. С отсутствием Государя в столице, где центральной фигурой становилась императрица, для них наступала счастливая пора бесконечных происков, интриг и домогательств, находивших в

Царском Селе благоприятную почву. В Могилев посыпался дождь всевозможных ходатайств, проходивших большей частью через руки императрицы и получавших обыкновенно быстрое удовлетворение. Императору Николаю, подпавшему с начала войны все более под влияние своей супруги, стало с тех пор, как он взял на себя бремя командования армией, еще труднее отказывать ей в исполнении ее желаний. Он жил в военной среде, поглощенный заботами ответственной задачи, и вне тех влияний, в которых он находил иногда опору против притязаний императрицы. Разбираться в столичных дрызгах, которых он никогда не любил, делалось для него при этих условиях почти невозможным.

С переездом Государя в Могилев совпала печальная пора нашего правительственного разложения и тех невероятных назначений на высшие государственные посты, которые приводили страну в отчаяние, дискредитировали монархическое начало в глазах русского народа и привели к падению династии, которой Россия была обязана своим величием и славой.

Удаление от дел Горемыкина могло бы быть радостным днем для России, если бы, как я надеялся, им обозначился переворот в направлении внутренней политики страны. Но этого не случилось, и Горемыкина сменил Штюмер, ставленник Распутина. Россия, очевидно, ничего не выиграла от этой перемены.

Глава XIII

Польский вопрос. Назначение Штюмерера председателем совета министров

Над польской политикой России со времен Венского конгресса тяготело незрело продуманное и неудачно проведенное в жизнь присоединение к империи той части польских земель, которая получила у нас название Царства Польского.

Я не имею возможности входить здесь в рассмотрение причин, побудивших императора Александра I совершить эту роковую ошибку. К тому же я не в состоянии найти этим причинам никакого оправдания. Я могу объяснить себе образ действий императора не иначе, как присущим ему слабо развитым национальным сознанием. Это был, впрочем, коренной недостаток всех людей его времени. В редкие, совершенно исключительные минуты его жизни, как в 1812 году, это сознание у него ярко вспыхивало, но затем вновь угасало, уступая место обычной ему расплывчатой мировой скорби, в которой он искал утешения то у мистиков школы баронессы Крюднер, то у творца военных поселений Аракчеева.

Присоединение Польши к России, не будучи вызвано необходимостью обороны, было, по существу, дело несправедливое, а с русской точки зрения, оно было непростительно. Польский народ, несмотря на печальную историю своего долгого государственного разложения, не стал трупом, над которым его более сильные соседи могли безнаказанно позволять себе всякие опыты. Поэтому усилия отсрочить минуту его национального возрождения путем насильственного внедрения в чужой государственный организм не могут быть оправданы никакими софизмами. Нет основания ссылаться на то, что если бы Александр I не взял себе Польши, то из-за своей слабости она все равно не могла бы начать жить самостоятельной госу-

дарственной жизнью, а превратилась бы в такую же бесправную прусскую провинцию, как остальные ее части, доставшиеся Пруссии по разделам Польши, тогда как Император Александр сохранил за ней почти неприкосновенным ее государственный аппарат и строй национальной жизни. Не трудно было предвидеть, что польский народ, как бы благожелательно к нему ни относилась русская власть, никогда с ней не примирится. Между Россией и Польшей лежало, как зияющая пропасть, три века почти непрерывной войны, в которой Польша часто играла роль нападавшей стороны и нередко бывала победительницей. Между русскими и поляками было пролито слишком много братской крови, чтобы их примирение могло состояться иначе, как на началах высшей справедливости и полного признания взаимных исторических прав. Меры частичные, половинчатые могли привести только к обострению борьбы и к опасной отсрочке этого примирения. Мне, может быть, возразят, что в момент присоединения Царства Польского такое примирение было недостижимо. Против этого трудно спорить, но это не означает еще, что Россия должна была совершить насилие над польским народом. Нам во всех отношениях было выгоднее предоставить Пруссии, одной или совместно с Австрией, совершить это недоброе дело. Никто не был вправе ожидать, что Россия возьмет на себя роль спасительницы польской независимости. Эта задача была ей не по силам, да и не вызывалась ее интересами. Но налагать на Польшу руку, даже с лучшими намерениями, было поступком несправедливым и неразумным, за который Россия тяжело поплатилась.

Если это представляется неоспоримым с точки зрения политической нравственности, с которой государства недостаточно считаются и в наши дни, то с точки зрения русского национального интереса присоединение Польши, как я уже

сказал, должно быть рассматриваемо не только как ошибка, но и грех против России.

Третий раздел Польши завершил исторический процесс собирания русских земель, начатый еще московскими Великими князьями и законченный императрицей Екатериной II после многовекового перерыва. Что бы ни говорили по этому поводу польские патриоты и ни повторяли за ними малознакомые с русской историей западноевропейские политики и публицисты, Россия не приобрела в эпоху польских разделов ни одной пяди польской земли. Она удовольствовалась тем, что вернула себе исконные русские земли, отвоеванные у нее Литвой и вместе с ней поглощенные польской короной и частично, в незначительной степени, заселенные польскими выходцами.

Для обоснования своих притязаний на Западную Русь поляки изобрели и пустили в ход теорию особой западной и южнорусской национальностей, не имеющих будто бы ничего общего с великороссами. При этом они не считаются с фактом, что Великое Княжество Владимирское и Московское, иначе говоря Великороссия, были основаны киевскими Великими князьями и заселены русскими выходцами с берегов Днепра, Припяти и Березины, т.е. тем самым народом, который они называют украинцами и белыми русинами, отбрасывая названия мало — и белорусов как слишком ясно указывающие на общность племенного происхождения трех ветвей русского народа. Несмотря на все старания Галицких поляков и малорусских сепаратистов изобрести для украинского населения новый язык, возможно далекий от русской речи, сочиненная ими новая «мовь», засоренная массой польских и немецких слов, с трудом проникает в народный быт, как нечто ему непонятное и чуждое. Старый народный говор, на котором Шевченко написал своего «Кобзаря», остается господствующим и по сей день даже и в тех небольших частях Юго-

Западной Руси, которые полякам удалось окатоличить в XVII и в XVIII столетиях. Это окатоличенное и в верхних слоях ополяченное население послужило восстановленной Польше поводом предъявить свои права на прилегающие к бывшему Царству Польскому части Западной России. Польские притязания этим не ограничились, и в настоящее время под властью Польши оказалось более пяти миллионов русского населения, отданного ей большевиками по Рижскому миру. Подавляющее большинство этого населения исповедует православную веру своих предков.

Горькая судьба этих русских людей, подвергающихся тяжким религиозным притеснениям и живущих в состоянии бесправия, известна всем, кто сколько-нибудь знаком с современным положением Польши, и неоднократно обращала на себя внимание европейской печати. На наших глазах повторяется старая польская попытка окатоличения и ополячения Белой и Малой Руси, неудавшаяся в XVII веке и бывшая одной из причин крушения Польского государства. Подобная политика, как и в те отдаленные времена, может снова привести к одним раздорам и смуте. Едва ли можно ожидать успеха в XX веке от попыток, оказавшихся, по существу, ложными и невыполнимыми в XVII.

Приобретения России по трем разделам Польши вернули ей древнее историческое наследие и объединили ее этнографически, дав ей вместе с тем и прекрасную границу, основанную на принципе разграничения народностей⁷⁴. Злополучное присоединение Царства Польского сразу нарушило это равно-

74 Это та самая граница, которая была предложена лордом Керзоном после заключения мира 1919 года, и поэтому носит его имя. Она была принята русскими делегатами в Париже, но затем отвергнута державами в угоду полякам.

весие, и Россия вместо прежней естественной получила уродливую границу, которая глубоко врезалась в германские земли и защита которой представляла непреодолимые трудности. Непримиимо враждебная России Польша внедрялась в ее состав и значительно ослабляла ее политически, сыграв роль нароста или грыжи в нормальном до этого времени организме Русского государства. Последствия необдуманного акта Александра I немедленно дали себя почувствовать. После Венского конгресса началось для России тревожное столетие, полное непрекращавшихся между ней и поляками недоразумений, споров, взаимных обвинений и острой вражды, принявшей вскоре форму вооруженных восстаний, которая отличалась с обеих сторон одинаковым ожесточением и едва не втянула Россию в международные осложнения. После подавления последнего из этих дорого нам стоивших восстаний наступила пора затишья, которого я был свидетелем в течение без малого четверти века. Будучи разумно использовано, это время могло бы дать благоприятные результаты для улучшения взаимных отношений русского и польского народов.

В начале моих воспоминаний я говорил о предрассудках и промахах русской бюрократии в ее отношениях к нашим польским согражданам. За их ненормальность поляки не всегда являлись ответственными. Со времени моей службы в русской миссии при Ватикане я поставил себе правилом смягчать по мере возможности постоянно повторявшиеся трения, особенно на религиозной почве, между русской администрацией и польским населением. Мои усилия в этом направлении доводили меня иногда до неприятных столкновений с министерством внутренних дел, где в отношении поляков царствовало неискоренимое недоверие, с которым мне было трудно бороться. Я ожидал от моего назначения министром иностранных дел возможности с большим успехом отстаивать и проводить мои взгляды в вопросах нашей польской политики. Однако я дол-

жен был вскоре убедиться, насколько трудно бюрократическому государству порвать с укоренившимися долгой практикой мнениями и привычками. Это замечание должно, впрочем, быть отнесено и к странам более современного типа, чем была Россия с ее сильно централизованным правительственным аппаратом. Бюрократия, без которой невозможно обойтись, существует везде в том или ином виде и везде отстаивает старые порядки и противится нововведениям. Это замечание — результат моей долголетней заграничной жизни, и в этом отношении великая война, перевернувшая Европу политически и социально вверх дном, принесла за собой мало изменений, и рутина еще сильна до сегодняшнего дня. У нас она была почти всемогуща. Многие из моих товарищей по совету министров, даже те из них, которые обладали опытом и серьезными знаниями в делах управления, были яркими образцами администраторов, трудно проницаемых для новых веяний. Мне не удалось расположить их в пользу установления более доверчивых отношений к полякам несмотря на то, что общественное мнение у нас постепенно отходило от старых предрассудков и тяжелых воспоминаний печальной поры польских мятежей и открытой борьбы с русской правительственной властью.

В совете было, кроме меня, не более двух-трех министров, которые понимали, что польский вопрос настоятельно требовал разрешения в смысле дарования полякам самоуправления для удовлетворения их национальных запросов. О восстановлении польской независимости, до великой войны, очевидно, не могло быть и речи. Такое радикальное разрешение польского вопроса было, на мой взгляд, крайне заманчиво и сняло бы с плеч России тяжелую обузу, но оно было невыполнимо, потому что послужило бы опасным прецедентом для Финляндии, имеющей первостепенное значение с точки зрения обороны столицы и всей Северной России. Помимо этого, отказ России от Царства Польского привел бы нас, весьма вероятно, к войне

с Германией, владевшей значительной частью коренного польского населения, в отношении которого она не допускала никакого компромисса. Восстановление Польши было неразрывно связано с поражением Германии, которого в ту пору никто не предвидел. Приходится признать, что наша польская политика обуславливалась не одними воспоминаниями о былом соперничестве между Россией и Польшей, оставившем глубокий след на их взаимных отношениях, ни даже горьким опытом польских мятежей, а в значительной мере берлинскими влияниями, которые проявлялись под видом бескорыстных родственных советов и предостережений каждый раз, как германское правительство обнаруживало в Петербурге малейший уклон в сторону примирения с Польшей. Эти «дружеские» воздействия не оставались без результата, и созданная ими у нас психология по наследству от графа Нессельроде, государственного канцлера двух первых царствований прошлого столетия, перешла, хотя и в несколько ослабленном виде, к императору Александру II.

Следы немецкого влияния на русскую политику в Польше еще ощутительны до сих пор, и нессельродовская теория об «антипольской политике» России находит не только оправдание, но и сочувствие у некоторых современных писателей. Эта теория не только неверна по существу, но она принесла большой вред русским интересам. Со времени присоединения Царства Польского она становилась к тому же вполне нелогичной. Почему должна была Россия управлять польским народом на началах «антипольской политики», и может ли политика, направленная против интересов управляемых, принести добрые плоды? Она была на руку не России, а германцам, неприимимым врагам Польши, и делала нужное в интересах русского и польского народов сближение недостижимым.

Россия имела основание вести подобную политику только в тех областях империи, где, как в северо — и юго-западном краях, польская националистическая пропаганда действовала во вред русским национальным интересам. Россия не могла допускать этой пропаганды в областях, где польский элемент был представлен малочисленной группой населения и носил определенно классовый характер и где эта пропаганда угрожала национальному единству. Было бы безрассудно и преступно подвергать Белоруссию и Украину, более древние русские земли, чем их колония — Восточная Русь или Великороссия, риску ополячения, к которому в течение двух столетий неослабно стремилась Польша, хотя, к счастью, без особого успеха. В управлении Западной Русью и заодно с ней Литвой, более сильно, но далеко не окончательно ополяченной, «антипольская политика» была законна и целесообразна так же, как в отношении к Царству Польскому она была ошибочна и вредна. Поэтому если политика Екатерины могла быть только антипольской, то политика ее преемников, начиная с Александра I и до наших дней, должна была бы проводить строгую грань между законными желаниями польского народа в его родном краю и честолюбивыми замыслами польских шовинистов в обломках Литовско-Русского государства.

К несчастью для России, такое справедливое разграничение никогда не было проведено, и Польша, и Западная Россия управлялись по одному, довольно упрощенному образцу. Большинство русских администраторов, являющихся преимущественно военными людьми, смотрело на свои обязанности со специальной точки зрения — обороны нашей западной границы. Одни из них были поглощены неразрешимой задачей защиты нашей уродливой границы, подверженной с трех сторон ударам наших немецких соседей, другие же не могли отделаться от унаследованных и воспринятых без критики взглядов на русско-польские отношения, в которые они поэто-

му не умели вносить ничего нового и живого. Я уже говорил, как относилась к этим вопросам наша центральная власть. Мой голос был гласом вопиющего в пустыне. Хорошей иллюстрацией положения человека, видящего опасность среди людей, ее не подозревающих, может служить история одного заседания совета министров в июле 1915 года. На этом заседании рассматривалось заявление, которое должен был сделать председатель совета министров при открытии Государственной Думы и в котором он именем Государя намеревался заявить, что Его Величество повелел совету разработать законопроект о предоставлении Польше по окончании войны права свободного строения своей национальной, культурной и хозяйственной жизни на началах автономии. Я протестовал против подобного заявления, доказывая, что для него уже давно прошла пора и что вопрос о польской автономии требовал немедленного разрешения путем Высочайшего манифеста, не дожидаясь открытия заседаний Государственной Думы. Я знал, что поляки нетерпеливо ожидали такого манифеста и что появление его произведет на них должное впечатление, тем более что они обвиняли нашу политику в колебаниях и неуверенности. Я был убежден, что они изверились в надежде, порожденной возванием Великого Князя Николая Николаевича, обращенным к ним в начале войны, и что только голос Государя мог поддержать их угасавшие надежды и помешать им возложить свои упования на немцев, готовых на многое, чтобы подкупить их. Я тем более настаивал на таком образе действий, что несчастная Польша, защемленная в тисках врагов, должна была сделаться в ближайшем будущем их жертвой.

Я был уверен, что требуя от правительства, чтобы оно произнесло в эти критические дни для России и еще более для Польши слово ободрения польскому народу, я служил не только его интересам, но и нашим собственным. Предложение мое встретило, однако, живой отпор под разными предлогами,

которых здесь не стоит приводить, но которые, на мой взгляд, были лишены серьезного основания. В совете министров не нашлось ни одного голоса за мое предложение. Оправдали меня — и весьма скоро — дальнейшие события, когда было слишком поздно предпринять что-либо и моим противникам оставалось только сознаться в своих ошибках, что, впрочем, не было в их обычаях.

Польша была предметом частых разговоров между Государем и мной. Оставаясь всегда на почве национальных интересов России, я старался убедить Его Величество в возможности, не уклоняясь в сторону сентиментальности, совместить интересы России с желаниями большей части ее польских подданных, справедливо оберегая как те, так и другие. Угодить всем было, разумеется, трудно, да в этом не было и нужды, но удовлетворить законные требования большинства было возможно, тем более что в эту пору поляки не требовали еще национальной независимости, надежды на которую у них родились только, когда они убедились, что победа склонялась в сторону держав Согласия, и когда русская государственная власть дрогнула под напором большевизма.

Государь относился внимательно и сочувственно к моим докладам по польскому вопросу. Восстание 1830 года и подвиги Паскевича отошли для людей его поколения в историческую даль. Кровавый мятеж 1863 года был потушен за несколько лет до его рождения. Он был поэтому свободен от тяжелых воспоминаний своих предшественников, которым никогда не удалось сбросить с себя их бремя. Мягкий и доброжелательный по природе, он был рад идти навстречу всем желаниям, казавшимся ему справедливыми. В этом отношении Польша не составляла исключения. Если тем не менее его сочувственное отношение к полякам не имело решающего значения, то это было потому, что Россия никогда не имела менее самодержав-

ного Государя, чем Николай II. И здесь, как почти во всех случаях его жизни, его намерения были благи, но воля его была не самодержавна. Советники его, на обязанности которых лежало направление русской политики в Польше, не могли быть ему полезными помощниками, а только тормозом и помехой. Государей и правителей судят по их делам. Но между ними встречаются и такие, как император Николай II, Людовик и другие, к которым было бы несправедливо приложить эту оценку и которых следует судить по их намерениям. Эти государи бывают, обыкновенно, искупительными жертвами собственной слабости и грехов своего века, и история не выносит им сурового приговора.

Таким образом, внутренние и внешние события продолжали развиваться как бы независимо от воли руководителей русской политики и не на пользу России. Положение вещей на театре войны было нам не благоприятно, но далеко не безнадежно, и несмотря на печальное состояние нашего вооружения продвижение немцев было задержано. Оставалось только выждать прибытия получаемого нами от союзников военного снабжения, чтобы деятельность русской армии снова оживилась и для нее наступила возможность перейти к активным действиям после томительного периода обороны и отступления. Наше положение осложнялось в сильной степени тем, что военное снабжение подвозилось нам только через далекий Владивосток или Архангельск с его замерзающим портом и перегруженной железной дорогой. Постройка Мурманской ветви велась лихорадочно и была благополучно закончена в 1916 году, чем наше положение было в известной мере облегчено, хотя эта дорога, оконченная только вчерне, требовала постоянных доработок, чтобы прийти в состояние полной пригодности. Все это было сложно и трудно, но должно было наладиться, и к весне 1917 года и было удовлетворительно налажено.

Когда при мне раздавались опасения насчет нашего военного положения, я не только не разделял их, но, сравнивая это положение с внутренним, отдавал ему в душе предпочтение. Удаление нежелательных министров, на которое я возлагал большие надежды, не внесло улучшения во внутреннее положение государства. Заместитель Горемыкина Штюрмер, человек, оставивший по себе дурную память на всех административных постах, которые он занимал, был поставлен во главе правительства под давлением распутинской клики, с которой он состоял в самых близких отношениях. В его служебном преуспевании распутинцы заинтересовали императрицу, которая не переставала ему покровительствовать до самой минуты его падения, последовавшего около двух лет спустя. Лично она мало его знала, но этого и не требовалось. Он не скупился на проявление своих верноподданнических чувств, и люди, в правоту которых она верила со всею страстностью своей большой души, убеждали ее, что Штюрмер именно тот человек, который нужен России в данную минуту. То же повторилось впоследствии с полупомешанным Протопоповым, избранником тех же сил. Качества людей сами по себе в глазах императрицы имели мало значения. Надо было, чтобы на них лежала печать избрания «верного друга и молитвенника» царской семьи, чтобы сразу внушить ей безграничное доверие к ним и такое же чувство враждебности к их противникам.

Назначение Штюрмера председателем совета министров было дурно принято общественным мнением и Государственной Думой. Его австрийская фамилия не располагала в его пользу людей, которые кроме нее ничего другого о нем не знали. Таких было сравнительно мало, и это были жители отдаленных мест. Все остальные его противники относились к нему отрицательно по более серьезным причинам, ставя ему в укор разные неблагоприятные поступки времен его административной деятельности. Крайний консерватизм выставляемых им

напоказ убеждений возбуждал во многих чувство подозрительности и не увеличивал числа его друзей, которых у него было очень мало. Только в Государственном Совете среди крайних правых его членов было несколько человек, державшихся одинаковых с ним взглядов и убеждений, на поддержку которых он мог рассчитывать. Он, впрочем, мало нуждался в друзьях. За него стоял горой кружок распутинцев, который ютился в старинном домике А.А.Вырубовой, вблизи Александровского дворца в Царском Селе, и покровительницей его была императрица.

Штюрмер на первых порах совмещал должность председателя совета министров с обязанностями министра внутренних дел. Это, однако, продолжалось недолго, всего лишь несколько месяцев. Да и в это короткое время он возложил управление делами министерства на своего товарища гр. А.А. Бобринского, одного из своих близких друзей по Государственному Совету, который и докладывал вопросы, касавшиеся внутренних дел, без всякого участия самого министра. У лиц, присутствовавших при этих докладах, создавалось впечатление, что как докладчик, так и сам министр были одинаково чужды их предмету.

Министерство внутренних дел не удовлетворяло честолюбия Штюрмера. Оно представлялось ему слишком ответственным, с одной стороны, и слишком скромным, малозаметным и, в общем, неблагодарным, с другой. Поэтому он сосредоточил свои желания на министерстве иностранных дел, которое, как ему казалось, должно было дать большее удовлетворение его тщеславию. Он не задумывался над трудностями, которые ожидали его в совершенно неизвестной ему области государственного управления, намереваясь возложить всю тяжесть работы на своих будущих сотрудников и предоставляя себе пожинать одни лавры. В сравнительно короткий срок ему

удалось осуществить свои планы. Мне еще придется вернуться к истории моей отставки. Дипломатическая карьера Штюмера была менее продолжительна, чем он ожидал. Я не буду входить в разбор его деятельности у Певческого моста⁷⁵. Она была анекдотического характера и оценена по достоинству иностранными представителями в Петрограде.

75 Министерство иностранных дел находится близ Певческого моста на Мойке.

Глава XIV

Мой проект конституционного устройства в Польше. Представление его Государю. Неутверждение его советом министров. Как разрешила польский вопрос русская революция. Современная Польша

Я рассказал здесь историю моей попытки построить положение Польши в составе Русской империи на началах автономии. Неудача этой попытки, которую я приписываю отчасти слабой политической подготовке большинства моих товарищей по совету, отчасти их нерасположению ко мне, не убедила меня в несвоевременности моего почина. Развитие военных операций, в конечный успех которых я твердо верил, невзирая на тяжелое положение нашей армии в 1915 году, зависевшее, как я думал, от временных причин, укрепляло меня в мысли, что оставлять далее на произвол судьбы положение нашей важнейшей окраины было бы сопряжено с опасностью для империи.

Разочарование и тревога поляков после очищения нами Царства Польского и занятия немцами Варшавы достигли крайней степени. Многие из них изверились в нашей способности защитить их от натиска германцев и даже в нашем желании сделать что-либо, чтобы вознаградить их за подъем духа, с которым они стали под наши знамена для общей борьбы против немцев⁷⁶ и за те тяжелые нравственные и материальные жертвы, которые выпали на долю Польши с первых же дней войны. Я не сомневался, что германское и австро-

76 К сожалению, тут не обошлось без исключений. Нашлись поляки, в том числе пресловутый Пилсудский и его легионеры, которые с открытия военных действий оказались на стороне немцев и дрались против России.

венгерского правительства используют это положение в ущерб России путем лживых обещаний, на самом же деле для более или менее скрытого присоединения польских земель, лежащих по ту сторону их границ.

Недоверие поляков к немцам, имеющее глубокие исторические корни, было мне хорошо известно, и я был уверен, что они нелегко поддадутся германскому соблазну. Тем не менее положение польского народа было настолько тяжело, что можно было опасаться, что, разочаровавшись в нас, они с отчаяния бросятся в объятия немцев, предпочитая искать помощи у врагов, чем оставаться беззащитными между двух огней и, может быть, погибнуть. Само собой разумеется, что Польша могла получить то наиболее ценное благо, которого она страстно желала, — национальное объединение, — только от России. Сознание того, что центральные державы не только не заинтересованы в этом объединении, но наоборот считают его для себя крайне опасным, и что поглощение ими русской Польши могло привести только к новому разделу между ними польских земель, должно было бы служить гарантией против возможности необдуманного шага со стороны поляков. Но ручаться нельзя было ни за что в то время, когда русские силы удалялись все более от Польши, а немцы успели занять не только ее, но и значительную часть Белоруссии. Надо было во что бы то ни стало, раньше, чем центральные державы успели под видом призрачного восстановления Польши, приступить к ее окончательному расчленению, чтобы Россия объявила голосом своего Государя, как она понимала национальное возрождение польского народа. Надо было не довольствоваться на этот раз изложением одних общих принципов этого возрождения, вроде объединения раздробленного тела Польши, свободы ее религиозной жизни и развития национальной культуры, но обеспечить ее возврат к политическому существованию, дав ей для начала государственное устройство,

основанное на полном внутреннем самоуправлении. Будущее, вероятно, далекое, разрешило бы окончательно польский вопрос и развязало бы те узы, которые соединяли судьбы России и Польши и которые как той, так и другой одинаково были в тягость. Но надо было торопиться бросить луч света в темноту русско-польских отношений и нравственно облегчить полякам тяжелую пору германского нашествия.

Когда мне случалось выражать эту мысль, я нередко слышал возражение, что поляки не придали бы веры никаким обещаниям русского правительства, особенно когда они давались в тяжелых условиях европейской войны. Я не отрицал этого, зная, сколько среди поляков людей, фанатически ненавидящих Россию. Я также знал, в каких кругах надо было искать непримиримых врагов моей Родины, но вместе с тем я был уверен, что в массе населения русской Польши не было никакой ненависти к России. Царство Польское, составляющее громадное большинство польского населения, знало, что своим благосостоянием оно было обязано исключительно русской правительственной власти. Многочисленное польское крестьянство особенно ясно сознавало, что земельное устройство, на котором прочно покоилась его экономическая жизнь, было даровано ему Россией, и поэтому никогда не питало к ней ненависти, как бы ни прививали ему искусственно эту ненависть. В других слоях польского населения были равным образом элементы, не зараженные слепыми предрассудками против всего, исходившего от России. Это были поляки, получившие образование в русских учебных заведениях, ставшие людьми русской культуры, которые, не порывая связи с родиной, долго жили в России, ценили доброе отношение к себе русских и возвращались к себе материально хорошо обеспеченными. Не считаясь с непримиримыми, можно было найти среди поляков весьма много людей, к которым русскому императору стоило обратить свое слово и которые не отвергли

бы, особенно в критическую для себя пору, исходившее от него обещание новой эры в русско-польских отношениях.

Не рассчитывая на помощь откуда-либо, я решился взять в свои руки дело примирения России и Польши и попытаться, насколько это было в моих силах, сдвинуть его с мертвой точки, на которой оно стояло веками. Это была честолюбивая мечта, но она привлекала меня с необыкновенной силой. Если нашему примирению было суждено когда-либо осуществиться на благо русского и польского народа и всего славянства, то это должно было случиться по почину русского царя и именно в эту пору, как предельный момент его достижимости. Я не надеялся возбудить в моих сочленах по совету должный интерес к вопросу, политическое значение которого ускользало от большинства из них. Одни атавистически относились недружелюбно к полякам, другие привыкли, сами того не осознавая, смотреть на них сквозь берлинские очки, третьи вообще не задавались политическими целями, не возвышаясь над ведомственными интересами. Лишь двое или трое обнаруживали понимание польского вопроса в его общегосударственном и европейском значениях. Об этой последней стороне его мне напоминали попытки французского посла Палеолога, правда, довольно нерешительные, поставить его разрешение на международную почву. Я не мог, само собой разумеется, согласиться с такой постановкой дела и считал, что польский вопрос мог быть разрешен справедливо лишь по почину русского монарха. Не отрицая его европейского значения, я тем не менее не мог, как русский министр, забыть, что Польша не была присоединена к России одним постановлением Венского конгресса, но была затем дважды ею завоевана в эпоху восстаний 1830 и 1863 годов, за которые в значительной степени несла нравственную ответственность французская политика.

В разговорах с г-ном Палеологом, которые носили частный и дружественный характер, я выразил ему мысль, основанную на исторических фактах, которые доказывали, что прежние попытки Франции вмешаться так или иначе в судьбу Польши кончались обыкновенно неблагоприятно для обеих. Не восходя до далеких времен Генриха III Валуа, я напомнил ему о взятии фельдмаршалом Минихом города Данцига и бегстве из Польши короля Станислава Лещинского, покровительствуемого Францией, о неудачной попытке Наполеона I создать после разгрома Пруссии герцогство Варшавское в предвидении войны с Россией, попытке, не давшей никаких выгод Франции и принесшей горькие разочарования польскому народу, и, наконец, о поощрении французским правительством польских революционеров в восстаниях прошлого столетия, кончившихся трагически для Польши. Эти восстания тяжело отозвались и на самой Франции, вызвав в императоре Александре II враждебные чувства к Наполеону III, выразившиеся в благожелательном нейтралитете по отношению к Пруссии в войне 1870 года, окончившейся для Франции потерей Эльзаса и Лотарингии. «Если бы, — говорил я послу, — я был французом или поляком, я испытывал бы суеверный страх, оказывая, с одной стороны, свое покровительство Польше, а с другой — принимая его от Франции».

Этим кончились наши разговоры с г-ном Палеологом и более не возобновлялись на эту щекотливую тему. Посол Великобритании сэр Джордж Бьюкенен никогда ее со мной не касался. Со всем тем, как сказано, я отдавал себе отчет, что польский вопрос, невзирая на 120-летнее исключение Польши из списка независимых государств, не утратил своего европейского значения и что мировая война снова привлечет к нему внимание Европы. Тем более существенно было для России не выпускать его из своих рук и предупредить возможность его решения в неблагоприятном смысле для интересов России.

Дарование польскому народу права местного самоуправления, которого он безуспешно добивался еще до войны, после занятия всей Польши германскими войсками было бы им отвергнуто, как обида его национальному достоинству. Надо было дать Польше все, что было совместимо с интересами России, не оглядываясь назад, а смотря вперед и предвидя, что за первым шагом должен был естественно последовать второй, как только для него благоприятно сложатся обстоятельства.

Этот второй шаг вернул бы Польше утраченную независимость и освободил бы Россию от тяжелой гири, которая сто лет мешала ей выпрямиться во весь ее могучий рост. Думать об этом счастливом дне было рано в то время, когда еще нельзя было предвидеть окончания войны и когда события на фронте складывались неблагоприятно для держав Согласия. К тому же общественное мнение не было подготовлено к отсечению Царства Польского от России. Если оно было готово приветствовать широкую автономию Польши, то нашлось бы много людей, которые, не отдавая себе отчета в опасности обладания Польшей, посмотрели бы на возвращение ее к самостоятельной политической жизни, как на угрозу нашему отечеству, а на пособников этого дела, как на изменников. Год спустя в этом отношении произошла большая перемена, и слова «независимая Польша» могли появиться в официальном документе еще до наступления революционного развала.

Перейти от слова к делу было пока невозможно, но вместе с тем произнести это слово было уже необходимо, чтобы бесповоротно закрепить переход от старого порядка к новой эре и сохранить за собой почин политического акта, равного которому не нашлось бы в истории России, кроме освобождения русского народа от крепостной зависимости.

Этот акт должен был выразиться в даровании с высоты русского престола конституционной хартии польскому народу.

Весьма возможно, что даже подобный акт не обезоружил бы скептицизма известного класса поляков, которые вспомнили бы, вероятно, при этом случае судьбу польской конституции императора Александра I. Это недоверие не должно было бы остановить Николая II. Между первой и второй польскими конституциями прошло бы целое столетие. За этот долгий срок многое успело перемениться в настроении умов и общем положении вещей как в России, так и в Европе, да и в самой Польше, умудренной горьким опытом и разочарованной несбывшимися мечтами. Момент был благоприятен, и дальнейшие отсрочки казались мне опасными. Заняв Польшу, австро-германцы не принесли с собой польскому народу никаких обещаний, которые могли бы воскресить его надежды на лучшую будущность. Они оказались бы, конечно, ложными, так как неизменность антипольской политики Германии не могла быть подвергнута никакому сомнению. Тем не менее, с русской точки зрения, были опасны даже несбыточные посулы. Австро-Германский манифест, появившийся осенью 1916 года, объявил о восстановлении Польши, но на самом деле не только не давал ей независимости, но ставил ее в вассальное отношение к центральным державам и не мог обмануть польского народа.

Наступило лето 1916 года. Обойдя совет министров, после неудачного опыта привлечь его внимание к польскому вопросу я обратился непосредственно к Государю, которому сделал подробный доклад по польскому вопросу и получил от него разрешение представить ему проект конституционного устройства для Польши. Я считал долгом передать это разрешение председателю совета Штюмеру, хотя и не ожидал от него ничего, кроме противодействия.

Я не задавался при составлении проекта недостижимыми целями и надеялся только, что поляки увидят в конституцион-

ной хартии императора Николая доказательство его воли порвать с прежней системой управления Польшей, хотя и обеспечивавшей ей внутренний порядок и экономическое благосостояние, но не признававшей законности ее национальных запросов.

Я поручил разработку проекта моему сотруднику по вопросам международного права барону Нольде. Когда эта работа была закончена, проект был передан на просмотр государственного секретаря С.Е.Крыжановского для согласования его с имперскими законами, а затем я взял его с собой в Могилев для представления его Его Величеству.

Раньше доклада о нем Государю я ознакомил с его содержанием начальника штаба генерала Алексеева.

Алексеев был во всех отношениях выдающаяся личность, не только с точки зрения военной науки, но и как человек большого ума, поразительной работоспособности и не меньшей скромности. Я придавал большую цену его мнениям и считал полезным узнать его оценку моего проекта, стратегическое значение которого могло, при известных обстоятельствах, получить перевес над политическим. Заваленный спешной работой и уже тогда страдавший болезнью, которая свела его два года спустя в могилу, генерал Алексеев нашел время изучить проект и вызвался защитить его перед Государем. На следующий день после моего приезда я просил Его Величество привлечь начальника штаба к моему докладу, который был назначен на другое утро.

В означенный час мы явились оба в губернаторский дом, где жил Государь, и я изложил ему во всех подробностях причины, побуждавшие меня просить его обнародовать манифест о даровании Польше конституции в ближайшее же время. Проект был прочитан Государю целиком и каждая его статья подверглась тщательному разбору, причем Его Величество

задавал мне вопросы, доказывавшие его интерес к предмету моего доклада. После меня генерал Алексеев разобрал его со специальной точки зрения военной безопасности империи и в заключение выразился, без оговорок, в пользу его принятия.

Я с понятным нетерпением ожидал решения Государя. По некотором размышлении он сказал нам, что одобряет проект и находит его обнародование своевременным. После этих слов я просил Его Величество разрешения сообщить председателю совета министров его волю и внести проект на рассмотрение совета на будущей неделе. Это разрешение было мне тотчас же дано. Вместе с тем я счел долгом предупредить Государя, что я сомневаюсь в том, что мой проект встретит в совете одобрение большинства министров, начиная с председателя, и что в лучшем случае я могу только рассчитывать на поддержку трех моих товарищей. Государь выразил мне, что по закону меньшинство в тех случаях, когда он становится на его сторону, приобретает перевес над большинством. Эта статья русского закона была мне известна. Я сказал Его Величеству, что передам его слова г-ну Штюрмеру, но вместе с тем предвижу, что он пустит в ход всевозможные средства затормозить в совете путем отсрочек продвижение моего проекта.

Это происходило 29 июня 1916 года. На другой день утром я вернулся в Петроград и отправился к Штюрмеру, чтобы передать ему повеление Государя относительно немедленного рассмотрения проекта польской конституции в совете министров. По выражению лица Штюрмера во время нашего разговора я увидел, что опасения, высказанные мной Государю, были не напрасны. Нездоровье, результат физического и нравственного переутомления, вынудило меня уехать на несколько дней в Финляндию, чтобы набраться сил для дальнейшей работы в тяжелой атмосфере Петрограда. В мое отсутствие произошли события, не лишённые, не для одного меня,

значения. Совет министров вынес заключение, что обсуждение польского вопроса при обстоятельствах военного времени невозможно, и поэтому признал мой проект «несвоевременным». Это слово сыграло в истории русской государственной жизни роковую роль. Прикрываясь им, было надломлено в корне бесчисленное количество разумных и своевременных начинаний, давно назревших и горячо ожидаемых, по отношению к которым оно сыграло роль могильного креста. В данном случае панихида, пропетая Штюмером и его друзьями над моей попыткой примирения с Польшей, не причинила этой последней непоправимого ущерба. Шайка циммервальдских революционеров, щедро субсидируемая нашими внешними врагами и опиравшаяся на элементы, давно, но безуспешно работавшие внутри России над ее разложением, по-своему разрешила польский вопрос заодно с вопросом о существовании самого Русского государства, которое она превратила в страну бесправных, обездоленных и беспощадно истребляемых рабов, лишив их даже славного имени их великой Родины и заменив его ни сердцу, ни уму ничего не говорящей собирательной кличкой.

Нет сомнения, что русская революция разрешила польский вопрос быстрее и радикальнее, чем это сделала бы русская государственная власть, находившаяся в руках безвольных и бессильных людей. Но можно ли сказать, что она разрешила его справедливо и прочно? На это можно ответить только отрицательно уже по одному тому, что будучи разрешен без участия России, он был разрешен против ее национальных интересов. В минуту упоения неожиданным счастьем воскресения своей родины польские патриоты, видя Германию побежденной и свергнутой с высоты, на которую возвел ее Бисмарк, а с другой стороны — Россию, истекающую кровью и обессиленную в борьбе с революцией, отдались без удержу пароксизму мегаломании, старой болезни, которую они унаследовали от

предков, и принялись строить новое здание польской государственности, перешагнув сразу далеко за пределы своих этнографических границ и забывая, что аналогичный процесс привел Польшу некогда к гибели. Поляки начали свою восстановительную работу не с начала, а с конца, решив наперед, что границы новой Польши должны были, насколько это было возможно, совпасть с ее старыми границами до первого раздела, и не считаясь с фактом существования русского народа. Я был в Париже, когда туда приезжал г-на Падеревский благодарить Францию от имени польского народа за оказанное ею могущественное содействие в воссоздании Польского государства. Этому замечательному художнику, воплощавшему в то время в глазах романтически настроенной Польши ее национальные идеалы, была оказана во Франции триумфальная встреча. Читая ее описание в газетах, я остановил невольно внимание на заявлении г-на Падеревского, сделанном еще на парижском вокзале представителям французской и иностранной печати, в котором он говорил уже о едва ставшей на ноги Польше, как о государстве с 35-миллионным населением, когда общее число поляков, как известно, не превышает восемнадцати миллионов. Откуда же, спросил я себя, должны были явиться остальные семнадцать. Над такими вопросами поляки не задумывались и в минуту патриотического энтузиазма и разрешали их просто. Под боком у Польши были приобретенные ею когда-то вместе с Литвой белорусские и украинские области с населением в пять с половиной миллионов душ, вернувшихся обратно в лоно России после разделов и сохранивших в народной памяти печальное предание о польском владычестве. Тут же были и обломки Литвы с городом Вильно, древней столицей Великих Князей Литовских, подвергшиеся до известной степени ополячению. Все это вместе должно было округлить земельно и численно возрожденную Польшу и довести ее до размеров значительного европейского государства, способ-

ного при нужде отстоять свое собственное существование и стать полезной союзницей Франции в случае всегда возможной борьбы ее с Германией. Едва не удавшееся наступление большевистской орды на Варшаву в 1920 году, отраженное только благодаря прибытию в польскую армию одного из наиболее талантливых французских генералов вместе с целой массой офицеров и техников, привело к заключению между Польшей и большевиками Рижского мира, результатом которого была уступка Польше правительством третьего интернационала упомянутых русских областей и населения. Это несчастное население, за которое некому было заступиться, попавшее из большевистского ада под власть исстари ему враждебную и само привыкшее ее ненавидеть, влачить жалкое существование, будучи лишено национальной школы и культурного языка и терпя всевозможные насилия в области религиозной свободы. Все это энергично отрицается польским правительством, которое при этом ссылается на либеральные постановления польской конституции, гарантирующей всем польским подданным одинаковые права. Польская конституция действительно либеральна, но административная практика с ней широко расходится, и постановления Лиги Наций, касающиеся прав народных меньшинств, обязательные для Польши так же, как для остальных государств, вышедших из великой войны, остаются пока мертвой буквой в Польше. Это расхождение между теорией и практикой особенно болезненно отзывается на условиях существования многочисленного православного населения в области его религиозных интересов. С этой точки зрения за последние пять лет польским правительством был принят целый ряд мер, которые при самом благожелательном отношении к воскресшей Польше невозможно оправдать.

Насильственные и антиканонические способы создания автокефальной православной церкви в Польше⁷⁷, благодаря которым канонически поставленные епископы, уважаемые и любимые своими паствами, изгонялись из своих епархий, заключались в монастыри, иногда католические, причем к ним никто не допускался, не исключая их духовников другие, без всяких средств вывозились за границу, соборы и церкви под предлогом, что некоторые из них были некогда униатскими, отбирались, не считаясь с тем, что бывшее униатское население уже не существует, так как одна его часть присоединилась к римской церкви, а другая, более значительная, продолжает исповедовать свою древнюю веру; монастыри закрывались и имущество их отнималось; на места изгнанных епископов незаконно назначались, по внушению советской власти, другие епископы вопреки желанию паствы, в большинстве случаев люди недостойные, отличающиеся лишь угодничеством перед польскими властями, — все эти печальные факты, против которых безуспешно протестуют русские представители в польском сейме и подтверждение которых можно найти в самой польской печати, достаточно характеризуют положение уступленных Польше советской властью частей Западной России.

Голос Польши целыми десятилетиями громко раздавался во всем мире против злоупотреблений ее расчленителей, направленных на ущерб религиозных и национальных прав ее народа. Если приходится допустить, что эти польские вопли не всегда были лишены основания, то тем не менее следует

77 Само польское правительство понимает, что произвольное введение автокефалии православной церкви в Польше невозможно, и потому подменило законную юрисдикцию Московского Патриарха незаконной Константинопольского Патриарха, власть которого над Россией прекратилась пять веков тому назад.

отнестись с суровым осуждением к политике, проводимой ныне Польшей в занятых ею западнорусских областях. Поляки жаловались, и вся Западная Европа им в этом сочувствовала, на то, что католическая церковь и польское национальное чувство утеснялись ее победителями. Что же сказать про Польшу, никого не победившую, кроме большевистских грабительских банд, когда она в короткий пятилетний срок сама успела — и с лихвой — совершить те же грехи, против которых так долго вопияла?! Имеют ли польские патриоты нравственное право повторять при этих обстоятельствах, свои старые обвинения против России? Раздел польских земель был преступлением перед поляками, заглаженным только недавно европейской войной. Но захват русской земли, населенной русским народом, привыкшим видеть в поляке врага своей веры и своей родины, не есть ли также преступление, а согласно с духом нашего времени, еще гораздо более тяжкое? России, как государства, теперь не существует, а как народ, она придавлена гнетом самого чудовищного деспотизма, который когда-либо видел свет. Поэтому слабый голос ее, протестующий против творимого над ней насилия, слышен только тому, кто к нему хочет прислушиваться, а таких людей теперь не много. В Польше русские протесты намеренно заглушаются трубными звуками национального воскресения, а в других странах, где нередко интересовались и раньше судьбой русского народа только из враждебного чувства к его правительству, этот интерес в настоящее время почти совершенно угас. Русские друзья Франции ожидали, что вступив снова в роль покровительницы Польши, она в интересах этой последней и отчасти своих собственных приложит усилия, чтобы обуздать недалновидный польский империализм и удержать его от

включения в состав возрожденного Польского государства, чуждых и непретворимых элементов, служащих к его ослаблению⁷⁸. В поляках, хотя и далеко не у всех, потому что между ними нет недостатка в людях благоразумных и предусмотрительных, к голосу которых, правда, не прислушиваются, укоренилось убеждение, что для того чтобы быть сильной, Польша надо быть во что бы ни стало великой. Это опасное заблуждение, может быть и не разделяемое французским правительством, не встретило, однако, с его стороны серьезного сопротивления. Но нет сомнения, что благодаря этому попустительству возрожденная Польша, занимающая пространство немногим меньше Германии и вмещающая около 45% инородческого населения, стала государством, близко похожим на монархию Габсбургов, погибшую вследствие своей разноплеменности. К этому ли стремились польский народ и его доброжелатели? Польша сплоченная и жизнеспособная нужна Европе, но наскоро сколоченная из кусков и обломков соседних государств она едва ли будет служить оплотом европейскому миру, а явится для него скорее угрозой.

78 Признавая эту непретворимость русского элемента в захваченных ею восточных областях и видя в ней опасность для себя, Польша приступила к их колонизации путем расселения в них поляков, причем земли, взятые у крупных землевладельцев, преимущественно русских, дробятся не в пользу местного русского крестьянства, сильно нуждающегося в земле, а переселенцев из коренной Польши. Это лишний раз указывает, как мало польское правительство склонно считаться с возложенными на него Версальским договором обязательствами в отношении национальных меньшинств, протесты которых оставляются им без внимания. Пройдет, вероятно, немало времени, прежде чем Лига Наций превратится из юридической фикции в организм, имеющий реальное существование.

Политика, покоящаяся на расчете вековечности советской олигархии и продолжительной слабости Германии, может привести к неожиданностям, в предупреждении которых одинаково заинтересованы не только Европа, но и весь мир. В нынешнем своем виде Польша представляется искусственным созданием. Дружественное ей французское правительство имело случай способствовать упрочению политического мира на востоке Европы, взяв на себя нелегкую, но благородную задачу примирить 4-вековую вражду русского и польского народов. Я не думаю, чтобы за весь этот долгий срок нашлась бы более благоприятная для этого минута, чем та, которая совпала с возрождением Польши. Время к тому еще не окончательно потеряно. Залившая Россию революционная волна неизбежно отхлынет, и Россия, видоизмененная и окрепшая, снова сделается первостепенным политическим и экономическим фактором в Европе. Она подготовлена к перемене своих отношений с Польшей совместно пролитой ими кровью в борьбе с общим врагом. Поляки, со своей стороны, едва ли решились бы поддерживать свои несправедливые притязания на Западную Русь, если бы их покровительница Франция указала им на опасность пути, на который они поспешили стать. К сожалению, Франция не воспользовалась этим случаем, чтобы сделать решительную попытку взять в свои руки умиротворение Восточной Европы. Для этого у французского правительства не хватило решимости. Опасение оттолкнуть от себя поляков взяло верх над другими, более отдаленными соображениями, и Польша очутилась в положении государства, лежащего между двух соседей, более ее сильных, из которых каждый считает себя ею оскорбленным. Ее третий сосед, Литва, хотя сам по себе менее опасный, но вновь призванный к государственной жизни при тех же обстоятельствах, как и она сама, еще более остальных потерпел от ее неудержимого империализма. Европа признала Литву самостоятельным

государством в границах, близко подходящих к ее этнографическому составу. Но в то время, когда казалось, что в силу польско-литовского соглашения в Сувалках и решения Лиги Наций об отдаче Вильно Литве, Литовское государство было восстановлено на приемлемых для литовцев основаниях, генерал Желиговский занял своими войсками Вильно и обезглавил возрожденную Литву, лишив же ее исторической столицы. Никакие протесты литовцев не помогли. Польское общественное мнение, играя на руку правительству, провозгласило Вильно неотъемлемым достоянием Польши, и Лига Наций склонилась перед совершившимся фактом. Трудно предсказать, как сложатся в будущем польско-литовские отношения, но ожидать, что они будут дружественными, едва ли есть основание.

Я не стану дальше распространяться о крайне сложных международных отношениях, возникших вследствие придания Польше тех размеров и той странной формы, в которой она теперь представляется нашим глазам на новых картах Европы. Это завело бы меня слишком далеко за пределы моих воспоминаний. Мне хочется, кончая эту главу, от имени многочисленных моих соотечественников, дружески расположенных к нашим польским соседям, выразить искреннее желание, чтобы наконец после 4-вековой вражды, в ознаменование возрождения польской независимости и на благо Польше и России наступила между ними эра братского согласия и вечного мира на началах полюбовного размежевания и справедливого признания взаимных прав и обязанностей, без которых не бывает прочной дружбы.